

Вардван  
Варжапетян

МЭՐՈՒՊԱԴԱՆԱԿ  
ՏՄՐԱՏՄԸ

Вардван  
Варжапетян

МРИНАДЛАМАЯ  
СМРАСМЪ

Повести  
Рассказы

МОСКВА  
«СОВРЕМЕНИК»  
1988

ББК84Р1  
В18

Рецензент  
**И. ЗОЛУТУССКИЙ**

$\frac{4702010200-121}{M106(03)-88} 37-88$   
**ISBN 5-270-00029-6**

© Издательство «Современник», 1988.

*Pacckazhi*

## ТРАВА НА СНЕГУ

Сейчас я даже не помню, не вспомню, когда хоронили Володю. Не знаю даже, на каком кладбище — ехали в автобусе далеко и долго, на самый край Москвы. В памяти почему-то остался только снег — слепящий, режущий глаза, холмы свежей земли на снегу, узкая глубокая дорожка между чугунными решетками и железными оградками, и мы, с трудом несущие на плечах гроб сквозь тесноту пошатнувшихся скорбных изгородей. И лютый остервенелый ветер, ледящий наклоненные лбы. И лицо Володи со стеариновыми дальними залысинами — спокойное, неживое. И еще помню стук мерзлых комьев по крышке гроба, поспешные взмахи лопат в мускулистых руках здоровенных распаренных могильщиков, наспех насыпанный холмик. И бутылку портвейна, пущенную кем-то по кругу, — мерзкое вино, которое Володя предпочитал и коньяку, и водке. Помню Володину жену Таню — большую, всю в черном, с молодым измученным лицом, шепчущую что-то. И Аграновича — маленького, крупноголового, зажавшего в кулачок шапку. Его какую-то страдальческую улыбку, отечное лицо, дрожащее — словно ноябрьский дождь. Срывающиеся слова:

— Володька, ты жил как трава и стал травой. Мы все придем к тебе.

И вот спустя много лет... А два года, три, четыре года — это всегда очень много лет, ибо для смерти достаточно мгновенья... Я встретил в метро Володино сына. Он шел впереди меня в потертом кожаном пальто. Густые волнистые темно-русые волосы при ходьбе не вздрагивали, а плотно охватывали шею. Руки болтались, как у куклы с ослабевшей резинкой.

Я видел в детстве таких целлулоидных голышей, почему-то всегда в крошечных дюймовочкиных платьицах, с нарисованными тупоносыми туфельками. Резинка, притягивающая их ручки к груди, в конце концов ослабевала, растягивалась, и руки болтались. Эти куклы горели хорошо.

Вот такие руки были у Володино сына. Ноги ши-

роко расставлены, словно мраморный пол под ним покачивался. Смятые, забрызганные грязной водой брюки, косолапо стоптанные ботинки.

При повороте лица я видел курчавившуюся нежную бородку, легкие усы, медленные длинные ресницы, огромные иконные глаза. Володя был грубее, мужественнее. Сын шел в толпе, не смешиваясь с ней своей отрешенностью, сосредоточенностью. Как льдина не смешивается с рекой. Я сразу узнал его — так похож он был на отца: и лицом, и разболтанными руками, и плавной сутулостью плеч, и бродяжьей повадкой походки. Захотелось подойти, спросить его:

«Вы сын Володи?»

«А что?» — Он бы наверняка ответил вопросом.

«Ваш отец был очень хорошим человеком», — сказал бы я.

Но я не подошел, не спросил, — показалось напыщенным. Хотя, возможно, — кто знает? — в ту минуту ему так не хватало этих слов, памяти об отце. И, может, он шел по городу, подставив свое нежное лицо чужим взглядам, несбыточно надеясь, что кто-то из друзей отца его увидит и подойдет пожать руку. Чудеса случаются во все времена, хотя не со всеми.

Что я мог рассказать ему об отце? Как встретил его в вагоне-ресторане поезда Москва — Архангельск, когда он, пьяный, упал щекой в тарелку с биточками? О больном Володе, лежащем в моей комнате и на ощупь тянувшемся к пачке «Севера»? О его невероятных корсарских командировках? Об исхоженной им Чукотке, Камчатке, Сибири? О том, как жадно, одержимо он рассказывал о спутнике Магеллана Антонио Викарти? О Володином смехе — оглушительном, переходящем в удушливый кашель?

Я помню его почерк — громадные уродливые буквы, словно выкорчеванные из бумаги. Меня удивляла графоманская дерзость его первоначальных вариантов. Он сам приходил в ярость от собственного бессилия, брызжущим пером черкал страницы, комкал, рвал в клочья, и, отдышавшись, все начинал сначала.

Володя был разным — и плохим, и хорошим. Иногда тупо напивался и становился злой, подозрительный. А хорош он был, когда рассказывал всякие не-

бывальщины, которых знал великое множество — про моряков, оперативников, геологов, охотников; люди, как и книги, умещались на стеллажах его громадной памяти легко и прочно. Но больше всего я любил, когда он мечтал, придумывал новую жизнь, новые книги.

И вот встреча с Володиным сыном. Сколько же ему лет — восемнадцать, двадцать? Как его зовут?.. Владимирович? Нет, это мы его звали Володей, а он был Владиленом. Значит, Владиленович? Наверное, так. Но суть не в том. Главное, что я встретил парня, так похожего на Володю.

И пальто похоже на Володино — любил он кожанки, летные куртки, тяжелые лыжные ботинки, толстые грубые свитера. Никогда не видел его с галстуком. Даже на фотографии для писательского билета ворот рубахи расстегнут. Глаза прищурены, словно от папиросного дыма, улыбается. Залысин еще нет — наверное, старая карточка, питерская.

А у сына курчавится темно-русая бородка, как у коринского инокa. И глаза большие, отроческие.

В окне поезда проплыла сутулая спина в кожаном пальто, упершиеся в черную кожу острые лопатки. Отрешенное лицо мелькнуло прощально на перроне, в уже замутненной скорости череде других лиц. Печальное лицо. Такое я видел давно — у мальчика, ждавшего, когда его ударит замахнувшийся пьяный отец.

На ступеньке эскалатора стоял улыбающийся седой мужчина в клетчатой рубахе навывпуск. Один рукав, пустой, полощется от сквозняка. Сразу не догадаешься, что там культа с железным крюком — иначе за что же прицеплена авоська с пучками бордовой редиски?

Я шел, беспокоясь: есть в карманах бумага? Остановился у бетонного забора детского сада, достал ручку, пригласительный билет в Дом журналистов. Хорошо, что он на двух листах — писать просторно. Только коснулся авторучкой глянцевой бумаги, из беседки рядом с оградой выбежала загорелая девочка с двумя голубыми бантами в тонких косичках.

— Дядя, а у Коли уже четыре зуба вверх.  
Подбежал рыжий мальчуган:

— Дядя, а мне папа привезет ракету. Настоящую!

Потом прибежал Коля с четырьмя зубами вверх:

— Дядя, а у меня есть велосипед с тремя колесами.

— Дядя, а нам сегодня на обед кашу давали.

— А я вот столько (девочка поднимает растопыренные ладони) бабочек поймала.

Вот и попробуй напиши.

— И что ты с ними сделала?

— Посадила в коробку с дырочками.

— А если тебя так?

— Я не хочу. А вот тебя мы посадим.

— Так я большой. Я не влезу в коробку.

— А я сделаю коробку со слона.

— А я с небо!

— А я тебя посажу под диван, чтоб ты учился петь.

— А я застрелю из автомата.

— А я из пистолета.

— А я из гранаты.

— А я как дам по башке, полетишь на горшке!

— А у моего папы тоже есть пистолет, он хулиганов в тюрьму сажает.

— А у меня тоже будет пистолет, когда я стану пограничником.

— А я стану шпионом и тебя застрелю.

Теплый воздух лениво струится над мягким асфальтом, отталкивая тополиный пух. Оробевшие пушинки взлетают пушистым фонтаном, молчаливым белым салютом и долго опадают над улицей.

Дома я сел за стол, и мне стало плохо. Я все думал о Володином сыне. Он знал отца лишь в раннем детстве и уже — много лет спустя — юношей, когда отыскал Володю в другом городе, в другой семье. Не знаю, как сложились их отношения — Володя не говорил об этом. Он жил какой-то странной жизнью, в командировочно-литературно-коммунальной толчее: с запоями творческими и алкогольными, опутанный ссорами, долгами, мечтами, каторжной газетной работой. Я видел в его комнате десятки пузатых папок, еле



стянутых тесемками, груды бумаг, блокнотов, клочья рукописей — это была его жизнь! Это были книги, которые он должен был написать, тот перевал, поднявшись на который он мог стать единственным писателем, ни с кем не перепутанным. И вдруг в сорок два года — опухоль мозга, нестерпимая боль и страшная смерть. И все?

Годовые кольца моей жизни.  
Дрожь ствола под острым топором.  
Сок березовый уже не брызнет,  
Не сбежит слезою ни о ком.

Кольца жизни, кто рукой незрячей  
Тронет ваш игольчатый распил?  
Кто я был? И что я в жизни значил?  
И зачем вино земное пил?

И когда в последний миг свободы  
Рухну я вершиной на закат,  
Я пойму, что прожитые годы  
Комьями земли по мне стучат.

И все? И все! Стук смерзшейся земли о крышку гроба... Трава на снегу... Папки шершавели от пыли, жухли на солнце, на выбившихся полосках листов выгорали чернила.

Опавший лист клена беспомощно царапает багряным острием асфальт, а ветер гонит его дальше — под колеса машин, под ноги прохожих. Лист тихо-тихо шуршит; он уже мертвый, и машины, прохожие ему не страшны. А мне жалко опавший лист, жалко Володю, жалко себя, задохнувшегося от одышки, когда поднимался по лестнице. Жалко Володиного сына, так похожего на него.

Что для наших детей наши рукописи? Прочтут ли они их, или так и будут они пылиться, пока кому-то не помешают и не громыхнут по железному горлу мусоропровода или успокоятся в груди макулатуры, с невинной беспощадностью собранной старательными пионерами? Вот тогда уже смерть. Слова ни в ком не прорастут, ни в ком не отзовутся даже беспомощным шуршанием опавшего кленового листа.

А может, Володин сын, разбирая папки, захочет дописать повесть про Столешников переулоч, про что-

то еще, что, переполнив память, выплеснулось и забылось. Да, вспомнил! Про геологов, искавших золото в пустыне.

И я представил, как сын Володи так же сидит за столом, обтянутым ворсистым зеленым сукном, и огромные глаза его темнеют от напряжения, и он пишет, чернит страницы своим почерком — еще не огрубевшим, не изуродованным непосильным изнурением. Он мучается, не понимая, он просто не разбирает целые страницы и злится. И, запершись в просторной комнате, пишет, пишет, пишет... Нет, этого я почему-то не мог представить, — слишком нежная бородка курчавила щеки Володиного сына, слишком безвольно болтались руки с тонкими запястьями. Хотя при чем здесь борода?..

Я сидел за столом, заваленным бумагами и книгами. В доме напротив, в окне четвертого этажа на подоконнике сидела серьезная грязно-серая собака с мохнатыми черными ушами, поникшими тряпично. Прикурив, я снова посмотрел в окно — собака сидела, не шелохнувшись. А может, это большая гипсовая копилка — я видел такие на базаре в Сухуми. Или творение скульптора-анималиста? Я курил, а собака все сидела.

Большой двор с хоккейной площадкой (сейчас на ней ребята гоняют в футбол) разделяет дом и школу — квадратную, в прямых углах. На третьем этаже горит свет. Нет, это солнце подожгло окно.

Под окнами первого этажа, покрашенными белой больничной краской, стоит девочка в зеленых резиновых сапожках, в школьном платье с белым зубчатым воротником. Левой рукой она придерживает пиджак, накинутый на плечи, и тянется нежным запрокинутым лицом к тополиным снежинкам. Долговязый длинноволосый старшеклассник завороченно смотрит на девочку. Когда она опускает далекое лицо, он — даже мне видно — краснеет и пинает ботинком камешек, журавлем вышагивая вокруг любимой.

«Бедные дети! — шепчу я. — Вы думаете, что жизнь впереди. А жизнь всегда позади, как телега за лошадью, но разве от этого она не так интересна, не так желанна?»

Володя тоже думал, как вы, смеялся: «Ничего, у бога дней много!» И ошибся. У бога, конечно, много

дней. У человека — мало, всего семь дней, за которые надо успеть сотворить свою жизнь, свою землю и небо. Дети... Поймут ли они, что их отцы мечтали писать хорошие книги, но им надо было зарабатывать на хлеб, на книги, на тряпки, на алименты, и они работали до одури, мотались по командировкам, что-то давали в номер, редактировали, визировали и лишь урывками писали то, что им самим хотелось. Они виноваты (не перед нами,— перед собой), что мало хотели, мало трудились, мало написали.

Каждый писатель мечтает о самой главной, самой честной книге. Нет писателя, не ждущего от нее того, что Александр Иванов ждал (но не дождался) от своей Картины.

Чтобы ждать, надо творить, а как творить без одержимости?

Почему Иванов двадцать лет пишет Картину, не откликаясь на голоса умирающих в России самых близких людей? Почему мастер Энку днем и ночью, не разгибая спины, режет тысячу скульптур Будды? Почему скульптор Алейжадиньо, привязав к культе стамеску, продолжает вырубать из стволов фигуры апостолов? Почему режиссер Акимов мечтает создать и поставить на сцене такой стул, чтобы весь театр зарыдал? Почему Островский хочет написать такую трагедию, чтоб после первого акта у зрителей аневризма сделалась, а по окончании пьесы все сердца лопнули? Почему Гоголь смотрит в огонь, где корчится его рукопись, и бьет каминными щипцами обугленные руки протянутых к нему страшиц?

Почему?

Володя не был одержимым. Как, впрочем, и все мы, кроме нескольких избранных. Но, я знаю, он понимал: писатель весь по ту сторону черты незримой, но для него прозренной, а здесь — в миру — только его тень: вышагивает, машет руками, вертит головой. А сам-то он уж там. Невозвратно там, как сумасшедший в безумии.

Поймут ли это дети когда-нибудь, пытаюсь разобрать наши чудовищные почерки? Наши грязные бинты, которые присыхали к нашим ранам и отрывать их было больно, страшно. Наши золотые семена разу-

ма и доброты, которые мы так и не рассеяли по пашне...

Долговязый юноша все гоняет ботинком камушек... А девочка, придерживая худенькими пальцами пиджак, все смотрит в небо... И только вислоухая собака исчезла в окне напротив,— значит, она не копилка, не раскрашенная статуэтка, а живая собака, просто о чем-то задумавшаяся. О собачьей своей жизни. Как думаю я сейчас о своей человеческой — такой прекрасной и такой трудной, такой долгой и такой короткой. О жизни, в которой я зачал сына, посадил дерево, но не успел написать книгу.

Книга — это очень важно, душу не жалко дьяволу продать. Но еще важнее, чтобы через много лет к моему сыну подошел незнакомец и сказал: «Ваш отец был очень хорошим человеком».

Я дописал то, что хотел написать. А дальше? Напечатать когда-нибудь эти страницы или, заживо погребенные в одной из многих папок, они терпеливо будут ждать руки моего сына, его взволнованного или равнодушного взгляда?

Не знаю.

## ВО ИМЯ МАТЕРИ, ОТЦА И СЫНА

### 1

— Шли господь с Иисусом Христом, а три девушки просо пололи, устали, лежат. Помнишь, как просо-то пололи? В июне. Ваша полоска была у лужка, а наша у Гусихи. Так натрудишься, что спину не разогнешь, осотом все руки исколешь, прямо сил нет, просишь маму: давай отдохнем. «Да как же, ведь кругом работают». Вот и гнешься. А те девушки, видно, без матери пололи, взяли да и легли в тени. Спрашивает их господь: «Девушки, как нам в Грибаново пройти?» А они и головы не подымут, только одна ногой взбрыкнула — туда, мол, идите. Идут они дальше, видят — юноша пашет...

Андрей Захарович повернул ключ — дверь отворилась мягко, без скрипа. Раздеваясь, услышал из ку-

хни голос матери, в последние годы она стала плохо слышать и говорила громко, а отец, как всегда, слушал молча, кивая к месту и не к месту. Сын видел из прихожей его седой затылок, спину в овчинной безрукавке.

— Мать, да как же он пахал? — засомневался отец. — Пахали-то в мае.

— А ты не перебивай, ты дальше слушай. Вот господь его и спрашивает: юноша, далеко ль до Грибанова? «Да нет, рядышком, только лошадь выпрягу, провожу вас». Вывел кобылку с полоски, повесил ей короб с овсом, она и хрупает, а юноша довел их до Грибанова и назад пошел. Сел в теник у телеги, перекрестился, ест кулеш липовой ложкой.

— Ложки я сам красиво резал. Их ведь ненапасимо — то об лоб расколется, то сама обломается.

— Да я тебе не про ложки толкую. И что за человек!

— Ну, все, все.

— Вот идут Христос с господом дальше, Христос и спрашивает: «Господь, какое же юноше будет добро за его уважение?» — «А вы, Христос, сами какую награду ему хотите?» — «Жену хорошую». — «Будет ему жена — из тех девушек, что просо пололи». — «За что же ему такая немилость, ведь они ленивые, даже головы не подняли, слова не молвили!» А господь отвечает: «Коли будет ему такая жена, как он сам, всегда в их доме сытно будет. А коли и той лентяй попадет, не то что детей прокормить, сами по миру пойдут».

Отец задумался.

— Мать, да я что-то не пойму... Чем же его господь отблагодарил? Это ж он его заместо премии как бы в отстающую бригаду послал. Чудно! Сынок, вот тут мать...

— Слышал, слышал! — строго сказал сын. — Все, мать, хватит сказки рассказывать, пошли.

Анастасия Петровна разгладила морщинки на клеенке, словно это было самым важным, что надо сделать перед тем, как лечь в больницу. Взяла собранную сумку с ночной рубашкой, тапочками, кружкой, кульком яблок и краюхой черного хлеба. Захар Иванович сразу сгорбился, засуетился, замахал руками: за сорок четыре года супружества у них была одна

разлука — война. И теперь Захар Иванович замахал руками, заплакал.

— Ты чего, отец? Я же рядышком буду. Все ж там врачи посмотрят, поколют, а ты тут следи, с газом поаккуратнее.

— Настенька, ты не сомневайся, сяду на табуретке у плиты, пока чай не закипит.— Захар Иванович подал жене старенькое пальто синего драпа, обнял ее, ткнулся мокрой щекой в плечо.

— Пап, надо идти.— Сын тронул спину отца.— Я там очередь занял.

Сын крепко натянул на лоб кепку, взял у матери сумку, и они пошли.

Больница рядом, ходьбы минут десять, но это здоровому, а мать клали с гипертоническим кризом; участковый врач, выписывая направление, сказал Андрею Захаровичу, что мать надо везти на «скорой», но машину придется ждать целый день, и лучше будет, если они сами потихоньку доберутся. Вот они и добрались: шли все прямо и прямо, мимо кирпичных заводских домов, школы, детского сада. Моросил холодный октябрьский дождь, палая листва прилипла к асфальту, чисто промытые гроздья рябины, не расклеванной птицами, красно горели в мелкой зеленой листве, на березе, клене, каштане листва еще держалась крепко. Сын вел мать, как по ковру. Некоторые листья лежали давно, источенные подметками до сетки прожилок, ветхие, словно им было тысячу лет; другие, только что облетевшие с ветвей, лежали нарядно, легкомысленно. От палой листвы пахло грибами.

Анастасия Петровна шла медленно, иногда ее пошатывало, тогда сын останавливался, давая ей передохнуть, и они стояли, пропуская прохожих. Только на улице Андрей Захарович заметил, как болезненно оплыло лицо матери, как часто, жадно она дышит.

— А ты, сынок, и сам седой,— тоже впервые заметила мать.

— Не мальчик, пятый десяток пошел. Ну, передохнула?

И они снова шли по мокрому, застеленному листвою асфальту.

Народу в приемном отделении дожидалось много,

очередь Андрея Захаровича прошла, но, на его счастье, старушка, занимавшая за ним, вспомнила его. Тут как раз в кабинет пригласили следующего. Андрей Захарович помог матери встать со стула, снял с нее пальто, вязаную розовую кофту, повел в кабинет. Молодая врач с фонендоскопом на шее прочитала направление.

— А кардиограмма где?

— Вчера приходили делать, но что-то с заземлением, не получилось.

Услышав за спиной громкий храп, Андрей Захарович обернулся,— два фельдшера со «скорой» вкатили в кабинет каталку, на клеенчатой подстилке лежал пьяный с почерневшим измученным лицом, на губах запеклась пена.

— Так что кардиограмма...

Но врач его не слушала. Прижав авторучку к ярким полным губам, смотрела на пьяного, заправила под белую шапочку волосы — такие же темно-русые, как у матери, но не редкие, а пушистые, нежно мерцающие на свету. Фельдшер мыл руки в раковине, пьяный храпел, а она смотрела.

— Что ему ввели?

— Глюкозу, больше ничего,— ответил фельдшер.— Судороги.

— Ну, ладно,— сказала врач, снова беря направление.— А вы на что жалуетесь, Анастасия Петровна?

Андрею Захаровичу понравилось, что врач назвала мать по имени-отчеству, и голос ее очень понравился.

— Да слабость, голова кружится,— виновато сказала мать.— Черточки черные перед глазами.

— Еще сахарный диабет у нее,— добавил сын.

— И когда вы себя плохо почувствовали?

— Да уж года два — как сахар нашли.

— Нет, я не вообще спрашиваю, а вот теперь вы когда заболели? Вспомните.

— С недельку будет.

— Какие лекарства принимаете?

— А таблетки маленькие, рот от них очень сушит.

— Клофелин?

— Он самый, дочка. И от сахара еще — бу... бу...

— Букарбан,— подсказал сын.

— Хорошо. Давайте-ка мы вам давление изме-

рим. Не надо раздеваться, только рукав закатайте.

Врач обмотала манжетой предплечье, нажала резиновую грушу, открыла краник, глядя на круглый манометр.

— А вы чем раньше болели, Анастасия Петровна?

— Да я и не помню. Ничем не болела.

— Ну, так не бывает,— врач улыбнулась, и Андрей Захарович улыбнулся.

— Она ведь первый раз в больнице, хотя всю жизнь в больнице работала.

— В таком случае вы особая больная. Вы медсестрой были?

— Нянечкой, у грудничков. Ох, как болели! И мёрли много, особенно в войну,— вчп, дизентерия, желтуха, а мы почему-то никто не заразился — молодые были.

— Ну все-таки, чем вы болели? Гриппом болели? Корь, пневмония, скарлатина?

— Гриппом — да, а остальное — бог миловал.

Врач долго писала в истории болезни, сдувая со лба пушистые пряди.

— Хорошо, Анастасия Петровна, будем вас лечить. Только сразу предупреждаю: больница переполнена, придется день-другой полежать в коридоре.

— Дочка, да куда положите, я все рада,— мать даже смутилась.— Известно, все к вам идут.

— Вот и прекрасно, что вы все понимаете. А сейчас пройдите в сто шестнадцатый кабинет, скажите санитару, чтоб отвез вас на каталке. Попросите следующего.

Щуплый сонный санитар повел мать и сына длинным коридором. Лифт не работал. Спустились в тусклый подвал, пропахший пылью и гнилой картошкой, долго шли к грузовому лифту. Мать дышала часто, спотыкалась.

— Врач же сказал, чтоб вы отвезли больную на каталке.— Андрей Захарович с ненавистью посмотрел на сонного санитару, шаркающего ботинками.

— А где я ее возьму?

— Для пьяного нашли. И носилки нашли, и каталку.

— Алкогольные судороги, положено. Вы чему, собственно, улыбаетесь? — Санитар остановился.

— Да ведь как же, сынок, не улыбаться, ведь



пьяному везде хорошо: на работе за него другие работают, в магазине ему без очереди, в автобусе старушка место уступит. Вот и ты его на каталке повез. Хоть бы к непьющим такое внимание.

— Пьянство — это болезнь, — строго объяснил санитар. — Болезнь!

— Эх, сынок, он вино-то сосет, жмурится, а сердце болит у матери да у жены.

Дежурная медсестра хлопнула историей болезни по столу.

— Ну, куда я ее положу? У меня палаты не резиновые. Хоть бы раскладушки с собой брали. Вы, женщина, пока посидите.

— И долго сидеть? — спросил Андрей Захарович.

— Как койка освободится, ту больную переведем в палату, а вашу на ее место.

— Но ведь у нее гипертонический криз!

— А хоть два! Куда я ее положу, себе на голову? Не нравится, пускай дома лежит.

Андрей Захарович вздохнул так яростно, что в голове у него зазвенело. Он чуть не бегом кинулся на лестничную площадку — от греха подальше! Достал дрожащими пальцами папиросу. Курил, смотрел в коридор, застеленный зелеными и розовыми квадратами линолеума, на больных. Заметив, что освободилось кресло, кинул окурок в урну, бросился к креслу, чтоб другие не заняли.

— Садись, мам, все помягче, чем на табуретке.

— Сынок, ступай домой, не рви сердце. Вижу ведь... Отец там волнуется. Ступай.

— Ладно, ты только сама не волнуйся. Завтра придду, котлет Лера нажарит, соленья принесу.

— Ничего не хочется. Ты помолись за меня, я бы Лизавету попросила, да она сама лежит.

— Хорошо, хорошо. — Он погладил опухшую руку матери, поцеловал в висок, почувствовав на губах капельки пресного пота. — Все хорошо будет. А отца я к себе возьму.

— Ой, сынок, не затевай ради бога, он у себя дома сам хозяин, кровать аккурат по себе промял, не тревожь его. Старости ничем не поможешь. Пожили, пора.

Андрей Захарович ехал в автобусе, обняв сумку, стоявшую на коленях, и смотрел в окно. Дорога от матери до его дома легла далекая, через всю Москву, ехать было так долго, будто из одного города в другой. Но сейчас, после беготни по поликлинике за направлением, после волнений и страха, что мать вдруг не положат, он чувствовал во всем теле, в мыслях такую усталость, что хотелось просто сидеть на мягком сиденье возле мокрого окна и ехать, ехать. Надвигались и проносились мимо огромные многоэтажные дома, остановки с толпами людей, грузовики, доверху груженные капустой и картошкой, резанул взгляд ржавый крест церкви.

Бога нет, а верующих много.

Во что же веруют? В царствие небесное? В совесть? В коммунизм? Кто во что. Он, например, в правду, ибо без правды нет ни справедливости, ни совести, ни доброты. А мать? Мать говорит:

— Да я, сынок, так вдруг и не скажу. Вроде уж так и надо, мы ведь народ крещеный. Вот чувствую, какая-то сила есть на свете, и страх в душе есть,— ну, как на том свете в долгу перед господом останусь. Конечно, раз я грамоте не учена, нет у меня такой силы верить, как у других, а помолишься — и на душе спокойнее.

Мать еще с вечера готовится к заутрене. Гладит платье, платок в горошек. Переделав все дела, просит:

— Сынок, уж ты напиши мне.

Андрей Захарович вырывает из тетради лист и пишет под диктовку.

ЗА УПОКОЙ

Петра,  
Марии,  
Ивана,  
Прасковьи,  
Федора,  
Сергея,  
Мавры,  
Галины,  
Лии,  
Рахили,

.....

и младенца Николая.

Андрей Захарович исписывает три листа. Анастасия Петровна пьет чай, заложив за морщинистую щеку конфету, и, шевеля губами, читает имена. Словно из бездонной глубины тянет тяжелый невод, где косяком рыб бьется память. Руки ее бессильно ложатся на колени. Сколько же жизней, сколько причудливых переплетений судеб понадобилось, чтобы эти русские и нерусские имена уловились ячейками одной памяти. Многих помнил и Андрей Захарович: Петр и Мария — родители матери, Иван и Прасковья — родители отца, Лия — мать жены. А остальных? Забыл, не знает. А мать всех помнит и за всех молится. Что же им от ее молитв, ведь мертвых не вернешь, живой водой не окропишь. Да, не вернешь, но не будь матери, и сама память поросла бы быльем, словно и не жили никогда на земле эти люди.

Плывут по небу облака. Из какой дальней стороны прибило их ветром, куда несет? Молчат. Опадают листья. А как спешили они на солнечный свет, радостно зеленели, прирастали к ветвям тоненькими черенками — зачем? Нет ответа. Но человек не облако, не лист. Се человек! — вот имя каждого из нас, имя и звание, судьба и ноша.

Несколько раз Андрей Захарович приступал к атеистическому воспитанию матери. Только начнет про то, как люди от страха бога придумали, про обман и невежество, мать покраснеет, как девочка, опустит виновато глаза, разглаживая ладонью морщинки на скатерти.

— Так ведь я, сынок, разве во вред кому? Разве я содомщица какая или против власти нашей? И за нее свечку Николаю Угоднику поставлю. Вот ты грамотен, книги читаешь, а мне что ж в четырех стенах? Тоже к людям хочется.

— А на улице тебе не люди?

— Люди-то люди, да ведь у каждого своя печаль, кричат, толкают, норовят друг дружку обидным словом стегануть. А там разве грубое-то слово услышишь? И улыбнутся тебе, и глянут ласково, а уж батюшка так складно говорит, вот не хочешь плакать, а слова тебе душу так и раздирают, слезы так и льются. Ты сам-то посуди, разве там чему плохому учат? Не делайте друг дружке лиха, не бранитесь, уважайте родителей. Я вот сейчас-то причастилась, душу умыла,

в руках все так и горит, будто не тружусь, а в куклы играю.

Что он мог возразить? Ну, нет бога — обман он, невежество, опиум. Но вера-то есть!

— Мать, а если б все в церковь ходили, люди лучше стали бы?

— Ну, сынок, это уж от человека. Вот слушаешь батюшку, думаешь: ну все, больше не буду никому плохого делать, а вышла за ворота и забыла — снова друг дружке косточки перемываем, за глаза срашим, завидуем. Раньше-то в церкву поголовно ходили, а все одно плохого много было. Теперь-то жизнь сытая, куда с добром!

Андрей Захарович не помнил мать молодой. Да и себя помнил только лет с пяти, не раньше, — почему-то обрывающего на пустыре за баней «лепешечки», похожие на семена ноготков, вкус у них был пресный, не то что у жмыха, а зубы становились зелеными; как называлась эта не то трава, не то цветок, он не знал, да и не растет она давным-давно на пустырях Замоскворечья, исчезла вместе с белыми мотыльками, которых было видимо-невидимо, гудящими майскими жуками, самокатами, дровяными сараями, школами отдельно для мальчиков и для девочек, исчезла вместе с улицей, где он родился, Якиманкой, названной по имени церкви Якима и Анны — дедушки и бабушки Иисуса Христа, ее сломали еще до войны, а кино-театр «Авангард», перестроенный из храма, взорвали в начале шестидесятых — ночью он проснулся от взрыва.

Тот голодный мальчик, жующий «лепешечки», был бесконечно дорог Андрею Захаровичу, смотревшему в мокрое окно автобуса и понимавшему, что никогда уже ему не стать таким нежным, добрым. Но почему сорокалетний Андрей Захарович не мог стать лучше самого себя? И действительно ли тот мальчик был лучше его нынешнего? Да, ответил он, лучше, — тот никому не сделал зла, он был безгрешным, счастливым. Взросление — это утрата, очень долгая и незаметная утрата. Младенцу принадлежит весь мир, постепенно, с годами сужающийся до городской черты, дома, квартиры, пока не примет окаменелую окончательность смертного одра — последнего предела. Ста-

рость — утрата всего, что так щедро подарила жизнь и сама же безжалостно отняла.

Но что-то в душе Андрея Захаровича восставало против такой примитивной простоты, сыпало песок в ход мыслей, вызывало трение, даже боль. Да, младенец никому не причинил зла и потому безгрешен. Но ведь и добра никому не сделал! Что же важнее — делать добро или не причинять зла, и возможно ли для человека одно без другого? На этот вопрос он не мог ответить. Будет здорова мать, будет и добро, потом с остальным разберемся.

Он протер кулаком стекло, и вовремя — на следующей остановке надо было выходить.

### 3

На третий день после ужина Анастасию Петровну перевели из коридора в палату. Здесь стояли семь коек, над каждой горела неяркая лампа в жестяном фунтике, от лампы свисал шнур с выключателем и кнопкой вызова сестры, у изголовья стояли тумбочки. Два больших, наглухо заклеенных окна завешены бежевыми шторами, тепло, тихо, только скрипят сетки кроватей. Больные подобрались немолодые, нетяжелые, невредные, сами ходили и в уборную, и в столовую, и на процедуры. Скоро они уже знали про Анастасию Петровну не меньше, чем муж и сын, и она про соседок знала все: о детях, внуках, зятях, невестках, у кого муж погиб на войне, у кого сын сидит в тюрьме. Анастасия Петровна, зардевшись от гордости, поведала, как хорошо ладит с невесткой, про пятерки внука, про медаль сына — токаря, и как он два года работал в Индии, откуда привез ей этот кашемировый платок.

Кажется, у нее одной все так хорошо сложилось: муж и сын непьющие, невестка работающая, внук послушный, ласковый. И в больнице ей все нравилось — палата, еда, даже уколы. На вопрос сына, как ей здесь живется, она каждый раз отвечала: «Рай, да и только. Цари так не жили, по-черному топили». То, что ее впервые за долгую жизнь положили в больницу, Анастасия Петровна воспринимала не как необходимость, а как награду, заботу о себе она принимала

смущенно, даже стыдясь, хотя скупа была эта забота: вопрос врача, два укола в день, невкусная еда. Не было тут половины, даже десятой доли той заботы и жалости, которую она сорок лет отдавала детям, когда работала нянечкой, но ей даже мысль не приходила сравнивать себя и этих молодых нянечек в нарядных платьях, дорогих чулках, грамотных, гордых.

Она вспоминала, как ее подруга Дуся Барышникова, ласково приговаривая, купала в корыте желтушных, рахитичных, дизентерийных грудничков, репейным маслом смягчала коросту, нежно расчесывала спутанные волосики; как, завидев манную кашу, груднички тряслись, сучили ножками — так им хотелось есть; как ночью, прикорнув у печки, она испуганно сторожила — не скрипят ли половицы под грузной Бертой Осиповной, которая, кажется, не только дневала и ночевала в больнице, но вовсе не спала. Ради детей Берта Осиповна стучала кулаком в райздраве, не желая слышать про войну, разруху, на все доводы приводя свой, единственный: дети больны, им нужна горячая вода, лекарства, кефир, рыбий жир, тальк, вата. А где взять? Ночью Анастасия Петровна, Дуся Барышникова, Соня Фарон тайком пролезали через забор, крадучись, чтоб не услышал инвалид-истопник, накладывали в ведра уголь; когда ведро предательски звякало, они обмирали от страха и жалобно просили: «Дяденька, мы не себе, мы в больницу, у нас дети мерзнут». А зарплату Анастасия Петровна получала тридцать шесть рублей, мужа не демобилизовали, хотя война кончилась, дома, привязанный за ногу к кровати, оставался маленький сын, и ему тоже нужно было тепло, кефир, рыбий жир. Муж писал редко, она складывала треугольники в жестяную красную коробку из-под монпансье и тут же забывала про них, а помнила почему-то самое первое письмо — февраля 1942 года, где Захар Иванович ругался, что никак не выдадут валенки, с харчами совсем плохо, а немцы хоть и убитые лежат перед окопами, а все белые да гладкие, как поросята; Анастасии Петровне было жалко голодного мужа.

Как многие люди, пережившие лихолетье, она была убеждена, что теперь жизнь наладилась очень хорошая, «как у Христа за пазухой», что теперь толь-

ко жить да радоваться, и нечего просить у бога, кроме одного: чтобы войны не было. Она не жале-ла, что жизнь прошла,—прошлое было не в счет, зато вот теперь она лежит в больнице, на всем готовом, сын через день приносит гостинцы, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастли-вой.

4

Андрей Захарович ездил в больницу через день. Выкладывал из сумки крепкую душистую антонов-ку — теплый вялый воздух палаты свежел, наливался яблочной сочной спелостью; ставил на тумбочку пол-литровый термос с куриным бульоном, нажаренные женой еще теплые котлеты, аккуратно завернутые в хрустящий пергамент; диабетические конфеты и ваф-ли с красным крестом на обертке. Мать каждый раз порывалась положить гостинцы обратно в сумку, пов-торяя, что кормят хорошо и ей хватает—сами ешьте, вы молодые, но сын не слушал и строго спрашивал, что принести послезавтра. Потом они шли в коридор, седи-лись на диван рядом с испорченным телевизором и говорили. Сперва спрашивал сын: какое давление, ка-кая температура, что колют, как кардиограмма, но ни на один вопрос мать не могла ответить вразумитель-но: «Сынок, говорят, да разве я упомяну, после укола голова как шальная». Андрей Захарович пробовал спросить у дежурной сестры, но та с таким раздраже-нием посмотрела на него, будто он попросил ее почи-нить телевизор. А с врачом поговорить не удавалось — вечером врача не было, а днем Андрей Захарович работал; даже фамилию врача никто не мог сказать,—пока мать лежала в коридоре, был один врач, пере-вели в палату — другая, но ее уже три дня нет: замуж выходит.

На вопросы матери Андрей Захарович отвечал об-стоятельно: отец молодцом, сегодня варили с ним кашу рисовую на молоке, добавили туда чернослив с изюмом, отцу очень понравилось. Вместе ходили в магазин, но отец все рвется в больницу. Тут мать махала руками: нечего ему по грязи спотыкаться, сам после инфаркта, пусть дома сидит. Внук сегодня по-

лучил пятерку по истории, передает бабушке привет. Жена тоже кланяется, просит извинить, что не приезжает навестить — на работе устает, да еще в очередях настоится, приходит и валится с ног. Ну и нечего ей, горюше, ездить, не ближний конец, на ней ведь дом, это мужик пришел, бухнулся на диван, и хоть трава не расти, а женщине всегда работа найдется, — оправдывала невестку Анастасия Петровна. — Кормят хорошо, сегодня давали рыбу отварную с пюре, суп гороховый, чего еще старухе надо. Да и не век мне лежать, тут никого не прописывают.

Каким-то сиротством отдавали эти слова «пюре», «суп», сын жалел мать, гладил обессилевшую белую руку с черными кровоподтеками от уколов и только приговаривал: «Ничего, мать, ничего». Вел ее в палату, прощался с больными, каждый раз слыша за спиной «хороший сынок» и удивлялся этой похвале, хотя однажды, спускаясь по лестнице, неожиданно подумал, что ведь он ни разу не видел, чтоб в палату приходили посетители к другим больным, а ведь были, конечно, у тех пожилых женщин мужья, дети, невестки. Наверное, они приходят позже или раньше или в другие дни. А если и в другие дни не приходят? Нет, как же... должны приходиться.

Выйдя на улицу, Андрей Захарович закуривал, давал глазам привыкнуть к сырой темени, беспросветно, как светомаскировкой, накрывшей квартал; фонари светили тускло, огромные, еще не заселенные дома стояли мрачно, а в обжитых домах, как свечи, теплились зажженные окна, даже автобусы ехали медленно, не зажигая свет в салоне, редкие прохожие угадывались в темноте по кашлю, шлепанью досок, уложенных по грязи. Зыбкая сырость и темень наводили такую тоску, что, увидев автобус, Андрей Захарович радовался ему, как спасению, вжимался в холодное сиденье и целый час ехал от окраины к центру, оттуда еще час от центра к противоположной окраине, передавал жене и сыну привет от матери, равнодушно выслушивал, кто звонил, пил на кухне крепкий кофе, осторожно, не тревожа жену, ложился и в темноте долго смотрел на луну.

Ночной звонок испугал его, из глаз полыхнули искры, отчаянно забилося сердце. Задыхаясь от страха, выдохнул в трубку: «Слушаю».



— Сынок, это я. Не спишь?

— Нет, папа, не сплю.

— Я и подумал, что ты поздно ложишься. А я уже два раза спал, вот проснулся. Каждую ночь просыпаюсь, все думаю, как там мать.

— Не волнуйся, она чувствует себя хорошо, давление уже лучше. Наверное, скоро выпишут.

— Ты не обманываешь?

— Пап!

— А она не сердится, что я не прихожу? Мне ведь тяжело, если б мне хоть пятьдесят было, а то семьдесят шесть, это ты молодой, я в твои годы за троих работал, а теперь все болит, вижу плохо. На войне неделями в болоте лежал и не болел...

— Пап, я к маме через день хожу, ты же знаешь. Она просит тебя не волноваться.

— Нет, я завтра пойду, как же — она там лежит, а я не прихожу, подумают: у нее мужа нет. Я сейчас проснулся, даже заплакал...

— Пап, я завтра за тобой заеду, мы вместе пойдем.

— Только ты пораньше приходи, засветло, мне ведь тяжело идти, это тебе десять минут, ты молодой, а я пока дойду...

— Хорошо, я постараюсь пораньше.

— Сынок, ты не сердись, что я пристаю, ты ведь один у нас, должен о родителях беспокоиться, мы же старые. А как же! Если уж сын родной не позаботится... Правду я говорю?

— Правду, правду. Спи и не волнуйся, завтра пойдем к маме.

Андрей Захарович положил трубку, босиком прошел на кухню, закурил. Какой уж тут сон! Сна не было, и луны не было, только мерцающий зеленый отсвет. Глядя в окно, Андрей Захарович подумал, что не доживет до возраста родителей, но отнесся к этому спокойно, словно думал не о себе, а о ком-то другом. Это вовсе не означало, что ему надоело жить, или он не любил жену и сына, — просто он и сам не мог объяснить, почему жизнь утратила радость. Может быть, все изменилось, когда он ждал, пока в медной турке тяжело дышала ворчливая пена. Он стоял наготове, следя за кофе и слушая по радио романс Булахова

«Тройка». «Динь-динь-динь! и тройка встала, ямщик спрыгнул с облучка...» Вдруг радио осеклось, и стало так тихо, что и в самом Андрее Захаровиче все обмерло, оборвалось: в неправдоподобной, какой-то подводной тишине он, казалось, слышал бешеные скачки секундной стрелки и с ужасом ждал — вот сейчас объявят, что началась война! Было так нелепо — встретить чудовищную весть на кухне, с фланелевой рукавичкой, когда через несколько секунд дома, люди, песни обратятся в раскаленный газ и жирную копоть, что жизнь показалась жуткой, рабски-подчиненной непонятно чьей воле, неизвестно какой цели, и жить так стало нелепо, невыносимо, невозможно!

«...целует ямщика!» — грянуло ожившее радио, растянутое, как тянучка, «цалу-у-у-ет» было приторно до тошноты, и нестерпим был паленый запах убежавшего кофе. Эта мысль, что в любой миг, когда он вытачивает втулку на станке, возится с сыном или смотрит по телевизору хоккей, мир может взорваться, как перегоревшая лампочка, — эта мысль, раз вонзившись в сердце, саднила, болела. Только несколько раз в году, уезжая за грибами, он бывал счастлив по-настоящему, возвращался домой веселый, помолодевший, размечтавшись: а хорошо бы пойти за грибами вместе с Лерой и Алешкой и навсегда заблудиться в лесу...

Лежа рядом с женой, он все думал, почему в голову лезут такие мысли, а ведь завтра рано вставать, работы будет по горло, потому что последний день ноября, а после работы ехать к отцу, да еще заскочить на рынок, купить матери творог, потом вести под руку отца в больницу...

Когда Андрей Захарович уже засыпал, далекий-далекий, чуть слышный голос прошептал: «Помолись за меня, сынок», — но так тихо и так далеко, что он не понял слов, почувствовал лишь легкое дуновение, пощекотавшее глаза, и глубоко вздохнул, даже не заметив, что пошел снег, первый в этом году.

## ДЕНЬ РЫБАКА

Михалыч, засучив рукава грязной рубахи, разделывал на порольном столе здоровенную щуку. Острейшим ножом, похожим на сапожный, он распластал ее вдоль спины, с хрустом рассек верхнюю челюсть, раскрыл рыбину и плавным движением лезвия полоснул вдоль хребта справа и слева. Просеял в обе половины по щепоти каменной соли и сложил щуку, как папку. Работу он делал не спеша, посапывая, посасывая сигарку. На его мясистом, добродушном лице, поросшем серебристой щетиной, расплывалась тихая радость: на перешеек приехала автолавка, и уже отчетливо слышался стрекот моторки бригадира Лопатина, спешившего в рыбацкий поселок с дарами сельпо.

Когда моторка вынырнула из-за острова, на берегу уже собрались все жители поселка: Пантелеймон Акимович Лопатин, его сноха Валька, Герка Сохарев с женой Зинаидой, Василий Мамонов, Виктор Михалыч Сысоев, тувинец Сорукту. Не было только Крещеного с женой Феклой, смотревших сети на дальнем конце озера. Лайки нетерпеливо забегали в воду, бесположно путались под ногами, схватывались в свирепых сварах, но хозяева быстро вразумляли их безжалостными пинками, и псы, недовольно рыча, смирились.

Лодка шла хорошо, вспарывая острым носом блестящую солнцем воду. За кормой, притопленной мотором, разваливалась надвое волна и дрожащим огнем горела зыбкая дорожка. На руле горбился огромный Лешка Гогин — детдомовец, два года назад приехавший с промхозовской машиной на Чеды-Холь. Как собачонка приبلудная, прибился он к деду Лопатину и так остался у него, молча делая все, что ему скажут. Пошлет его, бывало, Герка за черемшой, он только виновато улыбнется и пойдет в тайгу на день, а то и на два. Велит Иериней Петрович затаривать бочки, Леха накинет ватник и торопится в порольню. Зазовет Вася Мамонов пить брагу, он сидит, пьет и, опьянев после второй кружки, плачет, размазывая кулачищами слезы. Потом виновато подойдет к Пантелеймону Акимычу, молча ляжет в углу на раскинутый тулуп. Лопатин стыдил мужиков, а те только зубы скалили: «Акимыч, ить на дураках воду возят».

А он действительно был дурной. Огромный парень, один ставивший в лодку стокилограммовую бочку с рыбой, а замахнется на него кто-нибудь, закроет лицо руками и стоит. Так совсем замордовали бы Леху, если бы не бригадир. Однажды, выйдя из дому по нужде, Колька Лопатин увидел, как Герка, прижав парня к плетню, пинает ногами.

— Герка, подь-ко сюда!

— Че тебе?

— Да не бось,— Колька поманил пальцем.

— Ну, че тебе?

Пьяный Герка, заложив руки в карманы, подошел к бригадиру. Колька ухнул его литым кулаком в ухо, и Сохарев осел. Пытался встать, но только испускал вонючий дух и снова садился — ноги не держали.

— Еще раз тронешь Лешку, убью. И другим передай...

Спорить с Колькой охотников не было. Бригадир завел парня в дом, заставил тут же написать заявление с просьбой принять в неводную бригаду и при случае отвез бумагу в Тооре-Хем директору Тоджинского коопзверопромхоза Ерофееву.

...Лешка приглушил мотор, поднял из воды винт. Лодка с шипеньем выскочила на песчаный берег, и Колька Лопатин, с трудом поднявшись с банки, зычно скомандовал: «Налетай, мужики!»

Через минуту все кули, ящики, коробки свалили возле баньки, стоявшей в пяти метрах от воды. Колька, поддерживаемый с двух сторон Геркой Сохаревым и Васей Мамоновым, торжественно и пьяно ступил на родной берег.

— Бабы, жиров нет. Муки и консервов тоже. Всю сгущенку купила ферма.

— А вино? — спросил охрипший Вася.

— Ша, Мамонов,— отрезал бригадир, тряхнув рожим чубом.— Вино от нас не убежит. Здеся курево и спички,— прокуренный палец указал на фанерный ящик с трафаретной надписью «Крайний Север».

— Яаа,— сморщив бронзовое лицо, сказал Сорукту.— Арака бар? Шибко хочется.

Все засмеялись. Всем шибко хотелось.

— Йох, йох,— притворно испугался Лопатин.— Арака йок. Ерофеев моя сказал, на Чеды-Холе одни

пьяницы, водку им не давать, особенно Сорукту. Арака чок, чай бар.

— Ой, Лопатина, врешь,— встревожился Сорукту, хотя знал, что без вина автолавка никогда не приезжала. А сегодня — тем более.

— Вермишели всем по три пачки. Куль сахара Мамонову пополам с Геркой. Во, Иериней вернулся!

— Крещеный, дай на уху! — крикнул Мамонов.

Иериней Петрович Крещеный, не обращая внимания на собравшихся, ступил резиновыми сапогами за борт, подтянул лодку, велел жене нести носилки. На дне лодки сонно шевелилась рыба. Только здоровенная щука, согнув в кольцо узкое туловище, была хвостом и открывала пасть с загнутыми тонкими зубами. Золотистые широкие язи растопырили перья плавников; жирные налимы, успевшие покрыться слизью, тяжело раздували жабры. Мокрые сети с зелеными лохмами ила Фекла развесила на вешелах. А Иериней, выбирая черпаком сорогу, окуней, налимов, вылавливал улов в носилки.

— Берисы!

Жена взялась за толстые рукоятки и, охнув, пошла в порольню; вывалили рыбу на широкий стол, придвинутый к бревенчатой стене. Пока они шли, Герка выбрал в ведро налимов на уху.

— Иериней, приходи брагу пить.

Крещеный снял собачью шапку, которую и летом не снимал, отер пот.

— Отец, дай передохнуть,— попросила Фекла.

— Не переломишься. Выпорешь рыбу, засолишь. Приду, сам затарю.

— Каково рыбачил, Иериней? — спросил Пантелеймон Акимыч. Он сидел на бревне рядом с Сорукту, дымил трубочкой.

Крещеный не ответил.

— Сердитый,— покачал стриженной головой Сорукту.— А чего сердитый? Солнышко светит, рыба много взял. И отец его был злой как росомаха.

Сорукту, как и все старики-тувинцы, был стрижен наголо, узкие глаза щурились на солнце. Старая, добела застиранная гимнастерка выпущена поверх штанов. Дед Лопатин грелся в овчинной безрукавке. Борода с густой проседью порыжелала от дыма, прикрыла жилистую шею.

Бабы галдят, кому нести капусту, кому сохатину, кому черемшу, кому пельмени стряпать. Только Валька молчит, прижав платок к огромному животу.

В избе Сохаревых чисто. Пол выскоблен, стол под клеенкой, занавесочки тюлевые.

Железную печку вынесли во двор, запалили. Здесь же поставили стол, чтобы стряпать на воле, принесли ведро с водой.

Мужики шумно рассаживались на табуретках и чурбаках. Махорку, кроме Михалыча, никто сегодня не курил, дымили папиросами. Говорили все разом — о приемщике Кузнецове, который ни с того ни с сего надумал платить за рыбу пятьдесят процентов, а остальные деньги — после приема рыбы Кызылом, о бензине, о маршале Жукове, о бывшем завучастком Фроловиче, о бражке, о покосах.

Бабы во дворе вели свои разговоры. Раскрасневшись от жары и стряпни, они ловко лепили рыбные пельмени из щуки пополам с налимом, заливали сметаной мелко нарубленную черемшу, варили уху, разводили горчицу, мыли стаканы.

Наконец все уселись за стол — муж с женой, сосед с соседом. Вместо приборов перед каждым лежала пачка папирос, а ножи и так были у всех — в ножнах.

Лешка, выждав, когда выпили, наложил полную миску горячих пельменей.

— Дедушка, а мы когда за камедью пойдём?

— Да уж пойдём. Вот кончат рыбу ловить, и пойдём. Палатку возьмём, ружьишко. А ты, Михалыч?

— Я ноне на марала лицензию взял.

— Сиди уж, — оборвал его Герка. — Ты сперва научись след своей бабы от медведя отличать, тогда и бери. Марал — это тебе не ондатра.

— А ты ить, Герка, и сам не следопыт. Тебе ведь только невод тянуть, и то висишь на тетиве как наплыв, а за тебя другие тужатся. В тайге, поди, вовсе пропадешь.

— Ну, спасибо, Иериней Петрович, за мою хлеб-соль, — Герка с грохотом опрокинул табуретку, поклонился. — А десять литров бензина из моего бачка кто прошлым летом выкачал? Али забыл? Ишь, грамотей нашелся!

— Да сядь ты, заводной,— Зинаида дернула мужа за рукав.— Герка!

— Тридцать лет Герка. А ты помалкивай. Колька, наливай!

Выпили. Закусили. Лопатину подали гармонь. С трудом просунув-руку под ремень, он нащупал толстыми сильными пальцами перламутровые пуговицы, медленно растянул мехи. И запел:

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали.  
Товарищ, мы едем далеко,  
Подальше от нашей земли.

Пели все. Вася Мамонов сипел, на шее вздулись толстые синие вены. Михалыч немного отставал, потому что заикался. Бабы брали слишком высоко. Но посреди этого разноголосья уверенно вел сильный голос бригадира. Прижавшись щекой к гармонии и смотря куда-то вдаль невидящими глазами, он пел, изредка встряхивая крутым рыжим чубом, упрямо выбивавшимся из-под кепки.

Кончив песню, он бережно поставил гармонь на пол и, словно вернувшись издалека, оглядел застолье.

— Перекурим — тачки смажем, тачки смажем — трап наладим. Так, бригадир? — Мамонов услужливо подал ему пачку «Прибоя».

— Так, Вася. У тебя бочек-то много затарено?

— Есть маленько — четыре сороги и две окуня. На перешеек бы их сплавить надо. Вон и у Герки пять, у Михалыча четыре, у Лехи две.

— А Кузнецов все равно не примет,— встряла Зина.

— Это тебе Герка наплел? — спросил Колька.

— А хоть бы и я,— вскинулся тот.— Что, не было такого разговора, чтобы рыбу через двадцать дней после затарки принимать? А платить за два раза — половину при сдаче, а половину, когда Кызыл примет. Вот когда Фролович здесь командовал, мы денежки сполна получали.

— Эва, вспомнила белка кедровый год! — проворчал дед Акимыч.— Ты еще вспомни, как здесь, бывало, по фунту золота намывали.

— Я, Пантелеймон Акимыч, сказкам не верю.

— Так ты этим не гордись, милоч. Я вот через

сказки много интересного увидел. Почему Ельцовый ключ Ельцовым зовется?

— Известно, почему. А Бешеный ключ? — спросил Лешка.

— Почему? — дед раскурил трубку. — Золотишка мы там по фунту за день мыли. Ты думаешь, Герка не знает? Ему небось покойник отец рассказывал.

Герка заерзал на табуретке, поманил пальцем жену, что-то шепнул ей на ухо. Та выплыла в сени и через минуту вернулась с новой бутылью браги.

— Ай да Герка! — просипел Вася и через весь стол полез целоваться.

Михалыч и дед Лопатин от бражки отказались. А Леха все нажимал на пельмени.

Михалыч задумчиво строгал спичку. Нож у него был знатный. Двух соболей давал ему главный охотовед промхоза за нож со свастикой на рукоятке. Он не взял. Седые волосы курчавятся на руке. «Боже, храни моряка» — наколото на ней. Сохранил его бог однажды...

Разведчики из отряда морской пехоты взяли эсэсовского офицера. Михалычу приказали доставить его на рыбацкой шаланде в Керчь. Когда стемнело, шаланда вышла в море. Здоровенный эсэсовец сидел на свернутом парусе и стонал — правую ступню ему раздробило автоматной очередью. От хромового сапога осталось только голенище. Михалыч стоял на коленях, зажав подбородком индивидуальный пакет и туго перевязывал окровавленную ногу. Немец жадно хватал воздух.

— Терпи, — сказал Михалыч.

— Юде? — спросил офицер.

— Ага, — не поняв, кивнул моряк.

Эсэсовец скрипнул зубами и, выбросив из рукава кителя кинжал, полоснул Михалыча по горлу. Остра золингеновская сталь! Рассекла бинт, вату и чиркнула по горлу. Еле-еле отбил Михалыч фрица у разъяренных рыбаков. А клинок со свастикой оставил на память.

...Идет Леха, улыбается — сыт. Июльское солнышко по лицу теплыню гладит, пот утирает шелковым платком. Озеро светом глубоко просвечено, всплескивает рыба, заигравшийся язь вымахнет, сверкнет красным пером и шлепнется, разводя бегучие круги. А на



дальнем берегу тайга сплотила рослые стволы и, кажется, вошла в озеро, смотрясь в прохладную чистую воду. Дед Лопатин рассказывает: глубина здесь страшная. Не раз пытались мерить, да веревок не хватало. Может, триста, может, пятьсот метров. И сказывал еще, раньше ловили здесь староверы щук громадных, с рогами, поросших седым мохом. Такая человека запросто проглотит. Когда в прошлом году взяли сорожий косяк в Крестовой тоне и Леха тянул правое крыло невода с Сысоевым, оступился он и начерпал полные сапоги. Думал — коряга под ногой, а когда вытащил, оказалась невиданная щучья голова, длиной больше метра. На темном костяном лбу торчали два бугра. И впрямь рога.

Нет, Пантелеймон Акимыч зря говорить не станет. И хотя Леха трудно понимает, когда с ним говорят — как-то не удерживается в голове, протекает сквозь память, как вода в решето — но, подперев ладонью подбородок, не отрываясь, смотрит на деда, зачарованный его рассказами. А через день-два сидит Леха с рыбаками в лодке или дрова колет — и вдруг, словно слышит слова Пантелеймона Акимыча, да так ясно, что даже обернется иной раз: чудится, что дед за спиной стоит. И после этого внутреннего услышанья уже запоминает все прочно...

## ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

*3 января 1948 г.*

Досточтимый Петр Пименович!

К вам обращается настоятель Рожюнайского костела Казимир Можейко. Недавно ездил по делам в Вильнюс, хотел вас повидать, но мне сказали, что вы теперь живете в Москве.

Когда Красная Армия освободила Рожюнай, собрали наших крестьян, чтоб вступали в колхоз. Собрание проводил товарищ Ямейкис из Тракая, бывший партизан, а теперь партийный секретарь в Тракае. Он спросил, кого хотят в председатели, многие назвали меня — я, правда, при этом не присутствовал, находился в костеле, за мной послали. Пришел в Като-

---

<sup>1</sup> Автор считает необходимым предупредить читателей, что имена героев рассказа и название городка — вымышленные.

личный народный дом (там до войны был апилинковский совет, а теперь клуб), и товарищ Ямейкис прямо спросил: «Пан ксендз, как вы смотрите, если вас изберут председателем колхоза?» Я ответил: «Если люди хотят, я согласен». Он очень удивился: «Вы же настоятель костела, неужели сан позволяет вам вмешиваться в мирские дела?» Я ответил: «Все дела, которые творятся в мире,— мирские».

Но хотя люди голосовали за меня, Ямейкис порвал протокол и велел избрать учителя Кавальяускаса. Избрали. А через два дня его убили, когда он вез муку с мельницы. После Кавальяускаса прислали нового председателя — сына того Жуковского, которого немцы расстреляли за недоимки.

Вы, наверное, слышали об этом ужасном случае в Тракае, а я сам был свидетелем расстрела трех крестьян. Когда я подбежал, Жуковский еще дышал и все просил: «Пан ксендз, прокляните их!» У него было два сына: старший, Миколас, в тридцать восьмом вернулся из Аргентины, его все звали Американцем. А младшего увидел, когда его привезли в Рожюнай,— говорили, он воевал в Красной Армии. Его убили на свадьбе — бросили в окно гранату. Погибли многие: Жуковский, его невеста, органист Феликсас, который сам сделал орган в нашем костеле. Он сидел на лавке у стены, играл на трубе. Его прямо пригвоздило осколками: когда приехала милиция, он так и сидел с трубой. А скоро привезли на санях тела бандитов, положили перед костелом.

После того несчастья долго не было председателя, да и колхоза не было, каждый пахал свою землю. Тогда многие жалели, что вы уехали, я такие разговоры часто слышал от прихожан. А месяц назад ко мне пришел товарищ Ямейкис, расспрашивал, знаю ли я вас, сколько раз мы встречались, и снова спросил, соглашусь ли стать председателем. На этот раз я ему прямо сказал: если люди сами меня спросят, я отвечу, а с ним говорить больше не хочу. Через неделю он опять приехал в Рожюнай, собрал людей, и меня избрали председателем, дали бричку с кобылой, кучера, печать. Но товарищ Ямейкис велел мне достать справку, что я помогал партизанам, и дал ваш адрес. Конечно, он не верит мне, но люди боятся даже ходить на собрания (в колхоз записалось всего

одиннадцать бедняков), да и кто согласится стать председателем — тяжело народу живется, война ушла, а мир еще не пришел.

Мне уже пятьдесят два года. При Пилсудском сидел; когда Советы пришли, хотел уехать из Литвы, но остался, исполняя волю своего епископа, и тоже было всякое; при немцах меня арестовывало гестапо — это вы сами знаете.

Я всегда был против того, чтобы ксендзы имели землю. При Советской власти всю отдал, оставив только три гектара — под кладбище, кто же тогда знал, что для мертвых и тридцати гектаров не хватит. А кладбище спасло наш костел Благовещения. Когда погнали немцев, мы с пани Яниной спрятались на кладбище, там рядом с часовней был огородик и домишко с погребом. Пушки палят, город горит, думаю — теперь костел побьют, ведь немцы на колокольне пулемет поставили.

Сижу в погребу день, другой, вдруг слышу над головой русский разговор: «Саша, скажи комбату, пусть ахнет как следует по проклятому элеватору!» Я вышел из погреба, они мне автомат в живот: кто такой? «Я настоятель этого «элеватора», ради бога, не стреляйте, в Рожюнае уже нет немцев, все ушли, мой ризничий только пришел из города, сказал, что никого нет». Позвал ризничего из подпола, а один солдат привел офицера. Я просил его пощадить костел. «Ладно, говорит, папаша, пошли вместе: ты впереди, мы с твоим пономарем следом, так что если соврешь, то в последний раз». Но немцев действительно уже не было. А в костел попало семь снарядов, горели стропила, их никто не гасил — сами погасли; разрывной снаряд попал в правый неф, над исповедальней, но ни один осколок не тронул святых апостолов, все стены побило, а святых не задело. Для меня это чудо божье.

Надеюсь, вы не обидитесь на мои слова. А я вас помню и молюсь за вас.

*Казимир Можейко*

22.1.48.

Многоуважаемый ксендз Можейко!

Ваше письмо было для меня первым приятным событием в новом году. Конечно, я сам должен был вам написать, но все так закурилось после Победы.

Надеюсь, вы не сочтете мое молчание черной неблагодарностью — я тоже часто вспоминаю вас, моего спасителя, когда вы открыли дверь: в черной сутане, застегнутой на длинный ряд черных матерчатых пуговиц, с черным стоячим воротничком, из которого выглядывал белый подворотничок. В правой руке вы держали керосиновую лампу, подняли, и я прочитал приколотую к двери бумажку: «Гость до дому — бог до дому». Сейчас сам удивляюсь, как решился нажать звонок, ведь я о вас ничего не знал, — увидел на стеклянной двери бумажную иконку богородицы и решился, хотя была подлая мыслишка, что выдадите немцам. Каюсь за нее. Сейчас точно не помню, но мне почему-то кажется, когда вы открыли дверь и подняли лампу, я потерял сознание — от голода или усталости, но никак не могу вспомнить, что сказал вам, что вы ответили, по-польски, по-литовски или по-русски, как шел за вами, — все вылетело из головы, только помню, как жадно набросился на колбасу и меня скрутило от рези в животе.

Очень хочется верить людям, но порой слишком дорого приходилось платить за эту веру. Думаю, вы правильно поймете, почему я тогда боялся. А не верить никому — тоже смерть.

Когда прочитал, как вас избрали председателем, смеялся до слез. Я ведь сам крестьянский сын, колхозные дела не понаслышке знаю. Как же вы назвали колхоз — «Во имя отца, сына и святого духа?» Не сердчайте, дорогой Казимир, это я без всякой подковырки. Уверен, что люди правильно за вас голосовали, и я свою партизанскую рекомендацию уже послал в райком партии: написал, как вы прятали меня, а также бежавшего из концлагеря бывшего секретаря уисполкома Гревишкиса, как снабжали нас медикаментами, едой, теплой одеждой, передавали нам сводки Совинформбюро. Только не представляю, как вы сможете сочетать колхозные и пастырские заботы. Колхозное хозяйство — дело хлопотное. Но как бывший председатель желаю вам хорошей погоды и доброго урожая.

Еще раз перечитал ваше письмо, оно очень душевное. Не правда ли, душевная теплота — прирожденное чувство человека, всегда он высоко ее ценит и стремится получить, даже на войне. В последние дни

июня 44-го наш отряд соединился с передовыми частями Красной Армии, больше нам не надо было скрываться в лесу, вместе с пехотой мы пробивались к Вильнюсу и после тяжелейших боев ворвались в город. Фашисты взрывали самые красивые здания, разбомбили целые кварталы. Всю ночь мы уничтожали поджигателей и подрывников. Вот тут меня и подстерег проклятый фриц, возле гостиницы «Жорж», — мне показалось, что меня ударили сзади, но хирург потом сказал, что стреляли спереди, в упор. Три раза я выходил из окружения, ни одна пуля не тронула, а здесь за всю войну сполна получил. Спасибо врачам и сестричкам — поставили на ноги.

Рожюнай я покидал с глубоким волнением и теперь часто вспоминаю об этом маленьком городке.

Пройдет время, зарастут тропинки в пуще, по которым пришлось так много пройти, память ослабнет, и я так же буду забыт, как многие другие. Вы пишете, что многие жалели о моем отъезде, но мне кажется, что моя партизанская работа, а в первую очередь мои идейные взгляды коммуниста рождали много врагов. Война — страшное дело! Тут уж кто кого. Вернись я теперь в Рожюнай, не один хуторянин достал бы припрятанный автомат, дослал бы патрон в патронник — по мою партийную душу. Что ж, и я бы с пустыми руками в брчку не сел, как ваш учитель.

Протопоп Аввакум — вдохновитель старообрядцев, делал так: когда его проклинал собор, он предавал собор анафеме. Так и я поступаю. Да и никогда я не хотел, чтоб все меня любили. Я ненавижу тех, кто не знает, за кого он и против кого, такие люди — как тряпина.

Уважаемый Казимир, мне тоже жаль, что не простился с вами по-человечески, не сказал все, что хотел сказать, но постараюсь исправить ошибку. После госпиталя меня послали на учебу в Высшую партийную школу. Рад, что представилась возможность пожить в Москве, отгородиться от всякой суеты и запереться на замок для ремонта самого себя. Годы учебы не должны пройти даром, думаю, она принесет мне большую пользу.

Желаю вам доброго здоровья и успехов вашему колхозу.

*Петр Курзаков*

6 сентября 1950 г.

Досточтимый Петр Пименович!

Вы спрашиваете, как мы назвали колхоз. Мы назвали его «Мир на земле». Летом зарядил дождь, затопил яровые, колоски стояли такие хилые и редкие, что смотреть было больно, жали серпами, я по неделе сапоги не снимал, иногда даже сил не было снять. А тут еще приехал уполномоченный из волости, обмерил рулеткой самый колосистый клочок, натер зерно в ладонь: да у вас, говорит, урожай потянет на 14 центнеров. Хоть плачь, хоть на колени становись! А собрали хлеб, получилось по 8 центнеров с гектара. Сдали поставки, оставили на семена, а сами голодные. Крепко власть обидела людей! А ведь они и так боятся на колхоз работать, днем косят, а ночью хоронятся от «лесных».

К сожалению, недолго довелось мне быть председателем. Меня вызвали в Тракай и потребовали сдать печать. Во время войны Ямейкиса не смущало, что я — ксендз, лишь бы помогал партизанам. Раньше он доверял мне жизнь, теперь не может доверить печать. Но ведь я не изменился. Значит, изменился Ямейкис: раз не посчитался с волей людей, избравших меня председателем.

Будучи председателем, я не совершал бессовестных поступков, не искал корысти. Люди знают, что меня еще при поляках называли «красным ксендзом», помнят, как в проповеди я говорил: не по-божески и не по-людски, что у графа Тышкевича трое детей и 27 тысяч гектаров земли, а у бедняка Высоцкого 16 детей и 3 гектара. Был вице-ректором Пинской духовной семинарии, служил в деревне Монтовты. Донесли на меня, будто я большевистский агитатор. Пришлось мне и в Пинской тюрьме посидеть.

Я на Ямейкиса не сержусь. Колхоз теперь называется «Красное знамя», а председателем назначили коммуниста Аркадиюса Высоцкого. Извините, что понапрасну затруднил вас тогда написать в Тракай.

С глубоким уважением и благодарностью  
*Казимир Можейко*

4.XII.50.

Дорогой Казимир Викентьевич!

Хотя вы и пишете о смирении, но в ваших письмах

много горечи и обиды. Вы считаете, что Ямейкис поступил несправедливо, мало того — Советская власть обобрала колхозников, да еще наплевала на их право избирать председателя. Слишком заметна ваша обида на коммунистов, чтоб я ее не разглядел.

Я в партии уже 20 лет, поэтому обязан сказать все, что думаю. Да, вы человек прямой, честный, много доброго сделали людям (и уверен, еще сделаете), хотя к коммунистам всегда относились с подозрением, считая, что они делают только то, что им выгодно. Но скажите, кто, кроме коммунистов, мог сломать хребет Гитлеру, спасти мир от фашистской чумы? Американцы, папа римский, господь бог? Ответьте, кто мог отнять землю у таких, как граф Тышкевич, и дать таким, как бедняк Высоцкий? Крепкий узел завязала история, его нельзя было распутать — только разрубить. По живому! За всю историю человечества ни одна власть, кроме Советской, не провозгласила своей первейшей задачей цель самую естественную, а потому и самую святую — накормить всех голодных. К этой цели мы, коммунисты, шли с оружием в руках, выстояв в беспримерной борьбе со всем миром капитала. На одну чашу весов история положила осьмушку хлеба для голодных, на другую — тысячи жизней борцов за народное счастье. Вот такая получилась цена и такая выгода!

Первый раз, когда я пришел к вам, спасаясь от немцев, вы не знали, кто я. А когда я пришел зимой, вы уже кое о чем догадались, спросили, как я попал в Литву. Я честно ответил, что переброшен через линию фронта с особым заданием. Помните? Вы упрекали меня, что на рождество мы взорвали немецкий эшелон, а за это расстреляли заложников, и мне, Пятрасу (тогда вы знали меня под таким именем), наплевать на литовцев, потому что я — русский и Литва для меня чужая. Вы говорили о милосердии и справедливости...

О каком милосердии, о какой справедливости вы говорили тогда! Милосердие было одно: бить фашистов, как бешеных псов! Разве это мы напали на Германию, мы начали расстреливать немцев, угонять их в рабство, разве мы жгли их деревни, стариков и младенцев? Да, чужая мне была Литва. Но мои друзья убитые лежат в пуще, так разве может быть чу-

жой земля, за которую я воевал, в которой схоронил самых дорогих товарищей?

Вот вы считаете, что Христос (хотя бабушка еще надвое сказала, был он или не был) за всех пострадал, искупил своими муками грехи человеческие. Но разве миллионы погибших солдат и партизан не святые? Только в моем отряде 62 бойца погибли, и никто из них не воскреснет! А Степан Грех и Янек Галчинский приняли такие муки в гестапо, которые вашему Христу и не снились.

А что касается Ямейкиса, я написал в Тракай. Райком поступил непринципиально и не имел права отменять ваше избрание, Ямейкис вел себя как перестраховщик. Вам надо было не обижаться, а ехать в Вильнюс, в ЦК партии, драться. Не знаю, как на небесах, а в нашей земной жизни вечная борьба за правду, за счастье, за радость, и надо не стоять в стороне, а, засучив рукава, подобно каменщику, строить жизнь. Она сложна, требуется большой ум, чтобы правильно определить свое место и поведение в великом человеческом обществе.

Вчера был на сессии Верховного Совета СССР. Как прекрасен Кремль! Сколько вложено ума, труда, таланта! Смотрел на депутатов, представлявших все народности нашей державы, и был счастлив. Да, дорогой Казимир Викентьевич, между партизанской землянкой и Кремлем огромный путь. Я часто вспоминаю свою партизанскую жизнь, она связана с великими событиями, которые пережил наш народ. Думал ли мой отец в 1915 году, воюя где-то в Августовских лесах, что и его сыновьям придется взять оружие и сражаться за свой народ? Как я хотел бы, чтоб вчера, когда стоял в Георгиевском зале, хоть на минуту встали рядом со мной отец и мать!

Желаю вам счастья, пусть еще добрую полсотню лет бьется ваше доброе сердце, помогая людям. Пишите, я рад каждому вашему письму.

С приветом

*Петр Курзаков*

*18 мая 1951 г.*

**Уважаемый Петр Пименович!**

Извините за долгое молчание — два месяца лежал с инфарктом. Ездил на хутор причащать больного, да



чуть сам не преставился, так припекло в груди, будто углей насыпали, руку не мог поднять. Меня отвезли в Тургеляй, оттуда на машине в Вильнюс. О многом передумал в больнице, хотелось скорее вернуться в Рожюнай. И прихожане не забывали меня, навещали. Как-то открыл окно, в саду запах смородинового листа, малины. Давно взял себе за правило: что бы ни случилось, час-два копаться в земле. Работа дает радость сердцу; что-то неуловимо меняется в природе: отцветает или расцветает, таинство деревьев, трав, цветов неподвластно человеческому зрению и слуху. Стой неподвижно хоть целый день, а мигнешь — и что-то успело измениться, подросла картофельная ботва, чуть пожелтели астры, яблоко покраснело... А самые радостные минуты — утренняя молитва богородице. Когда я учился в Ватикане, однажды зашел в храм отцов редemptористов и увидел образ богородицы, он был так прекрасен, что я заплакал. Потом, в 1932 году, приняв Рожюнайский приход, я ввел здесь культ богородицы, всем помогающей, потому что в Рожюнае не было своего престольного праздника. Архиепископ Ялбжиковский запретил мне это делать, но я написал папскому нунцию в Польше кардиналу Мармаджо и самому папе Пию XII — они дали разрешение. С тех пор мы отмечаем день богородицы. Кардинал Мармаджо, в чьем добром участии я убеждался не раз, соизволил также разрешить мне венчать супругов различного вероисповедания — католиков и православных. Его эминенция говорил, что архиепископ страдает «слепотой разума». Не мне судить поставленных надо мной, но подобную болезнь я часто наблюдал, она поражает и верующих, и атеистов.

Когда узнал из письма, что ваш отец в первую мировую войну находился в Августовских лесах (видимо, в армии генерала Самсонова), вспомнил свое детство: восьмилетним мальчиком я залез на осину и упал, сильно разбился, год лежал в больнице, перенес тяжелую операцию, но правая нога скрючилась, я стал калекой. Из больницы отец вынес меня на руках, положил на подводку; лошадь запряг чужую — нашу пришлось продать, продали корову, овец, землю заложили в банк, чтобы расплатиться за лечение. А летом мать взяла меня на богомолье в Августов. Двенадцать раз мы туда ходили, жили подаяннем, мо-

лились в костеле, и нога выпрямилась, мать положила костыли перед чудотворной иконой божьей матери, и мы пошли домой.

Когда я окончил приходскую школу, мой учитель Антон Рекетс, очень набожный человек, посоветовал мне поступить в семинарию. Отец дал мне на дорогу 50 копеек, и я поехал в Петроград, там моим профессором стал епископ Рейнис. После окончания четырех курсов семинарии я приехал в Вильнюс и в костеле святого Георгия 30 мая 1920 года был рукоположен в ксендзы. Я и сейчас помню каждое слово епископа. «Прими на себя ярмо господа, ибо господне ярмо мягко и бремя его не тяжело. Сын мой, путь твой отныне к святости не только в устремлении и помыслах, но в каждом дне прожитой жизни — только святость дает пастырю право учить других праведной жизни. Отныне кому ты отпустишь грехи, тому они и будут отпущены, кому не отпустишь, тому не будут прощены».

Вот что значит старость, уважаемый Петр Пименович, так и тянет памятью в далекую юность... Я всей душой стремился служить богу, но не всегда это оказывалось мне по силам. Война многое перевернула, иногда я не понимал, где зло, где добро, а надо было решать, ведь люди привыкли слышать от меня советы.

В первый же день немцы повесили раввина, аптекаря и коммунистку с фабрики Гиляровича. Ко мне пришли хозяин кондитерской Падеревский, портной Геллер и рабочий Егидис с фабрики — они помнили, как в 1939 году, когда был погром, я защищал евреев. И в 1941-м пришли за помощью. А чем я мог помочь, когда через город шли и шли немецкие танки, а на виселице висели раввин, аптекарь и коммунистка? Я сказал, пусть спасаются. Но Падеревский стал доказывать, что немцы культурный народ, ведь у них были Бах и Гете. Егидис ответил ему, что поляки тоже культурный народ, но дочку Геллера изнасиловали, а на этот раз не будет даже погромов, всех просто убьют. Они просили меня сходить в управу и узнать у самих немцев, как быть евреям. Честно сказать, я не хотел идти, но другого выхода не было, пришлось идти в управу — в дом, где раньше жил фабрикант Гилярович. Часовой провел меня в каби-

нет. За столом сидел немецкий полковник в шлеме танкиста, показывал солдатам, куда повесить портрет Гитлера. Тут же были два литовских офицера — полковник и капитан. Полковник очень удивился, что я, образованный человек, защищаю евреев, и посоветовал мне не вмешиваться в дела германского командования. «А что же будет с евреями?» — «Через два дня сами узнают».

Вернувшись домой, я сказал Падеревскому, Геллеру и Егидису, чтобы все евреи бежали из города, но послушались только Егидис, Аронович и еще человек десять, остальные, почти триста, остались. Я видел, как их вели на расстрел — стариков, женщин, кондитера Падеревского, который на прощанье мне сказал: «Нет, вы серьезно думаете, пан ксендз, что немцы соберут всех евреев, выкопают большую яму и начнут нас стрелять?» Так и случилось, только могилу пришлось копать самим несчастным, в десяти километрах от местечка. Людей гнали мимо моего дома, навсегда в моих ушах осталось шарканье сотен ног по булыжнику.

А Егидис сейчас работает в колхозе механиком, заходит ко мне, рассказывает, как дела в колхозе. И председателя Высоцкого часто вижу — он молодой, энергичный человек, в этом году уже выдал колхозникам по килограмму хлеба на трудодень, люди очень довольны. В колхозе сейчас 300 гектаров, из них 120 — пашни, но землю используют не по-хозяйски — 80 гектаров личной земли мешают развернуться тракторам. Это мне Высоцкий объяснил: «Ведь у нас в земле клад зарыт, надо личные участки распахать под рожь, а огороды нарезать так, чтоб колхозную землю не мельчили». Я с ним согласился. Но одно дело слова, а другое, когда бульдозер режет под корень яблони, которые старый Гришкявичюс посадил саженцами, вырастил. Как посмотрел я на поникшую его седую голову, так у самого душа заболела. Подошел Высоцкий: ничего, Йонас, мы тебе за яблони заплатим, саженцы привезем, посадишь. «Посажу, председатель, да только цвета яблоневого не увижу».

А если бы я остался председателем, смог бы яблони Гришкявичюса под корень срубить? Нет, жалко стало бы. Видно, не гожусь в председатели, тут Ямейкис прав, но чем могу, помогаю колхозу и людей при-

зываю стараться, работать на совесть. У меня тоже яблоки есть, приезжайте, угощу.

С почтением

*Казимир Можейко*

#### 4.VIII.51.

Многоуважаемый Казимир!

Поистине произошло великое чудо: ксендз Можейко воскрес из мертвых! Не знаю, кто пустил слух, что Можейки нет в живых, что он похоронен в Тургеляе, вечная ему память. Вот что значит болтовня — и реальная жизнь. Вспоминаю такой случай. В 1921 году моя мать получила письмо от Егора Богданова, где сообщалось: «Ваш сын, мой дорогой товарищ Иван Пименович, был тяжело ранен на фронте гражданской войны и после тяжелой болезни скончался. Перед смертью он просил, чтоб его не жалели». Мария Ульяновна имела пятерых сыновей и двух дочерей. Иван был старшим. Я и теперь не могу забыть, как тяжело мать переживала утрату, она еще не пришла в себя после смерти мужа, Пимена Семеновича, погибшего в 1915 году. Когда исполнился сороковой день после смерти Ивана, мать на последние гроши организовала поминки, пригласила соседей, священника и дьякона. Прошел еще год, и похороненный Иван прислал матери письмо. Иван Пименович и теперь жив-здоров, ему уже 60 лет. Домик, в котором он живет, стоит в Оренбурге, на берегу реки Урал, на меже Европы и Азии. Я недавно был у него и рад его замечательному здоровью.

Наверное, пан ксендз, и вам суждено жить долгие годы. **Уважаемый Казимир**, коли мы живы и здоровы, не порассуждать ли нам о земных делах? Прошу вас откровенно и прямо, не держа камень за пазухой, помочь мне выяснить некоторые вопросы. Я и теперь вижу Шважаса, его хутор. Сначала он согласился помогать партизанам, даже передал нам двух кабанов и три пуда свечей, причем сказал, что свечей хватит на сто землянок, не то что на восемьдесят. Меня заинтересовало, как он узнал, что в нашем партизанском отряде 82 землянки? Конечно, это целая деревня, ее не спрячешь в карман, но мне и сейчас любопытно, откуда взял сведения Шважас. Ведь именно

он, как я потом узнал, готовил мне ловушку, в которую я чуть не угодил. Весной 44-го у него жили владиславцы, а он передал нам, что это польские партизаны ищут с нами связь. Я поверил, ночью пришел к нему с хлопцами и еле ноги унес от этих «партизан». Хорошо еще, что хутор возле самого леса. Вы с покойным Шважасом были в дружеских отношениях, спросите его бывшего батрака (забыл фамилию), за что хозяин готовил мне смертельную западню. И вообще, не сохранилось ли в вашей памяти что-либо против нашего брата-партизана, какими словами называли нас после взрывов на железной дороге? Думаю, ругали, особенно меня.

После освобождения уезда секретарь уисполкома Маевский нашел в архиве объявление немецкого командования, предлагавшего за мою голову довольно крупную сумму. Я тогда по глупости выбросил бумагу, даже не запомнил, сколько гестаповцы обещали за мою голову, а теперь вот интересно узнать. Поверьте, не гордыня во мне говорит — я был лишь одним из многих борцов с гитлеризмом, но горжусь, что внес свой вклад в великую Победу, хоть на минуту, на секунду приблизив ее приход. Партизаны Литвы были силой, с которой оккупантам пришлось считаться: они пустили под откос 577 эшелонов, вывели из строя более 400 паровозов, 3000 вагонов, взорвали 126 мостов, 48 казарм, уничтожили около 15 000 фашистских солдат.

Меня интересует также, как литовское духовенство оценивало фашистскую политику. Как, например, духовенство отнеслось к расстрелу заложников в Вильнюсе: 19 мая 1942 года — 400 человек и позднее 100 человек?

Не покупитесь на слово, высокочтимый Казимир. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия по службе. Если нужно какое-нибудь лекарство, напишите, я сразу пришлю.

*Петр Курзаков*

*10 апреля 1952 г.*

Уважаемый Петр Пименович!

Вы мне задали большую работу — разве теперь все вспомнишь?

Батрак Шважаса Альгис Касперавичюс скрывался

в лесу и был убит во время перестрелки, так что вашу просьбу выполнить не могу. А что касается отношения духовенства к немцам, то это вопрос очень сложный, и тут надо исписать целую тетрадь.

У меня на эту тему был серьезный разговор с епископом Рейнисом и канцлером курии Базисом — после того, как я узнал, что немцы расстреляли ксендзов Яна Рапиньского и Ромуальда Швирковского. Я знал обоих. Отслужив мессу по мученикам, я поехал с ризничим в Панеряй. Пока ждал поезда на Вильнюс, насчитал 60 вагонов с заключенными, в одном сквозь решетку увидел сутану, хотел подойти поближе, но охранник прогнал меня. Может, это был Швирковский или Рапиньский? А может, еще кто.

Петр Пименович, я познакомился с фашизмом раньше, чем вы,— в 1926 году в Риме, как раз в то время, когда было совершено покушение на Муссолини. Я видел дуче неоднократно, он похож был скорее на оперного певца, чем на политического деятеля. В Риме я прочитал только что переведенную на итальянский язык книгу Гитлера «Майн кампф», где он писал: «Все, что не является полноценной расой на этой земле,— плевелы». Я это хорошо запомнил.

В 1933 году я делал доклад о Гитлере в Католическом народном доме, читал отрывки из «Майн кампф», тогда нотариус и доктор посчитали это бредом сумасшедшего. Я тоже так считал. Но епископ Рейнис и канцлер Базис были иного мнения, и не только они,— архиепископ Сквиряцкас произнес в Каунасском кафедральном соборе проповедь, призвав верующих вступать в германскую армию.

Когда святейший престол наградил гебитскомиссара Литвы фон Рентельна орденом святого Лазаря, когда архиепископ Сквиряцкас призывал католиков вступать в германскую армию, когда епископ Рейнис считал, что фюрер выполняет историческую миссию, в Девятом форту истязали ксендзов — к сожалению, не знаю их имен, из каких они приходов. Мне известно от моих друзей, что в католических монастырях Литвы печатали антифашистские листовки, которые монахи распространяли среди верующих. В мае 1942 года немцы закрыли монастыри, арестовали 64

монаха и 189 монахинь, дальнейшая их судьба мне неизвестна. Хочу, чтобы вы сделали правильный вывод из всего, что я здесь написал: сутану шьют из обыкновенного сукна, и свои достоинства она приобретает или теряет в зависимости от того, кто ее носит.

Меня тоже дважды арестовывало гестапо. Однажды, когда я возвращался из костела, увидел во дворе легковую машину и грузовик. В доме было полно немцев, меня сразу схватили. Штурмбанфюрер предъявил ордер на обыск. «По распоряжению гебитскомиссара фон Рентельна мы должны сделать у вас обыск для установления двух фактов: первое — вы укрываете ксендза, бежавшего из тюрьмы; второе — вы храните в доме книги Ленина». Я ответил, что никого не укрываю, но вчера действительно приехал новый ксендз: «Фамилия?» — «Гальченя». — «А, вот он и есть. Где он прячется?» — «Он в костеле, я его сейчас позову». Побежал в костел, говорю викарному — прячьтесь, вас гестапо ищет! Он очень удивился: «Я зарегистрирован, в курии знают». Тут подъехала машина, его схватили. Я стал объяснять, что он должен ехать к больному, но никто не слушал, я успел дать ему только молитвенник. Его увезли в Дахау, но он выжил и приезжал ко мне, он так и не понял, за что его арестовали.

Совсем забыл сказать о книгах, это интересная история. Когда в 1939 году пришла Советская власть, я отдал ключи от Католического народного дома и в нем устроили библиотеку. А при немцах здесь располагался бургомистрат. И бургомистр Тиллих, и начальник гарнизона полковник Больц были баварцы, набожные католики, Больц даже состоял в ордене марианцев (есть такой орден для мирян, без монашеских обетов и строгости). Так вот, я шел к заутрене, и вижу возле костела два грузовика с открытыми бортами, немецкие солдаты и белоповязочники сгребают лопатами книги. Одного литовца, Цюкаса, я знал — он был в костельном совете. «Цюкас, зачем перед костелом книги бросаете?» — «Завтра утром жечь будем». Я поднял две книги — «Ангелли» Ю. Словацкого и красный том Ленина. «Сын мой, хочу взять несколько книг, их ведь все равно сожгут». Цюкас подошел к кабине, спросил у офицера и говорит: бе-

рите сколько хотите, только надо пять килограммов сала и пять литров самогона. Вот холера! Они почему-то всегда хотели сала и водки, и бери что хочешь — книги, колокола, шинели. Дал я им сала, самогонки и всю ночь с органистом Феликрасом и мальчиком-служкой складывал книги в рогожные кули. Спрятали мы их за крестом в ризнице — оторвали доски и сделали тайник, всего спрятали 1400 книг. А четыре тома Ленина и «Ангелли» я взял себе. Попросил у бургомистра Тиллиха разрешение. «Зачем вам читать Ленина?» — «Интересно». Тиллих разрешил и выдал мне справку с печатью.

И вот гестаповский штурмбанфюрер требует, чтоб я указал, где прячу книги Ленина, а они в книжном шкафу стоят, на него смотрят. Я достал книги, показал справку. Штурмбанфюрер очень удивился, тут же позвонил Тиллиху, и тот подтвердил свое разрешение.

Петр Пименович, за вашу голову германцы назначили 10 тысяч марок — я это хорошо помню, объявление висело на ограде костела, и я его читал сто раз, и прихожане читали. Хочу вам заметить, что цена за жизнь — самая непостоянная вещь на свете. За выдачу еврея германцы давали килограмм соли, за вашу голову 10 тысяч марок, за Иисуса Христа Иуда получил 30 сребреников — стоимость раба, а часто цена жизни равнялась цене пули и даже дешевле, в концлагерях людей просто морили голодом. Все, кто назначает цену за человека — солью, серебром, марками, пребывают в глубочайшем заблуждении, ибо человеческая жизнь бесценна, но от непонимания этой простой и очевидной истины происходят самые страшные преступления. Вы, вольно или невольно, тоже приняли участие в этом торге. Вы пишете мне, что партизаны убили 15 тысяч гитлеровцев. Но сколько за этих солдат было убито мирных жителей? Почти 700 000! Помните, как 3 июня 1944 года партизаны подорвали у деревни Пирчюпис германский грузовик? А немцы согнали жителей в сарай и всех сожгли заживо. Чем были виноваты эти несчастные? Неужели за жизнь одного врага надо платить десятками жизней мирных жителей?

Война разделила мир на жертв и палачей, а что оставалось делать пастырю? Отпускать грехи. Испо-



ведь умирает в душе священника, нет такого оправдания, которое позволило бы нарушить тайну исповеди, хотя я знал подобные случаи. Но такой ксендз — негодяй. А во мне и сейчас живут голоса, которые я слышал в исповедальне, и умолкнут только вместе со мной.

Я предупреждал, что придется исписать целую тетрадь, пишу уже на обложке и заканчиваю. Счастлив, что могу наконец вернуться к своей докторской диссертации «Психология перехода из православия в католичество», которую я так неудачно защищал 26 ноября 1927 года в Ватикане, — кардинал Дарбиньи запретил ее. «Ваша диссертация направлена против иезуитов и поляков». — «Я писал правду». — «Не всякой правде можно верить», — ответил мне кардинал. Но сейчас, может быть, смогу ее напечатать. Копаюсь в огорожке, строгаю деревянные, читаю Блаженного Августина и Мармийона. Собираюсь в Друскининкай, там замечательные минеральные источники, думаю набраться сил, ведь уже шесть лет не имею каникул. Если у вас будет возможность, приезжайте, самое лучшее время для отдыха июнь — август. О ночлеге и столе не беспокойтесь, я напишу вам рекомендацию к настоятелю, он живет рядом с костелом, в двухэтажном уютном домике, вам всякий покажет. Можно остановиться у него.

Поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и душевного спокойствия. Помню вас и молюсь о вашей душе.

*Казимир Можейко*

23.11.54.

Дорогой Казимир!

Вчера мы с Анной Демьяновной проводили сына на целину с первым эшеломом московских комсомольцев. Я узнал о его отъезде буквально за два дня — держал в секрете от отца, стервец, и пришлось бегать по магазинам покупать валенки, резиновые сапоги, термос и т. д. Отдал ему свой партизанский полушубок. Моему Юрке 18 лет, работал столяром на фабрике, а теперь хочет быть трактористом. Мать плакала, отговаривала его, но он крепко стоял на своем. Мне тоже боязно отпускать его в голую степь, где

сейчас бураны и холода, у нас и то двадцатиградусный мороз. А с другой стороны, надо же парню узнать настоящую жизнь. Я в его годы был председателем сельского комитета крестьянских обществ взаимопомощи на моей родной Владимирщине. Приехал в деревню на похороны матери, а меня секретарь ячейки за рукав на собрание тащит. Стою перед людьми и ничего сквозь слезы не вижу, схватил шапку со стола и убежал — страшно стало. Но, как говорится, глаза страшатся, а руки делают. Тогда удалось мне достать две молотилки, много цепов заменили эти несложные машины. Потом в числе двадцатитысячников меня послали председателем колхоза «Баяут» в Голодную степь. И тут мне несказанно повезло — представляете, выиграл в лотерею десятицильный трактор «Интернационал», с ним и прибыл в колхоз, как невеста с приданым. Слабенький тракторок, хорошо, если за день вспашет три гектара, а мужик на справной лошадке пахал десятину, чуть больше гектара. Но ведь и стоил тот «Интернационал» по тогдашним ценам всего 765 рубликов — два моих месячных жалованья, а добрый жеребец стоил дороже — 900 рублей!

Так что мне знаком труд пахаря и косаря старых времен, знаком и трактор с комбайном — их привела в деревню Советская власть, тем и хороша она народу. А теперь пошлют на целину десятки тысяч тракторов, поднимут степь, проложат дороги, построят поселки, сады будут цвести. Но мать все равно мать, жалеет сына, она так не плакала, когда меня к немцам в тыл забрасывали. А я за сына рад: пусть едет, пусть строит жизнь своими руками. В добрый час! Вот такие пироги, дорогой Казимир.

С уважением

*Петр Курзаков*

*7 мая 1960 г.*

Досточтимый Петр Пименович!

Посылаю вам заказной почтой некоторые документы, я нашел их в своем архиве: приказы немецкого командования, несколько номеров газет, выходивших в Литве в годы оккупации, ваши партизанские листовки. Сейчас привожу в порядок свои бумаги, в ряд

ли они кому будут интересны после моей смерти, наши же ксендзы сожгут их, хотя там есть много интересного. Но что делать? Молодых ксендзов интересуют больше светские дела, правда, они берут у меня книги Фомы Аквинского и Блаженного Августина, я никому не отказываю, пусть читают, только бы было в помощь душе. Книги, которые я когда-то прятал в ризнице, теперь вернулись в библиотеку, еще и часть своих добавил: Мицкевич, Реймонт, Словацкий, Прус, Ожешко.

Закончил ремонт костела: в пристройке, где находилась гробница графа Владислава Тышкевича, теперь канцелярия, перестроили заново литургическую, исповедальню, ризницу для светских — это взяло очень много сил и средств, зато теперь моя душа спокойна. Скоро исполняется сорок лет моей службы — срок немалый, пора подумать об отдыхе. Возможно, куплю домик в Друскининкае, но пока точно не знаю. Пишите, что нового в вашей жизни.

Всегда помнящий вас

*Казимир Можейко*

*1.XI.61.*

Дорогой Казимир!

Получил заказное письмо от вас и письмо от Ямейкиса — едут партизаны в Москву! Два дня у меня гостили Ямейкис, Маевский, Пашкевич, Раупис. Водил их по Москве, были в недавно открывшейся квартире Ленина в Кремле. Кто-то стал восхищаться, как скромно жил Владимир Ильич, обстановка скромная, даже одеяло на кровати потертое, посекалось. А с нами стояла молодая женщина со значком депутата Верховного Совета СССР — учительница из Весеьгонска. Спрашивает того, кто больше всех умилялся: «А кто же вам мешает жить так же скромно?» Действительно! Каждый день трещим, что Ленин писал о том и об этом, а вот как он жил, забываем.

Были в Оружейной палате, смотрели футбольный матч в Лужниках, попали в Большой театр на «Лебединое озеро». Конечно, и за столом посидели. Представляете, уже тринадцать лет живу в Москве и первый раз был в Большом театре! Но ведь некогда — работа в Госконтроле отнимает у меня все выходные дни, даже некогда с женой поговорить. Она тоже си-

дит в своей библиотеке допоздна, каждый день у них то встреча с писателем, то читательская конференция. Но в эти дни и с Анной Демьяновной наговорился, и с дорогими гостями. Конечно, помянули всех наших боевых товарищей, оставшихся навечно в пуще, и тех, кто ныне здравствует. И вас вспомнили, хотя Ямейкис не хочет признать, что поступил с вами неправильно. Вот упрямый черт!

Да, дорогой Казимир, в войну кого только не укрывала пуща. Всякое бывало, а вот почему сводку Совинформбюро, что Красная Армия окружила в районе Сталинграда фашистские дивизии, вы тогда написали мне на латыни, до сих пор не пойму. Я от радости не догадался при вас прочитать, вернулся в отряд, развернул сводку — и ничего не пойму. Поверьте, я всегда ценил ваше отношение к нам, поэтому приходил только сам, не доверяя даже связным, чтобы ненароком не подвести вас под монастырь. Поэтому мы и виделись так редко.

Я знаю, если б мы не громили фашистов, число жертв было бы неизмеримо больше, мир стал бы кладбищем, и всех священников не хватило бы, чтобы отпеть эти жертвы. 80 тысяч узников фашисты замучили в Девятом форте каунасской крепости. На окраине Алитуса был лагерь для военнопленных, через него прошли 100 000 человек, там в братских могилах зарыты десятки тысяч советских солдат, никто не рыдал над их могилой, без гробов погребены их тела, мечты и желания. Теперь зеленая трава укрыла погибших. Они не хотели умирать, многие из них могли быть теперь среди нас, живых, и их поступь оставила бы след на доброй земле. Война безумна, но ведь были же люди, которые именем бога благословляли гитлеровцев на такие зверства. Вот она, горькая правда. Митрополит литовский и экзарх латвийский и эстонский Сергей в своей проповеди, произнесенной в марте 1943 года в Рижском кафедральном соборе, между прочим, заявил: «Борьба Германии против СССР вступила в решающую стадию. Нет большего зла, чем Советская власть. Итак, будем молить всевышнего, чтоб он помог победить Совету повсеместно, особенно в сердцах людей».

Конечно, все это вам лучше известно: и проповедь митрополита Сергея, и воззвание к русским старооб-

рядцам, а если неизвестно, я напомним. «Мы, старообрядческие наставники, во всем единодушны с нашим верховным органом — Центральным старообрядческим советом и обращаемся ко всем старообрядцам и призываем их по приказу немецкой администрации вступить в ряды германской армии. Каждый из нас должен понять, что немецкая армия освободила нас из-под ярма. Каждый вступающий в ряды армии будет считаться почетным человеком, который наряду с этим выполняет также и свой христианский долг. По договоренности с органами немецкой военной и гражданской власти, русские, по первому зову вступите в ряды армии. Да поможет вам господь бог с честью выполнить этот долг. С нами бог!»

Это не секретные директивы — эти решения и повелевания были опубликованы в газете «Кинику патерияс» 19 марта 1943 года. Конечно, составляли их не рядовые служители церкви, а руководство, на совести которого много грехов.

Возможно, вам не по душе мои слова. Но ведь ваш порыв к жертвам в Тракае не был фальшивым, думаю, вы хотели исполнить свой долг священника и облегчить страдания погибающих. Это благородный поступок. Подобные расстрелы крестьян за невыполнение поставок продуктов проводились и в других местах Литвы, гитлеровцы старались запугать народ. Я знаю, что вы не побоялись даже с амвона осудить за это германские власти. Но ведь в Тракае служил ксендз Неверов, он жил по соседству с начальником уезда Шилаускасом, почему же он не исполнил свой долг? Видимо, он был одним из тех, кто действовал заодно с фашистами, как и архиепископ Сквиряцкас, и митрополит Сергей, и старообрядческие наставники, да и сам папа Пий XII, который у вас считается непогрешимым. Вот ведь как бывает: в христианском мире тоже нет единства. А вы выбрали самую верную дорогу — вместе с народом, с теми, кто боролся за его жизнь и свободу, поэтому вы и сейчас пользуетесь большим авторитетом не только у верующих.

Да, дорогой Казимир, годы бегут, не успеешь оглянуться — полвека стукнуло. Но на здоровье пока не жалуюсь. С удовольствием махнул бы в Друски-

нинкай. В войну там действовал отряд «Партизан Дайнавы», так что есть где остановиться. Большое спасибо за добрые пожелания. Что же касается молитв за мое здоровье, то это бесполезно — такого непутевого человека, как я, никакой бог не простит. Быть мне по ту сторону планетной жизни, в самом горячем пекле. Это не страшно, надо только любить солнце и не бояться его могучих лучей. «Ад так ад», — скажу, проходя мимо рая. Чему быть, того не миновать.

Пусть будет мир, жизнь, свобода, труд, радость.  
С уважением

*Петр Курзаков*

*20 марта 1962 г.*

Досточтимый Петр Пименович!

Всевышний творец, создавая мир, повсюду проявил свою доброту и красоту. Там, где он улыбался, он создал такие места, как Друскининкай. Здесь много памятных мне мест.

Отдыхающих гораздо больше, чем до войны, строят новые санатории, новый корпус грязелечебницы. Раньше отдыхали лишь богатые люди, а теперь встречаешь колхозников, рабочих. Друскининкай стал городом. Говорят, скоро откроют музей Чюрлёниса, нашего замечательного художника и композитора. Дай-то бог! Каждый день после утренней службы я уходил на берег Нямунаса или Ратнича, был в деревне Лишкява — здесь когда-то стоял доминиканский монастырь, потом в нем устроили тюрьму для ксендзов-вероотступников с карцером для особо провинившихся. Боюсь, как бы и мне не пришлось сюда угодить — не за отступления от догматов святой церкви, в которых я никогда не сомневался, а за свою пастьерскую деятельность, вызывающую косые взгляды моих коллег. Мне до сих пор не могут простить, что я согласился стать председателем колхоза. Вот и боюсь, как бы не пришлось умирать без покаяния.

Часто вспоминаю, как жизнь свела меня с вами, хотя мы совершенно разные люди. Первый раз вы пришли ко мне тайком, а потом приезжали в санях или в телеге, под видом крестьянина. Помню, как вы

играли на баяне. Однажды после вашего отъезда кто-то донес немцам, и меня повезли в Тракай, к полковнику Больцу. Я сказал, что был человек из леса, по виду власовец, просил лекарства, я дал ему валерьянку и аспирин. У меня действительно несколько раз были власовцы, я купил у них шинели и передал вам. А когда немцев разбили под Сталинградом, за Рожюнаем стали строить блиндажи, укрепления. Я там купался на озере. Как-то возвращаюсь после купания, вижу — у калитки стоит машина, два гестаповца схватили меня за локти: «Вы арестованы!» Опять повезли к Больцу, на Клеву-аллее, опять кто-то донес, что я интересуюсь немецкой обороной и передаю сведения партизанам, но это было вранье, я ходил на озеро купаться. Это подтвердил и поляк Дембинский, служивший у немцев. Мне дали «опаску» — красную нарукавную повязку со свастикой, чтоб я мог проходить мимо часовых, и больше меня не трогали.

Сегодня у меня день рождения, пани Янина готовит праздничный ужин, конечно, будет скиландас — не забыли нашу домашнюю колбасу? Придут в гости викарий, органист, костельный хор, знакомые. С утра помолился святому Казимиру, что позволил дожить до этого дня, ведь мне уже 64 года. Стараюсь по мере сил исполнять свой пастырский долг, хотя и тяжело. Одно утешает: никогда моя совесть не входила в противоречие с моими религиозными убеждениями, даже в годы войны. Быть человеком — исключительно трудно. Человеческое бытие безгранично, но нести в себе человеческое — значит уважать границы, ведь каждый из нас существует между двумя полюсами: человеческим бытием и человеческим началом, которое требует противостоять искушениям, не падать духом, не добиваться немедленного удовлетворения своих желаний. Меня иногда спрашивают: ксендз дает обет безбрачия, как же это вытерпеть, особенно в молодом возрасте? Сначала действительно трудно, и много надо молиться, а с годами привыкаешь. Безбрачие не причиняло мне мучений, служба всегда требовала много времени. Я всегда старался вести здоровый образ жизни, никогда не курил, очень редко пил, каждое утро обливаю холодной водой до красноты, работаю в огороде. И никогда не

жалел о своем выборе, давшем возможность служить добру.

Мы всегда оказываемся на перекрестке и вынуждены делать выбор, часто не зная почему и как. И все-таки человек есть нечто большее, чем ему кажется, хотя его разум ограничен и воля может направляться ко злу. Надо различать в человеке слабость и злую волю. Слабость бог простит.

Еще Гёте писал, что на этом свете человек редко понимает другого. Всю жизнь я учился понимать человека — и самого себя, и других, и человека вообще. Трудно это, но есть ли что-нибудь важнее?

В Друскининкае возле костела я стал невольным свидетелем поучительного разговора двух отдыхающих. Один, удивляясь, что люди идут к мессе, сказал своему товарищу: «Надо эту церковь взорвать, чтоб попы не сбивали людей с толку!» Второй ответил: «Взорвать проще простого. Ты забыл, когда под Юхновом нас немец в землю вгонял, как ты молился «господи, помилуй!». А жив остался, теперь можно и взрывать?» Они, видно, воевали вместе, но одного война ожесточила, озлобила, а второго научила уважению к людям, мудрости. Я никогда не считал, что страдание делает человека лучше. Страдание — жестокое, страшное очищение, и выдерживает его не каждый, а вот счастье делает людей лучше. Посмотрите на влюбленных — как радуются они, как всем желают счастья! Посмотрите на мать с младенцем — как ласково она улыбается миру!

Другое дело, что человек иногда считает страданием ничтожные неприятности. Один прихожанин рассказал мне недавно, как к председателю райисполкома пришел инженер с фабрики, умолял продать ему автомобиль вне очереди. Ему объяснили, что этот вопрос решают сами рабочие. Инженер буквально рыдал. Конечно, в эти минуты он страдал, но он выдумал эти страдания, недостаток очерствил его сердце, лишил разума. А вот крестьянина Новицкаса — из тех одиннадцати, что первыми вступили в колхоз, — недостаток изменил к лучшему. Я помню, как сам написал ему заявление в колхоз, а он внизу поставил кривой крестик. Теперь он читает книги, вступил в партию. Вы бы послушали его объяснения, как будут окультуривать луга, мелиорировать поля. И это быв-



ший батрак, который меня спрашивал: «Пан ксендз, а правда, что не только земля будет общая, но и обеденный котел?»

Новицкас и в костел украдкой ходит. Но почему ему, старому человеку, надо прятаться? Он всей душой и за бога, и за Советскую власть? Когда у нас был разговор с Ямейкисом, что ксендз не может быть председателем, я тогда не читал статью Ленина «Об отношении рабочей партии к религии», а ведь там прямо сказано: «Если священник идет к нам для совместной политической работы и выполняет добросовестно партийную работу, не выступая против программы партии, то мы можем принять его в ряды с.-д., ибо противоречие духа и основ нашей программы с религиозными убеждениями священника могло бы остаться при таких условиях только его касающимся, личным его противоречием».

Но что теперь говорить об этом? Теперь возле костела не бросают мертвых, теперь смело можно быть и колхозником, и коммунистом, не опасаясь за жизнь. Беспокоит другое. Когда меня выбрали председателем, я ведь остался и настоятелем костела, приходит колхозник на исповедь: пан ксендз, я украл жменю ржи, вожжи или ведро картошки. Теперь он ворует больше, приходит: пан ксендз, я два мешка отрубей взял. Ладно, говорю, отпускаю твои грехи, но впредь не воруй, ведь колхоз ваше общее богатство, зачем же у самого себя крадешь? Проходит время, опять он ко мне идет: пан ксендз, я себе завез машину теса. Понимаете, когда совсем плохо жили, к соседу за три километра шли огня просить, чтоб спички не тратить, крали жменями; стали лучше жить — мешками, теперь — грузовиками. Вот что меня очень тревожит.

Извините, что отнял у вас много времени своим письмом, но этими мыслями мне больше не с кем поделиться. Будьте здоровы и счастливы, я молюсь за вас, хотя вы и не верите в мои молитвы.

*Казимир Можейко*

3.VIII.63.

Дорогой Казимир!

Тяжело спорить с вами — вы не только доктор богословия, вы и меня заставили снова прочитать

статью Ленина «Об отношении рабочей партии к религии» (она написана в 1909 году, и надо учитывать особенность момента). И я задумался, как коммунистам строить отношения с верующими. Недавно беседовал с одним товарищем, спрашиваю: «Как ты думаешь, почему до сих пор так много верующих? Может, люди чувствуют себя одинокими, ведь сейчас многие живут в отдельных квартирах, сами по себе». А он отвечает: «В нашем обществе человек не может быть одиноким, потому что рядом с ним партийная, профсоюзная, комсомольская организации». Я смотрю на него, знаю, что жена его ушла к другому, с сыном нелады, в гости к нему никто не ходит, и думаю: «А ты, слепой человек, разве ты не одинокий?»

Вы затронули вопрос очень большой и сложный, не знаю, какой он больше — социальный, экономический, психологический. Вам может показаться нелепым, но я убежден, что война сделала нас, советских людей, добрее друг к другу, она повысила ценность человеческой жизни — не своей, а близких, товарищей. Чем сильнее была во мне ненависть к врагу, тем больше нежности я испытывал к беженцам, детям, людям, пережившим ужас оккупации. Спросите тех, кто воевал, и многие вам скажут, что никогда они не ощущали такого чувства своей необходимости Отчизне, как на войне.

Война застала меня в Шяуляе — я работал в горкоме партии. Эвакуировался вместе с архивом, под Витебском попал в бомбежку, с трудом добрался до Москвы. Меня послали работать в Углич, а в 42-м вызвали в Москву — для подготовки к выполнению особого задания. И знаете, чего я больше всего испугался? В детстве, еще мальчишкой, тонул и с тех пор панически боюсь воды. Но я понимал, если узнают о моем страхе, сразу отчислят из группы. И стал учиться плавать. Как? Нас готовили под Москвой, на берегу Клязьмы. На рассвете уходил на реку, прыгал с берега и шел на дно. Выныривал с выпученными глазами, снова шел на дно, отталкивался изо всех сил, делал еще шаг-два к заветному берегу. Поверьте, я испытывал тогда ужас, захлебывался, тонул, но, отдышавшись, снова прыгал в Клязьму. Сотни раз! Две недели истязал себя, пока не стал плавать.

И вот что интересно, нас двое училось плавать — я и старшина-повар. Но он так и не научился, ведь для него плавание не было жизненной необходимостью, не зависела от этого его судьба, а моя зависела.

Война раскрыла человека всего, до донышка, показала на что он способен. А способности эти оказывались порой такими, что мы и сами не подозревали о них: рядовой становился комбатом, учитель — командиром партизанского отряда, но путь этот очень нелегкий, непрост. Строже ответственность, труднее обязанности, ты должен знать и уметь больше, ведь ты командир. Что такое неумелый руководитель в нынешнем производстве? Это срыв плана, выпуск брака, перерасход средств. А в боевой обстановке неумение руководить — проигранный бой, гибель товарищей. За ошибочное решение начальник цеха или директор завода получит «разгон», выговор, ну в крайнем случае уволят с работы, а на войне тебя могут расстрелять, но не всякую вину можно искупить даже ценой жизни.

В июле 42-го мою группу (я один был русский, остальные восемь — литовцы и поляки) сбросили с самолета в районе деревни Пирчюпис, на огороды, в 4 утра. Немцы нас заметили, но мы не приняли бой, ушли. И так случилось, что в лесу растеряли друг друга, встретились нескоро, уже в пуще. Вскоре после моей выброски к Анне Демьяновне пришел товарищ из ЦК, сказал: «Будьте готовы к самому худшему, немцы их обнаружили». А у нее маленький сын, ей оставалось только надеяться — для этого нужна огромная воля, выдержка, мужество, абсолютная вера в дорогого тебе человека. Я по себе знаю, как трудно ничего не делать, когда тебе угрожает опасность. В деревню Зенкишки, где у меня был надежный связной, нагрянули немцы. Связной втолкнул меня в чулан, на дверь прибил вешалку с одеждой. Немцы искали меня, а я сижу в темноте, две гранаты под рукой, пистолет с полной обоймой: ну, думаю, гады, живым не дамся и вам дам прикурить! А другая мысль еще сильнее: ладно, сам-то погибну, но ведь связного расстреляют, а у него жена, восемь детей.

Цена человека на войне другая, и ответственность,

и спрос. Я не только о солдатах говорю, но и о тех, кто, не щадя сил, трудился в тылу. Общая опасность до предела обострила в людях все лучшее, заставила вспомнить, что они — народ, и забыть все остальное: сытость, зависть, личную выгоду. Иногда вот удивляются,— как это древние египтяне построили огромные пирамиды? А вы представьте степь за Уралом, стоят эшелоны с демонтированным оборудованием тракторного завода, а через два месяца этот завод, разобранный по винтику, перевезенный за тысячу километров, должен дать танки — вот здесь, на промерзшей земле. Это ни в какое сравнение не идет с постройкой пирамид.

А 600 дней и ночей в лесу, в тылу врага! Жили в сырых землянках, болели, особенно мучили фурункулы, доходило до того, что сапоги не могли надеть — все ноги в нарывах, ходили в лаптях. Лечили больных дегтем и смолой, а мазь от чесотки делали из тола. Ваша помощь была огромной — бинты, йод, рыбий жир, я уж не говорю о бутылке эфира, ведь раненых оперировали ножом и пилой, человек десять навалятся на несчастного, режут без наркоза, перевязывали бинтами из белья покойников, руки дезинфицировали кипятком. И вот против этих голодных, но страшных в беспощадной ненависти людей фашисты бросали танки, самолеты, дрессировали овчарок, специально натаскивали карателей. Я трижды выходил из окружения. Помню, однажды всю ночь пролежал под елкой, обвинившись вокруг ствола, и больше всего боялся застучать зубами от холода — немцы были в трех шагах. В другой раз делал доклад, стоял на пеньке, только отошел с начальником разведки, а в пенек мина угодила, убила пятерых сразу, среди них Йонаса, с которым нас забрасывали.

Зато когда пришли наши, сколько было радости! Я ехал в Тракай на бричке, люди в деревнях прямо на земле стелили скатерти, несли хлеб, сало, самогон, плакали, обнимали нас: так вот вы откуда приходили такие мокрые, грязные, усталые, на ногах галоши лыком подвязаны, оказывается, по тридцать верст пущей шли. Конечно, и другие литовцы были, те не радовались, прятали глаза. Мне как-то один такой написал в Москву: товарищ Курзаков, дайте справ-

ку, что я партизанам помогал, дал подводу, сало. Как же, давал он! Пришли к нему, нас от голода ветром шатало, так пока я автомат на стол не положил, он и картошку из подвала не хотел достать.

А вот вас, дорогой Казимир, всегда вспоминаю как товарища в борьбе за народное дело. Вы видели, как люди плакали кровавыми слезами, и старались им помочь. Вы спасли библиотеку, замечательно, что спасенные вами книги теперь читают люди.

Моя жизнь сложилась так, что в пожилом возрасте пришлось наверстывать упущенное в молодости — первый раз читаю Тургенева, Достоевского, Лескова. Это заслуга Анны Демьяновны, так песочит меня, что краснею, как школьник. А тут она готовила в библиотеке пушкинский вечер, разослала приглашения старым читателям и вдруг приходит мрачнее тучи — какой-то чинуша из управления культуры велел перенести вечер с 10 мая на июнь, говорит, несерьезно у вас получается: День Победы — и стишки. Анна Демьяновна расстроилась, села писать не приглашения, а извинения. Ну, тут уж я не выдержал, порвал открытки, велел ей звонить этому умнику и открытым текстом сказать: «Товарищ, не валяйте дурака! Пушкин и Победа — это же как брат и сестра от одной матери — России!» Она позвонила, а он с ней как с девочкой беседует, в трубочку похохатывает. И вспомнил я, как она зимой сорок второго подвал для библиотеки получила, как мы с ней и еще две женщины везли книги на санках — как раз мимо памятника Пушкину. Вспомнил, как кто-то из моих хлопцев раздобыл «Евгения Онегина» еще с «ятями», мы разорвали книгу на части — нехорошо, конечно, но как иначе, ведь читали вслух в каждой землянке. И даже когда не было бумаги на закрутку, терпели до последнего, а курить хотелось нестерпимо. Толя Соснин, наш лучший подрывник, целые страницы заучивал наизусть, прежде чем свернуть самокрутку. Вспомнил, как в госпитале молоденький солдат писал невесте: «Я вам пишу, чего же боле? Война окончена — конец!» (он думал, что «Я вам пишу» писал Онегин). И вот все сразу так отчетливо припомнилось, словно вчера было, и такая злость во мне вскипела против этого чинуши...

Ну, попили мы с женой сердечных капель, а с утра я напрямик к первому секретарю райкома партии, ставлю вопрос ребром — гнать того работника и на пушечный выстрел не подпускать к культуре. А то мы слишком часто утешаемся: мол, что возьмешь с такого? Дело в том, что нельзя отдавать наши позиции, убеждения, все, что выстрадано, завоевано, заработано.

В обществе происходят сложные процессы, всего пережитками капитализма не объяснишь. Есть еще волюнтаризм, чванство, карьеризм, да и открытое воровство. Вы писали о колхозниках, что воруют колхозное добро, а потом исповедуются вам. Ко мне грешники на исповедь не торопятся, вяжут хитрые следы, петляют, пока их не обложишь фактами, документами, актами экспертизы. Такой знает, что бога нет, что на том свете не будут его на сковородке жарить, и смотрит на тебя ясными глазами. Но уж и я таким грехи не прощаю!

Как-то я с одним писателем схлестнулся. Стал он мне рассказывать, как советский рабочий утер нос американскому журналисту — достал рубль и стал считать, что он на рубль купить может: доехать на работу, пообедать в заводской столовой, купить газету, пачку папирос, да еще пивка выпить. А американцу, мол, и крыть нечем. Вот уж действительно глухарь. Токует, а не понимает, что если мы начнем считать, кто сколько купить может, можем и просчитаться. Что мы стараемся показать капитализму? Что мы такие же штаны носим, такие же танцы пляшем, смотрим телевизор и пиво держим в холодильнике? Короче, что мы такие же, как они! Да в том и дело, что мы не такие, как они. Мы революцию сделали, мы Советскую власть поставили, мы такую страшную войну сдюжили! Не у всякого народа и общественного строя хватило бы сил после таких потрясений взяться не только за восстановление разрушенного, но и за восстановление человеческих судеб, счастья людей. И главное теперь — не больше чугуна и стали на душу населения, а больше счастья, справедливости и правды на каждую душу, тогда и душа станет другой. Да, мы другие, таких, как мы, исто-

рия еще не знала, ведь мы строим общество, где для каждого человека требования совести (не абстрактной, а политической совести, которая немыслима без коммунистического мировоззрения, без ясного понимания исторической правды) стали бы рефлексом, инстинктом,— вот в чем главный вопрос.

Эх, дорогой Казимир, хочется жить долго и радостно, уж очень хороша земная жизнь! В нашей семье прибавилась маленькая Настенька, ей уже восемь месяцев. Бабушка Анна Демьяновна души не чает в своей внучке, я тоже. В отряде меня называли Дедом, а мне было тогда 32 года, зато теперь я законный дед.

Шлю вам сердечный привет и пожелание сотрудничать не только с единомышленниками, но со всеми людьми, достойными вашего уважения.

*Петр Курзаков*

*7 апреля 1965 г.*

Досточтимый Петр Пименович!

Сперва хотел даже послать вам телеграмму, но решил, что не надо вас беспокоить, хотя все-таки расскажу, что у нас тут случилось. В прошлое воскресенье мне позвонили домой, сказали, что приедут с санэпидстанции брать пробу воды из купели. Проверка всегда не очень приятна, но что поделаешь! Побежал в костел, велел пани Янине купить в аптеке дистиллированной воды двойной очистки. Проверяющие набрали воду в пробирки и уехали. А вчера в газете написали, что в Рожюнайском костеле младенцев крестят водой, в которой полно каких-то палочек и прочих микробов. Прихожане, конечно, видели, что в купели была дистиллированная вода, они не верят газетной брехне, но мне, старому человеку, стыдно, что так нелепо и нагло обманывают людей. Отвергая помощь церкви в воспитании человека, власти поступают поспешно, потому что человек всегда будет нуждаться в вере, без этого он не может жить. Но вы этого не хотите понять.

*Казимир Можейко*

*16.IV.65.*

Уважаемый Казимир Викентьевич!

Я послал телеграмму в редакцию. Но почему вы

сами не обратились в газету, почему приняли позу обиженного, который только сокрушается, но не хочет и пальцем шевельнуть? Это во-первых. А во-вторых, если я правильно понял, вы предлагаете нам заключить нечто вроде сепаратного перемирия в борьбе за человеческую душу — мол, и мы, и вы делаем одно доброе дело, так стоит ли ссориться? Нет, уважаемый Казимир Викентьевич, истину из лоскутов не шьют: тут из Маркса, там из Евангелия, тут из Ленина, там из Фомы Аквинского. Ваша христианская вера, а значит, и мораль основана на страхе перед богом: согрешу — попаду в ад, не согрешу — попаду в рай. Грубо говоря, ты — мне, я — тебе. Ваша мораль держится на страхе наказания, на внешнем факторе, на выгоде. Мы же стремимся, чтоб все поступки человека основывались на сознании, совести, то есть на факторе внутреннем и потому вечном. Конечно, вы можете возразить: какая разница, кто учит человека не красть, не лгать? Нет! У вас было достаточно времени, и вы оказались плохими учителями. Вы наставляете людей две тысячи лет, а мы всего неполных пятьдесят. Так уж не валите все на нас, грешных.

*Петр Курзаков*

*21 декабря 1968 г.*

Досточтимый Петр Пименович!

Извините за беспокойство, но беда с лекарствами вынуждает снова обратиться к вам за помощью. Если можно, помогите получить перцовый пластырь, экстракт наперстянки. У нас беда: врач выписывает рецепт, а в аптеке отказывают. Сижу за письменным столом с поднятыми на стул опухшими ногами, болью в пояснице и перебоями в сердце — одним словом, с больным старым организмом. Профессор, выписывая меня из больницы, сказал: от старости лекарства нет. Конечно, это так. Не видел, как родился, не заметил, как состарился. Я сложил с себя обязанности настоятеля, служу теперь три-четыре раза в году.

Поздравляю вас с Рождеством Христовым. На пороге нового года не станем злоупотреблять звучными, но ничего не значащими словами «процветание», «благоденствие», но с осторожностью и бережностью употребим хрупкое слово «счастье»; что же до благопо-



лучия, здоровья, житейских удач и посильных свершений в делах наших, то будем надеяться и уповать.

Всегда помнящий и молящийся за вас

*Казимир Можейко*

16.VIII.71.

Дорогой Казимир!

Посылаю еще лекарства, которые вы просили, а деньги возвращаю — когда вы меня прятали в своем доме, кормили, вы мне, насколько помнится, счет не предъявляли. Не ожидал от вас, пан ксендз!

Я помню, как резвая крестьянская лошадка промчала меня по серебристому снегу из деревни Безенкишки к вам на улицу Жибучю, как вы играли на фисгармонии, а я на баяне. И другую новогоднюю ночь помню — в тесной партизанской землянке: тусклый свет коптилки, гудит раскаленная печь, нары из струганных сосновых жердей. Саша Золотов наряжал маленькую елочку гильзами. Вы его должны помнить, ведь вы для него доставали какие-то капли, когда он оглох от контузии. Сразу после войны он приезжал ко мне в Москву, говорил, что работает уполномоченным по заготовкам. Я его отговаривал — он глухой, а в районе было полно «лесных». Он только смеялся. А потом мне рассказали... В сентябре 48-го Саша с Щепинским (из райисполкома) пришел в клуб. Вдруг бандиты. Один выстрелил Саше в голову, а Щепинского успели спрятать в подпол, его не нашли.

В следующем году обязательно хочу приехать в Литву, будем праздновать 30-летие со дня образования первого отряда Тракайской партизанской бригады «За Родину», хорошо бы повидать и вас, и других знакомых. Добрые люди — вот наша сила. Теперь многих из них нет, но память всегда будет жива, пока живы мы сами.

Я пока не жалуясь на здоровье, могу взять в руки баян, запеть песню. Вы тоже не поддавайтесь хворям. И я, и Анна Демьяновна надеемся, что вы еще увидите своими глазами третье тысячелетие на нашей планете. Вы любите жизнь и умеете ее ценить, а ведь это и есть самое прекрасное, ради чего весь наш труд, вся наша работа.

*Петр Курзаков*

21 сентября 1971.

Досточтимый Петр Пименович!

Спасибо вам и Анне Демьяновне за доброе пожелание заглянуть в третье тысячелетие, но это было бы великим чудом, которого я недостойн. Мои товарищи по семинарии почти все отошли в вечность, пора и мне собираться в путь.

На днях ездил в Панеряй навестить старого знакомого. На месте расстрела евреев теперь поставили хороший памятник. Я принес розы в кувшине, а на следующий день пришел — кто-то разбил кувшин. Забыл вам написать (голова стала совсем слабая), что случайно узнал, почему Шважас хотел заманить вас в ловушку. Месяца три назад ко мне пришел незнакомый литовец, представился, что он тот самый капитан, которого я видел у немецкого полковника-танкиста, когда просил за наших евреев. Этот капитан рассказал мне, что в те дни моя жизнь тоже висела на волоске, — немецкий полковник хотел расстрелять меня вместе с евреями, но капитан и полковник-литовец уговорили его не трогать меня. Так или не так, правду теперь не узнаешь.

А Шважас был завербован гестапо. Когда в Тракае расстреляли крестьян, он приехал туда на базар, и его тоже схватили, но отпустили, взяв расписку сотрудничать с гестапо. Он должен был доносить о партизанах, поэтому и заманил вас в ловушку весной 1944 года. На его хуторе засаду устроили не власовцы, а эсэсовцы из полицейского полка, которым командовал оберштурмбанфюрер Титель, — их штаб одно время находился в Тракае, это они сожгли Пирчюпис, когда грузовик с солдатами подорвался на вашей mine недалеко от деревни. Если хотите, я сообщу адрес этого капитана, он долго сидел в тюрьме, а теперь живет в Паневежисе.

Большое спасибо за лекарства, без них было бы совсем плохо. Теперь врач прописал мне панангин и сустан, а от катаракты — глазные капли (рецепты прилагаю). Но мне стыдно, что ничем не могу вас отблагодарить, поэтому посылаю вам яблоки и мед. Благодарю за добрую память и молюсь за вас. Хотя вы верите в диалектический материализм, а я в божью благодать, все-таки надеюсь, это не помешает

нашей встрече — здесь, на земле, или там, у всевышнего.

Всегда помнящий вас

*Казимир Можейко*

7.V.72.

Дорогой Казимир!

Я же писал вам, что у меня на даче свои яблоки, пасеку, правда, не завел, не умею с пчелами ладить, но яблоки, смородина, клубника — это помаленьку растет, нам вполне хватает. Весной уезжаю на дачу и живу здесь до глубокой осени. С тех пор как ушел на пенсию, времени стало много, иногда подумываю тоже засесть за писание, рассказать обо всем, что довелось пережить в партизанах, но страшно начинать такую большую и долгую работу. Видимо, тяжелая лесная жизнь причинила мне что-то непоправимое, и вот, когда перевалило за шестьдесят, начинаю чувствовать, где у меня сердце, где почки, а когда-то думал — износа не будет. Но вянет цветочек, чтобы своим потомством порадовать мир. Моя вольная и смелая судьба оставила на сердце радость от взятого в жизни; пусть не глубокие, но все-таки следы мои заметны в судьбе тех, для кого я был добрым человеком. Я верю, и это непоправимо: жизнь лишь одна, она наша радость, наслаждение, горе и печаль.

Вместо чарки вина в Тракае пришлось мне пить лекарство в больничной палате. Не пришлось промчаться на быстрой лошадке, заехать в ваш гостеприимный дом, но, как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком свидятся. Лекарства я вам достал, они остались в Москве, а мы с Анной Демьяновной пока живем на даче. Попрошу ее или сына послать их вам.

Я часами смотрю на цветущие яблони и не могу нарадоваться. Нет в мире ничего прекраснее этой красоты, так не хочется терять все это, но что поделаешь. Наверное, недалеко то время, когда сырая земля примет нас, невзирая на прегрешения и разные убеждения, и все же я рад тому, каким я был, радуюсь, что и теперь стою в строю живых. Хочется еще пожить среди цветов и яркого солнца. Ни одному чело-

веку не хватает того единственного солнца, которое горит на небе. Огромная прожитая жизнь. И странно... Когда смотришь из окна самолета, видишь горы, реки, города — одним словом, огромное, а людей не различаешь. Было огромное и в моей жизни — гражданская война, коллективизация, Отечественная. Но, оглядываясь назад, вижу только людей, лица, глаза — и такую огромную нежность чувствую ко всем, мертвым и живым, что передать вам не могу. Часами, закрыв глаза, лежу ночью, и они проходят передо мной — незабвенные мои, дорогие мои, хорошие! Несправедливость смерти в том, что сейчас я говорю о них, но они меня не слышат. Как мало тепла отдаем мы нашим матерям, женам нашим, друзьям, как часто обижаемся на пустяки. Я теперь хладнокровно отношусь к обидам (и меня обижали, дорогой Казимир, крепко обижали!) — они неизбежны, как сама жизнь. Не огорчайтесь и вы, верьте и терпите — так оно легче. Я, конечно, имею в виду личные обиды, а когда посягают на достоинство людей, на справедливость, тут надо схватываться врукопашную и драться до последнего!

Много чудес подарила мне жизнь, верю, что в будущем она станет еще интереснее. Но много работы потребуется, чтобы сделать краше, справедливее это единственное земное царство.

*Петр Курзаков*

16.VI.72.

Уважаемый Казимир Викентьевич!

Посылаю вам лекарства, которые не успел отправить муж. 8 мая он умер от кровоизлияния в мозг. Последние годы он сильно болел — видно, партизанская жизнь и тяжелое ранение дали себя знать. Да и работа у него была очень нервная, а характер его вы знаете, он не мог терпеть малейшую несправедливость.

В тот день, когда он написал вам письмо, велел мне ехать в Москву, отправить вам лекарства. Я сказала, что завтра поедем вместе, тогда и отправим. А он рассердился: «Неужели ты не понимаешь, что человек ждет!» Но мне было страшно одного его оставить на даче. На следующий день я проснулась рано, в полпятого. Петр Пименович стоял на веран-

де, прислонившись к косяку, и смотрел на солнце. Я задремала, а проснулась от крика: муж шел, качаясь, схватившись за голову. Я уложила его в постель, вызвала «скорую», но оказалось поздно.

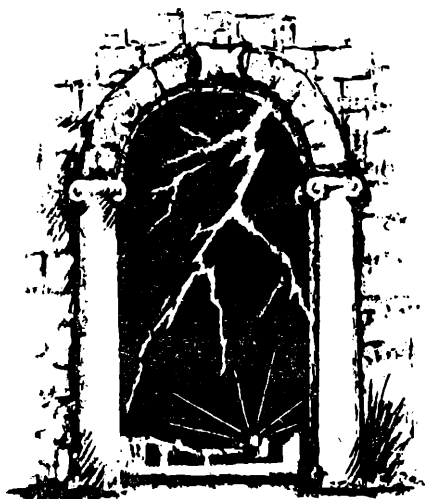
Петра Пименовича похоронили на Ваганьковском кладбище.

*Анна Демьяновна Курзакова*

*Повести*

# ТРИНАДЦАТАЯ СТРАСТЬ

*Памяти доктора  
Бориса Моисеевича Шубина*



Не все сущее делится на разум  
без остатка.

*ГЕТЕ*

— Что есть добро? Что есть добрый человек? Что есть добрые дела?

— Ты меня спрашиваешь?

От удивления Иуда выпустил веревку, она змейкой скользнула через сук засохшей смоковницы, свернулась кольцом у подола синей хламиды. «И глаза у него синие»,— подумал Пустошин.

— Да, вас. Вы ведь страдаете, у вас кровь из губы. Иуда слизнул кровь.

— Жара, а я два дня не пил. Помогите.

Он бросил Пустошину веревку, а сам, скребя заросший подбородок, шурясь от солнца, смотрел на сук, что-то прикидывая в уме. Руки Арсения Ильича дрожали, пальцы не слушались, будто околели, веревка падала.

— Вяжи крепче, вяжи, потом самому пригодится. Ты ведь такой же...

— Вы что, я никого не предавал! Я ведь еще мальчик,— зачем-то соврал Арсений Ильич,— кадет Первого кадетского корпуса.

— А, значит, ты предал злоумышленников Глинку, Рылеева, Краснокутского, Тизенгаузена, Аврамова?

— Я никого из них не знал, клянусь вам, они выпусками старше.

Иуда потрепал его по щеке, отчего несчастный Арсений Ильич зябко передернулся.

— Ничего, предашь, когда подрастешь. Все предают, запомни, потому что человек — самая подлая тварь.

— Но вы же господу предали...

— А Петр не предал его? А Фома? Теперь шипят, что я продан за тридцать сребреников. Да за такие гроши веревку крепкую не купишь! Ты не знаешь... Я один любил его, а они ему не верили, они смеялись над ним, а я плакал. Запомни: предают тех, кого любят.

Иуда кричал, задыхаясь, словно за ним гнались, а крепкие крестьянские пальцы умело вязали удавку; он рванул ее, пробуя крепость петли, шея нажилась, словно под кожей продернули веревки.

— Смотри, брат, тебе пригодится. О господи, хоть бы глоток воды! Жара! Лучше бы ночи подождать,



прохладно станет, но тогда сук не видно, разве только ты факелом посветишь. Посветишь, брат?

Пустошин переступал босыми ногами по корням, не зная, что ответить, и уйти не мог,— что-то удерживало его возле корявой смоковницы, скупой на тень; он украдкой взглядывал в потное тяжелолобое лицо Иуды, бугры надбровий, запекшиеся губы.

Раздвинув петлю, Иуда сунул голову, повертел в петле, вытащил, задев оттопыренные уши. Тоскливо огляделся, но вокруг была только рыжая горячая земля — ни бугорка, ни кустика. Он нехотя закинул веревку на сук, подтянул петлю выше, свободный конец обвязал вокруг ствола.

— Нагнись, добрый человек

Пустошин послушно нагнулся, упершись руками в дерево, охнул,— Иуда больно вдавил коленом поясницу, навалился на спину, топтался; вдруг в бок толкнуло с такой силой, что Арсений Ильич упал и увидел над собой бьющуюся синюю хламиду, а высоко-высоко страшное лицо с синими камнями глаз.

Пустошин заплакал.

— Господи, прости меня.

Он беспокойно заворочался под одеялом, едва не проснувшись, потерялся мокрой от слез щекой о бледно-желтую наволочку, жалобно, по-детски всхлипнул и задыхал ровнее. Наверное, только ребенком он спал так крепко, как в эту душную августовскую ночь 1853 года. И позднее, в одиннадцатом часу, пробуждение его было таким радостным, что, не зова камердинера Онисима, Арсений Ильич встал, набросил вишневый бархатный халат, подбитый лиловым атласом, с лиловыми же, но стегаными отворотами, и долго стоял перед зеркалом, озирая себя, будто из палисандровой рамы с резными амурами по углам смотрел не он сам, а его портрет: лицо тронута желтизной от болезни, но еще довольно свежее для мужчины сорока двух лет, густые темно-русые бакенбарды, голубые глаза под щеточками бровей. Наморщив лоб, увеличенный залысинами, отчего лицо приняло выражение озабоченное, Арсений Ильич старался вспомнить, что же такое ему только что снилось, но помнилось лишь ослепительно-синее, горячее, какой-

то лепет, даже молитва. Он снисходительно улыбнулся сам себе: да что с тобой, Пустошин, что струсилось, в какую сторону сдвинулась душа, если ты, всю жизнь поминавший имя господи лишь всуе, вдруг с таким смирением призвал его и вверил ему жизнь свою? Арсений Пустошин записался в богомольцы? Отменно глупо, дружок, и ты же первый выкажешь сомнения сему.

Я и сам довольно понимал, что сие глупо, а потому велел Онисиму откупорить шампанское, и не сквозь салфетку, а пробку вон, ключом громокипящим,— и осушил бокал. Ах, до чего же славно жить на свете!

Вино уравнило меня, воздвигло на место колесико, соскочившее с оси, и далее августовский день покатило своим чередом: утренний развод у генерал-губернатора графа Арсения Андреевича Закревского, обед у князя Белосельского, благотворительная лотерея, а вечером — в кофейном кабинете Английского клуба. Причем мной овладело состояние столь энергическое, что прямо с Тверской, от графа, полетел к Мякишеву срочно переменить свой экипаж отличной лондонской работы на новый — непременно захотелось мякишевский экипаж с дверцами в обе стороны, бронзовыми фонарями, с обивкою пунцовым бархатом. Да так проворно сладил дело с жуликом каретником, что не прошло и часу, а мой кучер перепряг Султана и Мурзу, обругал рессоры, а я хохотал, откинувшись на подушки.

— Гони к обер-полицмейстеру, шельма! Да смотри, не уступай никому.

Я ехал к Льву Михайловичу просить быть завтра на холостяцкой пирушке, хотя, впрочем, мог сделать приглашение и в театре — наши кресла в первом ряду, но Цынский взял себе за правило, чтоб места справа и слева пустовали, подчеркивая значительность его персоны.

Прежнего обер-полицмейстера Муханова я чтил душой и до сих пор с ним дружен. Да не сам ли он рассказывал мне, как сдавал должность Цынскому, тогда на восемьдесят тысяч с лишком недосчитались пожарных инструментов, бочек, лошадей, что прину-

дило его обратиться к дяде — сенатору. Тот деньги дал, но выговорил племяннику: «Не подобает князьям Мухановым идти в будочники, мы не какие-то там Свинские». Да хорошо еще каланчи оказались на месте — у нас ведь станется, что каланчу сопрут с Суцевской части, пропьют, а скажут — так и было.

А Цынского с тех пор за глаза все стали звать не иначе, как Свинским. Да и физиономия у него вроде того: изношенная, бледная, усы крашенные, парик черный. К тому же груб по-свински и честности сомнительной. Когда к нему первый раз пришли откупщики, Лев Михайлович, приняв поднесенные тридцать тысяч, спросил, какую сумму жертвуют господа откупщики на остальных полицейских чинов. Оказалось, столько же. «И преотлично, голуби, доставьте эту сумму мне, а я уж разделю сам».

И возразить нечего. С тех пор Лев Михайлович получает каждый год по шестьдесят тысяч. И правильно делает. «Поверишь ли, Арсений Ильич, трудолюбиво собираю по пылинке, как пчела, а взятки весь берут танцорки».

И что ему театр, что он театру? Я б на его месте театры за три версты объезжал, ведь и без того вся Москва знает, что он сын актрисы Ветрацынской, а уж чей еще — о том молва противуречит. Мы и познакомились-то на театре, еще когда он был подполковником, а я подпоручиком.

Не помню, по какой надобности он прибыл в Петербург... На широкой масленой, в утреннем спектакле в Александринке давали «Горе от ума». В креслах только Николай Львович Невахович, я и Цынский. После первого акта мы с Неваховичем пошли в буфет, туда же пришли некоторые актеры, в том числе Максимов, игравший Чацкого, — мы их пригласили к завтраку, спросили блинов, вина и начали беседовать; завтрак наш продолжался так долго, что режиссер Куликов пришел в буфет и попросил господ актеров выйти на сцену, говоря, что публика дожидается. Невахович резонно заметил, что вся публика в буфете, ложи пустые, а на раек не следует обращать внимания. Я велел подать еще вина, усадил режиссера, и уж когда все вдоволь насытились, мы отправились в кресла.

В конце 1835 года мне было двадцать пять лет.

Живя по службе в Петербурге, я предавался удовольствиям, но они начинали мне надоедать, я искал развлечения, соединенного с изящным, и наконец ударился в театр. Посещая его каждый день, свел знакомство с такими же театрами, и вскоре узнал, что существует некое приятное, а вместе с тем тайное Общество из весьма ограниченного персонала — председателя и двенадцати членов. Меня ввел туда гостем юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков Константин Александрович Булгаков, сын московского почтового директора.

Общество мне чрезвычайно нравилось, и вскоре, в начале 36-го года, я был принят на открывшуюся вакансию в Общество Танцоров Поневоле; название сие связано с неперменным правилом: как только члены Общества услышат мотив из балета «Волшебная флейта» (под который в балете все невольно начинают танцевать), то обязательно должны плясать, а если нельзя того сделать, то шевелить в такт руками или ногами, хотя бы одним пальцем. Оно смешно, но до сих пор у всех нас осталось это обыкновение.

Цель Общества состояла в приятном времяпрепровождении, дружестве, полнотой между собой свободе и неперменном волокитстве за жрицами Мельпомены, — кто не ухаживал за танцовщицею, актрисою или хористкою, подлежал позорному изгнанию, и потому я начал волочиться за хорошенькой воспитанницею Театрального училища, бывшей на близком выпуске, и она мне отвечала пантомимами во время спектакля или записочками.

При вступлении моем председателем Общества (он назывался у нас Архимандритом) был Павел Степанович Федоров, автор многих пьес, впоследствии начальник Театрального училища и репертуарной части; Александр Петрович Мундт носил звание Протодиакона, ибо имел сильный бас и провозглашал на наших ассамблеях многолетия; Циргольд исполнял обязанности секретаря и хранителя архива, остальные состояли действительными членами. Я поступил на место офицера Преображенского полка Васильева, сосланного на Кавказ за историю с похищением воспитанницы Театрального училища Оленьки Кох. Ах, театр! Вся молодость моя прошла в креслах Александринки.

Там, там, под сению кулис,  
Златые дни мои неслись.

2

Цынского я застал при полном параде, грешным делом подумав, не собрался ли доблестный наш Лев Михайлович воевать турок,— больно он грозен был, оглядывая полуэскадрон казаков с пиками.

Сойдя с экипажа, я изобразил немую сцену.

— Ваше превосходительство, возьмите в дело отставного поручика.

— До шуток ли, Арсений Ильич?

— Да разве дело так серьезно?

— Да-с, именно так.

— Неужто вновь холера или поджоги?

— Умер доктор Гааз. Граф Закревский повелел, дабы избежать беспорядков, непременно мне быть на всем пути до Введенских гор.

В голове у меня разом все смешалось. Я смотрел на генерала, крепко взявшего повод; встав на стременах, он подал команду, отчего изношенное лицо его как-то враз сморщилось, крашенные усы подпрыгнули, но мне словно уши заложило — видел разверстый рот, а ничего не слышал. Да не ослышался ли я? Верно, я последние дни был нездоров животом и никого не принимал, но почему же утром-то мне не сказали?

— Гони в Казенный переулоч, в Газовку! — велел я кучеру.

Каменные львы на воротах словно задремали от жары, железные ворота настежь, ни инвалида, ни швейцара, никого, только в палате на втором этаже кричали умалишенные, а сиделка Татьяна обносила их микстурой. Я знал ее, когда она служила в известном заведении сугубо для мужчин,— премиленькая резвушка, потом заболела и попала в сию лечебницу, да и осталась здесь сиделкой.

— Татьяна, а где ж все?

— Ушли с Федором Петровичем.

— А ты что ж?

— Так надо быть с несчастными,— ответила она, не поднимая глаз.

Опять несчастные. Злодей, зарезавший всю семью с малыми младенцами, больной без человеческого облика, нищая старуха, пропойца, холоп — все несчастные. Да кто ж в России счастлив, дура? Я — с четырьмя душами и жалованьем в две тысячи? Или поврежденный доктор Федор Петрович, которого несут сейчас к могиле?

Шествие я нагнал уже в Лефортове. Нагнал... Все одно, что сказать — достиг острова, когда стоишь на берегу, отдаленном от острова разлившейся рекой. Несметные тысячи народа захлестнули окрестные улочки и переулки. Велев кучеру дожидаться у дворца Лефорта, я сошел на булыжную мостовую. Заметив рядом бабу с букетом огромных огненных георгинов, спросил, за дорого ли продает? Она посмотрела на меня и бочком-бочком, словно я убить ее пришел.

— Да постой, дурища! На тебе рубль.

Ах, будь у меня кнут, вытянул бы глупую бабу! Но тут так сдавили со всех сторон, что и рук не поднять. Пришлось пробиваться сквозь толпу локтями, вскоре я весь взмок, и локти от толкотни занули. Уж не помню, в каком месте, кто-то крепко взял меня за руку:

— Сударь, извольте соблюдать приличия.

Я в бешенстве обернулся — позади стоял господин Киреевский.

— Прошу извинить, Иван Васильевич, если я вас неумышленно задел.

Киреевский кивнул и отвернул лицо к спутникам; одного из них я сразу признал — Юрий Федорович Самарин, второй, кажется, университетский профессор Грановский. Я все-таки опередил их, но еще слышал задыхающийся голос Киреевского:

— Мы были у Гааза тринадцатого... да, всего за два дня... Ни жалобы, ни вздоха, ни даже движения малейшего... Удивительно много было в Федоре Петровиче прекрасного, даже великого в этом безоглядном человеколюбии...

О безоглядном человеколюбии Иван Васильевич выразился точно, довольно я был тому свидетелем, и мне не надо было взирать на умирающего Гааза, чтобы сделать такой вывод, — годы целые я наблюдал его, не умея занести в какой-то вид человеческих особей — и когда боготворил его, и когда ненавидел.

Колоссальная толпа, края которой я не видел, даже поднявшись на лестницу, забытую фонарщиком, сплотилась намертво, такого шествия не было даже на похоронах Гоголя. «Больше, кажется, хоронить некого», — сказал тогда Грановский, а вот же нашлось кого! Тут была вся Москва: князь Голицын шел рядом с нищенкой, сенатор Булатов об локоть с отставным инвалидом, мелькнул марсианский череп Чаадаева и львиная шевелюра Кетчера, за бабой с георгинами шел, сняв фуражку, обер-полицмейстер Цынский, прикладывая платок к глазам, — вот уж поистине осьмое чудо света! Кто ж на Москве не знал, что Лев Михайлович собственноручно порет арестантов, что во время страшных пожаров он науськал толпу против несчастного полковника Сомова, имевшего в кармане огниво и трут. Я доподлинно знаю со слов зрителя тюремного замка о конфузе, когда Цынский площадными словами обругал находившегося под судом кавалерийского офицера. Тот осмелился противуречить, обер-полицмейстер замахнулся, но офицер успел дать ему две жестокие пощечины и, сорвав генеральский эполет, вскричал на всю Бутырку: «Ах ты, ракалия! Я, пока еще не разжалован, такой же дворянин и офицер, как и ты, мерзавец!»

Я совершенно выбился из сил, ноги дрожали, дышать было с трудом. Кругом плакали, и я не сразу услышал слова губернатора Ивана Васильевича Капниста. Видно, уже отслужили панихиду, потому что могучий бас протодиакона возгласил за упокой души почившего, а потом, после довольно долгой тишины, я услышал губернатора.

— Смерть похитила из среды нас одного из достойнейших членов наших — Федора Петровича Гааза!.. В продолжение почти полувекового пребывания своего в Москве он большую часть этого периода своей жизни посвятил исключительно облегчению участи заключенных. Кто из нас, милостивые государи, не был свидетелем того самоотвержения, того истинно христианского стремления, с которым он поспешал на помощь страждущим. Верный своей цели и своему назначению, он неуклонно следовал в пути, указанном ему благотворными ощущениями его сердца! Никогда и никакие препятствия не могли охладить его деятельность, напротив, они как будто сообщали ему

новые силы. Убеждения и усилия его доходили часто до фанатизма, но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим...

Что было со мной далее, не помню. В глазах померкло, тело сделалось ватным. Кажется, я упал.

### 3

С лишком две недели провел я в жестокой лихорадке, и каждый день, как избавления от мук, ждал минуты перед сном, дабы обратиться к господу слова бесхитростной молитвы: «Господи, прости мне мои прегрешения. Дай мне увидеть завтрашний день и пережить его». Иногда, после успокоительного декохта, меня охватывала неодолимая сонливость, но еще больше страх, что усну, не успев возблагодарить всеблагого и милосердного. Я боялся не наказания за свою забывчивость, но целый день жил ожиданием этой минуты, она стала смыслом всего моего существования. И то, что каждый раз утром я пробуждался к жизни, уверяло меня, что моя молитва услышана, что она угодна господу.

Возможно, мое пробуждение стало последним добрым делом Федора Петровича Гааза, вспоминавшего в муках ничтожного Арсения Пустошина, и святость его помысла отверзла ржавые ворота моей души. Гааз страдал очень тяжело. У него сделался громадный карбункул, оказавшийся смертельным. Последние три недели он вовсе не спал. Сидел в своей комнате за ширмами, в излюбленном кресле, на нем был халат, и его прекрасную голову не покрывал уже исторический парик. Его лицо, как всегда, излучало спокойствие и доброту,— рассказывал мне капитан генерального штаба Дешарвер; он даже хотел поцеловать руку доктора, но удержался, боясь его расстроить. А ведь Гааз, когда-то приглашенный на консилиум к его отцу, прямо объявил, что больной умрет, но слова эти сказаны были с таким участием, что Дешарвер с детства проникся глубокой признательностью к доктору.

Федор Петрович не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил о болезни, а беспрестанно занимался своими бедными, больными,



арестантами, делая распоряжения, как человек, приговившийся в дальний путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше. Он знал, что скоро умрет, и был спокоен; ни жалобы, ни стоны не вырвалось из его груди, только раз он сказал своему душеприказчику доктору Полю: «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страдания».

Когда он почувствовал приближение смерти, он велел перенести себя из спальни в кабинет, открыть входные двери и допускать всех, знакомых и незнакомых. Мог и я быть среди них...

Лекари Владимиров и Собакинский просили тогда священника Орлова отслужить обедню о выздоровлении больного, но поскольку Гааз не был православным, отец Орлов заявил о своем затруднении митрополиту Филарету. Владыко долго молчал, потом поднял руку: «Бог благословил молиться о всех живых — и я тебя благословляю! Когда надеешься быть у Федора Петровича с просфорой? — и, получив ответ, что в два часа, прибавил: — Отправляйся с богом, увидимся у Федора Петровича».

Это было 15 августа, а назавтра Федора Петровича не стало. Уж я-то знал, как сложны были отношения доктора с владыкой, сам лицезрел их небывалый спор, а вот же сам первосвященитель московский примирился с давним противником, я же взлелеял о нем злобу. Но разве одна только злоба тогда двигала мною?

Как сейчас вижу Федора Петровича в длинном коридоре Екатерининской больницы. Каменные белые плиты тесаны так ровно, что швов не видно, шаги не слышны; масляные светильники высвечивают кирпичный полукруглый свод. В тот день я был взбешен, мы поссорились еще на Воробьевых горах, при отправке партии каторжных, когда Гааз, найдя у Савелия Гушина, зарезавшего восемь душ, какую-то пустячную болезнь, отставил злодея от этапа.

— Как вы могли?! Он же детей зарезал на глазах у матери, а вы ему — книжечку, апельсин! Он же издевался над вами, слепой вы человек, он у вас платок вытащил, когда вы его обнимали. Потому и целовались с ним, что он назвал вас генералом, а этого душегуба живьем закопать мало, на куски разрезать!

Гааз качнулся, словно я выстрелил в него, схва-

тился рукой за грудь, где всегда носил Владимирский крест.

— Арсений Ильич, простите, если виновен перед вами, но не губите душу ужасными словами.

— А, не нравится правда! Вы жалеете их, а меня кто-нибудь жалел?..

Я кричал на него, топал ногами, а Федор Петрович обнял меня:

— Голубчик, простите, ради Христа...

Но я вырвался, побежал по коридору.

А к вечеру того же дня государь Николай Павлович посетил Московский тюремный замок в Бутырках. Его величество сопровождали светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, московский комендант граф Петр Александрович Толстой и начальник корпуса внутренней стражи генерал Петр Михайлович Капцевич — старый сослуживец Аракчеева по Гатчине. Будучи генерал-губернатором Западной Сибири, Капцевич заботился о ссыльных, но, сделавшись командиром корпуса внутренней стражи, перешел на сторону инвалидов, обязанных караулить арестантов, и делал все возможное для предупреждения побегов. Более всего Петр Михайлович серчал, когда в его монастырь ходили с чужим уставом, поэтому недолюбливал Гааза, а с тех пор, когда Федор Петрович стал требовать отмены «прута», генерал зачислил его своим врагом.

«Прут» — это восьмивершковый железный стержень, имеющий на одном конце головку, на другом ушко для замка; на этот стержень нанизывают шесть — восемь железных наручников, и так ведут арестантов, прикованных к «пруту». Легко понять их страдания, особенно осенью и зимой, и почему они, как милости, просили заковывать их в ножные кандалы. Гааз считал, что такой способ причиняет арестантам чрезмерное страдание, о чем и довел до сведения государя. Государь велел графу Закревскому (тогда он был министром внутренних дел) высказать свои соображения, а граф потребовал объяснений от генерала Капцевича. Конечно, в сей тяжбе о замене «прута» кандалами я всецело был на стороне Гааза, но испытывал глубокое уважение и к его противнику. Сейчас, когда Петра Михайловича нет более в живых, память о нем приобрела оттенок весьма мрач-

ный, с чем я не имею права согласиться. Из всех гатчинцев едва ли не один Капцевич был порядочным человеком; невзрачный с вида, угловатый и резкий по приемам, он всюду умел быть на своем месте. Инвалиды гордились командиром, на груди которого, среди первых отличий, блистали ордена Георгия 3-й и 2-й степеней — за Бородино и Лейпциг. И он сам любил своих подчиненных. Но при сих добрых качествах Капцевич был вспыльчив и упрям, и когда в Бутырском замке Гааз вновь напомнил государю, что пересыльных продолжают препровождать через Москву на «пруте», генерал вспылил.

— Воля ваша, государь, а я не могу согласиться с мнением, дабы на всех пересыльных налагать ножные кандалы, оставляя им руки совершенно свободными. За сим следует самое простое рассуждение: люди грубых чувств, каковы преступники, особенно же отчаянные, в злодеяниях закоренелые, по филантропическому мнению членов Тюремного комитета, делаются свободными в руках. Известно, что вся телесная сила человека не в ногах, но в корпусе и в мускулах рук; дать свободу преступнику в сей части тела — значит, ободрить его наглость, его отчаяние. Прошлой зимой в Измаиле арестант с сапожным ножом успел изранить трех солдат, имевших ружья со штыками, потому что никто из конвойных не решался употребить против разбойника штык, а только отбивался прикладом; арестант же был в полушубке и шапке. И вот солдат, имевший три нашивки за ранения на поле брани, притом обессиленный походами, лишается честной отставки, нашивок и всего. Он судится по законам за упуск арестанта и наказывается шпицрутенами.

Государь нахмурился.

— Если впредь будет замечено намерение к побегу или явное сопротивление арестанта, позволяю конвойным употребить силу оружия. Ты должен мне докладывать об всяком таком случае. А ты что скажешь о преступниках? — спросил государь Гааза. — Ты ведь все нянчишься с ними, как с малыми детьми, а вот они учиняют такое злодейство.

— Ваше величество, *они уже осуждены*. Наше дело помнить, что и они тоже люди, что слезы и у них горьки, что они — несчастные наши братья, коим мы

обязаны помочь. Все они, конечно, сделали много зла, но учил ли их кто-нибудь добру? Все они злы и преступны, но как же можно требовать с них доброты, если у нас самих нет жалости к ним. Они преступники перед законом, а перед нами — несчастные братья наши.

Сегодня утром наблюдал я случай, сожаления достойный: мещанин Иван Рубцов с женой, у коей грудной ребенок и семилетняя дочь, просил, как величайшую милость, дозволения идти в ножных кандалах, а не прикованным с прочими за руку, дабы вспомоществовать жене и детям. Но начальник инвалидной команды, раз ему отказавши, не хотел согласиться на мою просьбу. Другой человек, пересылаемый с женой в Могилев, имея рану на руке, также просил ковать его не на «прут», а в собственные ножные кандалы. А как начальник инвалидной команды не согласился на сие, то я счел обязанным оставить сего несчастного до излечения раны.

Доктора поддержал и князь Голицын, коего государь Николай Павлович не только уважал, но и сердечно любил.

— Государь, вам и без меня известно, что ни в какую из губерний не стекается столько арестантов из разных мест, как в Москву, следовательно, здесь более, нежели где-либо, можно удостовериться в удобнейшем способе пересылки арестантов и, вероятно, никто не обращал такого внимания на них, какое статский советник доктор Гааз оказывает уж десятый год единственно по беспримерному добродушию своему. Ни одна партия не приходит в Москву и не отправляется отсюда, которой бы он с тщанием не осмотрел и не сделал наблюдений.

Речь светлейшего вызвала гнев генерала Капцевича. Незаметно поманив командира Московского гарнизонного батальона подполковника Жигловского, он что-то шепнул ему на ухо, потом громко спросил:

— Верно ли ты доносил мне о преступнике Савелии Гушине, коего сегодня отставил от команды доктор Гааз?

— Точно так. Оный злодей Савелий Гушин, должный следовать в Тобольск, признан губернским правлением слабосильным, но к этапированию годным, а господин Гааз самовольно велел его оставить.

— Что это значит?

— Государь,— опередил Гааза Капцевич,— сие значит, что по целой России, кроме Москвы, нет сего пререкания и затейливости доктора Гааза; сей член Тюремного комитета, утрируя свою филантропию, только затрудняет начальство перепиской и, уклоняясь от своей обязанности, соблазняет преступников, целуется с ними, исполняет несообразные просьбы преступников, которые его обманывают. К примеру, арестант просит не отправлять его с партией, он-де ожидает брата или свата, а господин Гааз оставляет его на полгода, как было с преступником Денисом Королевым. Мое мнение, государь, удалить доктора Гааза от обязанности осматривать арестантов.

Николай Павлович прищурился на доктора, и тот, словно пригнетенный взглядом государя, опустил на грязный тюремный пол. Никто не осмелился поднять старика, склонившего голову в сбившемся парике.

— Полно! Я не сержусь, Федор Петрович, что это ты... Встань!

— Не встану,— возразил Гааз.

— Да не сержусь, говорю тебе. Чего же тебе надо?

— Государь, помилуйте несчастного арестанта Савелия Гущина— ему осталось немного жить, он дряхл и бессилен, ему очень тяжело будет идти в Сибирь. Сжальтесь над стариком!

В эту минуту я любовался лицом нашего монарха, я благословлял провидение, что оно даровало мне лицезреть обожаемого государя так близко.

— На твоей совести, Федор Петрович,— сказал наконец государь и твердо пошел к дверям. В дверях вдруг обернулся: Федор Петрович все стоял на коленях и; кажется, плакал,— в потертом фраке, кружевном жабо, черных чулках и панталонах до колен, он был жалок и смешон, свитские украдкой прыскали в платки, как бы все разом простудив носы, но почему один я в ту минуту понял, какая громадная сила таится в жалком старике? Ни министр внутренних дел, ни начальник корпуса внутренней стражи, ни все полицмейстеры, батальонные командиры и смотрители тюрем не смогли бы изменить волю самодержца, а он смог. Эта простая мысль потрясла меня. Если уж царь, помазаннык божий, перекладывает ношу

своей совести на этого шута в рыжем парике... Нет, сие превосходило всякое воображение.

Прямо из тюремного замка я опрометью кинулся к экипажу: «Гони, скотина!» Я чувствовал, если кучер не домчит меня стрелой до Козихи, пусть хоть намертво загнав лошадей, я сойду с ума, стану биться лбом об мостовую. Не раздеваясь, я вбежал в кабинет... К счастью (да, в тот миг я почитал сие за счастье), чернильница налита, в бюваре заготовлена бумага, перья были очинены. А ведь кто знает, хватило бы терпенья найти ножик, очинить? Но все, словно сговорясь, стояло наготове для... да уж известно для чего. Перо летало по бумаге, не брызгая, не мажа, я едва успевал присыпать песком исписанные листы, словно от скорописи сей зависела вся жизнь моя. Да что моя? России! В нашем проклятом отечестве не место святости; ровное, нескончаемое пространство — вот наша стихия. Заснеженная равнина, подогнанная камень к камню мостовая от Вислы до Берингова пролива — и ничего, что б выступало, выдавалось, прорастало сквозь щели в камнях! В России не должно быть мысли общественной, мнения общественного, самого общества, — лишь монарх, его рабы и рабы рабов. О, в тот миг я вполне увидел всю идею, ограниченную как бриллиант.

Конечно, у кого ж в России нет своей идеи, и непременно оригинальной, непременно должной спасти если не все человечество, то уж Русь-матушку по крайней мере. У нас ведь только правительство в дураках, а все остальные и либеральны, и умны. Но моя идея, действительно, была оригинальна: лишить общество идеала, ибо от него проистекают все мерзости. Идеал для подданных один — самодержец, ибо он помазанник божий. Я осуждал даже покойного императора Александра Павловича за ежедневные прогулки. В полдень он выходил из Зимнего дворца без провожатых, следовал по набережной, у Прачешного моста поворачивал по Фонтанке до Аничкова моста и возвращался к себе Невским проспектом, разглядывая дам в лорнет, отвечая на поклоны прохожих. Но ведь этак с ним мог заговорить любой!

Нет, нам надобен Китай, где подданные под страхом казни не смеют видеть Сына Неба. Мне об Китае много рассказывал статский советник Франц

Александрович Юни — человек ученый, бывший несколько лет в Китае, иезуит в душе, если не агент иезуитов, кстати очень дружный с Гаазом. Да, мы Китай, империя рабов! Иначе снова — Сенатская площадь или еще страшнее. Пожалуй что и пострашнее.

4

Я хорошо запомнил 14 декабря.

Добыв России славу и победу, они в Отечестве своем надеялись одним ударом шпаги разрубить гордиев узел всех российских бед, но узел оказался крепче стали — клинок переломился, а веревка, хоть и оборвалась, оказалась довольно крепкой, чтоб повесить бунтовщиков. Шпага надежна в поединке, но смешно, право, пытаться разрушить ею китайскую стену... И глупо.

Правда, в тот день, 14 декабря, происшедшее на Сенатской площади не показалось мне, четырнадцатилетнему кадету, ни глупым, ни смешным. А после 14 декабря было еще 13 июля.

Я в тот день был в отпуске, на Морской, и тетя угощала нас с кузенком Никсом клубникой со сливками. Дядя заперся в кабинете и до вечера не выходил. За ужином ни с того ни с сего вдруг накричал на нас и прогнал спать. Я исполнил волю дядюшки, но Никс подслушал разговор в столовой и, забравшись ко мне в постель, все пересказал.

Оказалось, ломовик, везший столб для виселицы, в потемках или спьяну заблудился, потому исполнение приговора промедлили значительно. К тому же столбы вкопали неглубоко, веревок не проверили, и когда отняли из-под ног преступников скамьи, веревки оборвались, и кто-то рухнул в яму, прошибив доски. Запасных веревок не приготовили, лавки еще не открылись, но где-то все-таки достали другие, и хоть с опозданием, но казнили. Будто Рылеев или Пестель при этом крикнул: «Боже мой, что за страна! Ни заговора составить не умеют, ни повесить толком!»

Какой-то Пестель встречался в бумагах, оставшихся от батюшки, но тот ли или совсем другой? Батюшка мой, Илья Гурьевич Пустошня, вступил прапорщиком в Пензенское ополчение; 3 января 1813 го-

да батальон вышел из Саранска, а прибыл на театр военных действий лишь 2 октября; три пензенских полка достались в отряд генерал-майора Булатова и заняли позицию подле деревни Пестец, под стенами Дрездена. А может, я перепутал Пестеля и Пестец?

Видно, батюшка был зело охоч до женского пола, потому что страницы дневника изобильны девицами, вдовицами, трактирщицами, дьяконицами — все они, как выражается батюшка, его «крайне любили». Я не переставал удивляться, как, идучи на битву, можно думать об одних лишь незначущих пустяках. «В Судже довольно много пили вин, где я, игравши в снежки, потерял золотое кольцо... В Гельмязове одну ночь хорошо повеселились со Степаном Андреяновичем, и после того был я нездоров животом три месяца... В Краснополье воинам роздали пики по рукам, хотя прочим полкам оные розданы не были... Немцы до того аккуратны в своем хозяйстве, что и курам поделаны лестницы, по коим ходят в свои хлевы... Имели жаркую перестрелку на правом берегу Эльбы, Гурьев за сие дело награжден орденом святого Георгия 4-го класса, хорошо быть сыном министра финансов...»

Батюшка был тоже награжден — Георгием 4-й степени и орденом святой Анны 3-й степени на шпагу. Сии реликвии храню, как величайшие сокровища.

Я в ту пору пребывал в младенческой поре, и маменька еще была жива — благодарю бога, что мне удалось лицезреть ее драгоценный образ. После ее кончины мы с братом Николенькой осиротели. Дядюшка, хотя и был добр к нам (чего не могу сказать о тете), не мог заменить нам родителей, и я сызмальства тосковал об женской ласке — возможно, тем и объясняется моя поочередная влюбленность во всех кузин. Да и театр увлек меня прежде всего как царство милых граций.

Тот день, когда меня наконец приняли в Общество Танцоров Поневоле, до сей поры остался в памяти счастливейшим, ибо разве это не счастье — сойтись так искренне с молодыми людьми, влюбленными в театр и в актрис.

Первый закон Общества Танцоров Поневоле составляла, как я, кажется, упоминал, связь с актрисой или хористкою. И еще одно правило: всякий член Общества должен переменить свою фамилию на такую,



чтоб непременно начиналась с «К», а кончалась на «ков». Я позаимствовал свою тайную фамилию у старого товарища отца — сенатора Сергея Сергеевича Кушникова. Прекрасно помню его: очень высок, сед, без усов, в генеральском мундире с синей лентой и при звездах. Уже одно то, что Кушников был адъютантом непобедимого Суворова, придавало ему в моих глазах нечто героическое. Когда дядя обратился к нему за советом о нашей будущности, Кушников настоял отдать меня и Николеньку в Первый кадетский корпус и сам взялся все устроить.

Как-то, уж после казни Рылеева и других, у дяди Антона Гурьевича и Кушникова опять вышел разговор о том событии.

— Уж эти мне доморощенные Бруты! Опоили чернь и вывели под пули, громогласно вопя о свободе для народа, а вся их свобода, чтоб водка стала дешевле. Какая сволочь! Да по сравнению с этими извергами приходится и смерть считать чем-то мягким, и ты не спорь со мной, Антон Гурьевич,— ведь если б им удался переворот, если б свершились их адские намерения, они бы погрузили Россию в потоки крови на сорок лет!

— И все-таки жаль, Сергей Сергеевич... Ведь это кровь Трубецких, Оболенских, Волконских... Какое это должно быть ужасное чувство — иметь в своей семье преступника.

— Да разве из Милорадовича текло французское вино?! Уже минуло довольно, а не могу поверить, что Михаила Андреевича больше нет. Митрополит увещевал безумцев — не послушали. Милорадович призвал зачинщиков к примирению — так сыскался разбойник Каховский, нацеливший пистолет. В кого? В героя Отечества, единственного ученика непобедимого Суворова. В ста тридцати двух баталиях он был увенчан славою, а пал в столице своего Отечества. Какие же это русские? Сын почтмейстера Пестель да немец Кюхельбекер? Уволь, топ brave!<sup>1</sup> Эти разбойники возомнили себя римлянами, назначили уж и кандидатов в сановники, завирушку Бестужева хотели сделать третьим консулом, а бешеного зверя Кюхельбекера цензором... Вот тут,— Кушников взял со стола номер

---

<sup>1</sup>Любезный (франц.).

«Journal de St.-Petèrsburg»,—большие подробности о гнусных заговорщиках, но об чем не печатают, к великому сожалению,—это о прекрасных поступках государя, который поистине выказал характер величавый и благородный.

— Да уж не спим ли мы, мой друг, неужели у нас, в России, могли быть задуманы все эти ужасы? И что за времена такие, что все сердиты, в иных сердцах ожесточение прямо неправдоподобное!

Много позже я узнал, что Сергей Сергеевич Кушников, мой благодетель, состоял членом Верховного уголовного суда над декабрьскими бунтовщиками; сам он об этом не упоминал, мне рассказал дядя Антон Гурьевич,—как раз когда «Телескоп» напечатал всем известное письмо Чаадаева. Но об этом в другой раз, а тут надо помянуть вот что: любители театра, верно, помнят, что до 28-го года не только запрещалось что-либо печатать о театре, но даже выражать удовольствие игрой актеров во время спектакля,—квартальные за этим зорко надзирали, помня слова на щите мраморной Минервы, украшавшей вход в Большой театр: *Vigilando quiesco*<sup>1</sup>. Да и публика.. Одни смотрели, другие дремали, третьи вязали в ложках шерстяные чулки, нередко во втором ярусе можно было видеть купца в халате, по-домашнему. Иное дело — кресла! Тут почти все старики, первые сановники государства, сенаторы, генералы. Офицеры гвардии и прочие порядочные люди располагались в партере на скамьях. А мы непременно в креслах, по два с полтиною за место. Конечно, у всех нас были кресла в первом ряду, всегда одни и те же; чтоб доставать их, мы свели знакомство с кассирами: в Большом театре — с Никитой Лаврентьевичем, в Александринском — с Прокофием Васильевичем. Знакомства сопровождалась подарками в их пользу, то черепаховой табакеркой, то дюжиной мадеры, зато мы были в полной уверенности, что наши кресла не достанутся другим. До сих пор в памяти живо то счастливое время. В воспоминаниях молодости всегда есть много приятного; как бы ни сложилась жизнь, всегда остается то, что приятно вспомнить. А впрочем...

---

<sup>1</sup> Покоясь, продолжаю бдение (лат.).

Между славным 1814 и ужасным 1825 годами произошло у нас великое множество тайных обществ, союзов, масонских лож. Казалось, после 14 декабря их как ветром сдуло, но пристрастие собираться избранным числом, обмениваться тайными знаками осталось, даже укоренилось больше прежнего. То, что в просвещенных странах давно стало обычаем—иметь собственное мнение, высказывать его изустно и печатно,—в нашем Отечестве почиталось преступлением, героем слыл уж тот, кто, заслышав слово «свобода», многозначительно покашливал и... не доносил. Общество жило как бы двойною жизнью: наружной и внутренней; тайна манила, пустая фраза, сказанная горячо и при закрытых дверях, кружила головы.

В ту пору и мы были молоды, беспечны, дерзки, похищали наших пассий прямо из карет—эти похищения приняли такую скандальную огласку, что вынудили правительство поручить охрану девиц конным жандармам, докладывали даже государю Николаю Павловичу, но он смотрел на наши проделки сквозь пальцы и называл их настоящим именем, «шалостями», тем более что удостоверился в благонадежности Общества Танцоров Поневоле. Это последнее подтвердилось следующим образом: по выезде за границу Василия Васильевича Самойлова в Обществе открылась вакансия, и на нее начал проситься Матвей Степанович Хотинский, о котором Булгаков нас предупредил, как о состоящем на службе в Третьем отделении—это Булгаков знал от дяди, Петербургского почтового директора.

Я предложил отхлестать Хотинского по щекам, как доносчика, но на ассамблее меня, кроме Булгакова, никто не поддержал,—решили, что Матвея Степановича непременно надо принять, дабы правительство узнало, в чем состоит истинная цель Танцоров Поневоле. Хотинскому было отпущено два ящика шампанского, чтоб нас подпойть и выведать секреты. Вино было отличное, но я чувствовал себя уязвленным: как мои приятели могут пить вино из подвалов Третьего отделения! Во весь вечер я едва пригубил бокал и оставался мрачен, хотя, кажется, все действительно вышло к лучшему: узнав, что мы не думаем о политике, граф Александр Христофорович Бенкендорф оставил нас покойно продолжать забавы. Но я тогда,

кажется, первый раз подумал о громадной власти, которой обладает в России тайный сыск. Двери тюрем широко распахнулись для русского дворянства, заковали в кандалы Одоевского, Оболенского, Шаховского, не посчитавшись, что они стоят в родословной Рюрикова дома. А силу обрели безродные ничтожества Бенкендорф, Орлов, Дубельт. Что ж, в России есть лишь два сорта образованных людей: те, кто доносит, и те, на кого доносят. Мне надлежало выбирать...

Возвратившись с ассамблеи, где еще пенилось вино, выданное под расписку Хотинскому, я сразу и целокупно увидел мысль создать самое тайное общество из всех, досель существовавших. Я, Арсений Пустошин, сам стану обществом. Целью сего таинственнейшего общества я поставил единственно борьбу с тайными обществами — любимыми, ибо опасна уж сама таинственность: картежники, раскольники, меломаны, любомудры, делатели фальшивых ассигнаций, сколь ни разнятся они в интересах, равно опасны для правительства самой скрытностью, неподнадзорностью. Где тайна — там непременно недовольство. А следовательно, монарх не может знать доподлинно, что происходит в царстве. Все сообщества людей, от сословия и до семьи, должны быть для государя подобием кусков стекла, положенных одно поверх другого, а где ж тут что-нибудь увидеть, если все мутно и неразлично! Мне и надлежало указать сии пятна, а там уж пусть Хотинский и иже с ним усердно протирают стекла или вставляют новые на место кри-вых или разбитых.

Да мало ли что в просвещенных странах стало нормой?! У них норма, а у нас — Россия! Ах, прав был государь Петр Алексеевич: мы не страна, мы — часть света. Пусть немцы да французы попрекают нас, что у нас нет истории. Зато у них нет географии. Как писал в своих записках батюшка, их полк в три дня прошел три княжества: Брауншвейг, Вестфалию, Ганновер — это зимой-то, в пешем-то строю. Вот их география! А наша: Европа, Азия, Америка! География и есть наша история, как рабство — наша демократия.

Той же ночью я написал первый меморандум. Не важно, об чем или об ком... Но я знал наверное, что

он небезынтересен для Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Большого искусства стоило неузнаваемо изменить почерк, тутгодились мои способности в каллиграфии. Я поставил точку — и задумался: как подписать оный документ? Перебрал множество имен, почерпнутых из книг, от Дон Кихота до Ринальдо Ринальдини, но все не подходило к сему случаю. Больше устав от придумывания, чем от письма, я был близок к отчаянию и, верно, в гневе порвал бы бумагу, не осчастливив меня самым простым ответ на мучительное «кто»: *Никто*. Ведь сим именем назвал себя хитроумный Одиссей одноглазому циклопу и тем спасся. *Никто!*

## 5

Не люблю комнат с одной дверью — все кажется, войдет кто-то страшный, припрет спиною створки, и сил не станет позвать людей.

Я проводил взглядом лекаря Больца, — кажется, старик обиделся на меня. И черт с ним!

За дверью слышались шаги. Неужто Больц вернулся? Ну что ж, вот я ему сейчас и выскажу свои соображения о медицине. Шалишь, брат! Немец образован, а русский смекалист.

Вошел Онисим с колодкой — чистил мои сапоги. Сколько ни говори, чтоб входил как положено, все как об стенку горох.

— Что там? Лекарь вернулся?

— Не изволю знать, ваше благородие, а по наружности очень достойный господин.

— Ответь, что я никого не принимаю: болен, к тому же не одет.

— Они просят вас принять их в скюртуке, они знают, что вы нездоровы.

Едва я раскурил сигарку, в кабинет вошел господин лет тридцати в очень недурном фраке, — среднего роста и хорошего сложения, с лицом серьезным и чуть смуглым, глаза карие навывкате, щегольской локонов черных кудрей живописно завит щипцами. Франт, но в меру.

— Зная, что вы больны, достойнейший Арсений Ильич, решил тем не менее вторгнуться в ваши владения. Насилу отыскал вас...

— Да почему ж насилу? В книге домовладельцев мой адрес указан.

— Ах, вы хитрец! — Незнакомец погрозил мне пальцем; кажется, мои слова позабавили его, я же начал сердчать.

— Что за игривый тон, милостивый государь? Бесцеремонно входите к больному, позволяете себе неуместные замечания.

— Ну вот, вы уж и в амбицию, а ведь доктор Больц назначил вам покой.

— Так вы лекарь? Сразу б сказали.

— Да-с, если угодно, лекарь, — по душевным заблуждениям. Сейчас многие больны душой. Третьего дня майор Андреевский зашел в обгорелый сад на Пречистенке и прострелил себе сердце. Зачем? Осталось тайной. Слишком много тайн, отсюда и множество больных душевно. Если позволите, я пересяду в это кресло, к камину. — Бесцеремонный господин крепко растер пальцы, как озябший пианист перед концертом. — А это, должно быть, ваша почтенная матушка? Изрядная миниатюра. Вы удивительно схожи с нею, этот нежно-русый цвет волос, и нос с горбинкой: А что ваш батюшка, он здравствует?

— Мой отец пал в тысяча восемьсот четырнадцатом году.

— Простите, я совсем забыл! Ведь сие печальное событие произошло, если не ошибся, в Мо?

— Кажется, там, вам-то почем знать?

— Мы, лекари, знаем многое, да не все говорим. Вот ваш батюшка, к примеру, был ранен пулей в правый пах — причем по нелепой игре случая: ночью с корнетом Олсуфьевым проверял секреты; едуци верхом, господа офицеры имели опрометчивость изъясняться по-французски; лежавший в секрете солдат, предполагая в темноте вылазку неприятеля, сделал выстрел, оказавшийся для вашего достойного батюшки роковым. Его сразу доставили в госпиталь двадцать второй дивизии — это в гренадерских казармах, оперировали, но к вечеру майор Пустошин уж был в бреду, а поутру скончался.

— Вы так уверенно рассуждаете об этом, хотя вас тогда и на свете не было.

— Разве мы знаем лишь то, чему сами свидетели? Я даже назову вам имя оператора, извлекшего пулю; конечно, он мог бы обстоятельнее рассказать о последних минутах храброго офицера, но и его недавно похитил безжалостный Танатос. Увы, улы, от смерти не убежишь, как от будочника.

— Если вы знаете, то назовите имя лекаря.

— Допустим, я назову, но вы уж ни об чем его не спросите. Поздно-с. Но коли настаиваете, то извольте, назову — Федор Петрович Гааз. Вы ведь знали его? После доктора остался медный телескоп, изрядная библиотека, мраморный бюст Сократа, три сломанных пролетки и сани, и вот что интересно — все экипажи внутри обтянуты синим сукном. Все движимое имущество, по совести, не стоит и ста рублей, а между тем долги Федора Петровича, объявленные в Сенатских объявлениях, составили весьма значительную сумму. Я даже выписал... Да, впрочем, зачем я стану вас утомлять? Среди заимодавцев числится и моя матушка, однако же усопший даже не упомянул ее в завещании, а вот вы, Арсений Ильич, изволите состоять одним из наследников и можете хоть завтра явиться во Вторую Московскую палату Гражданского суда к ее председателю — надворному советнику Дмитрию Дмитриевичу Мертваго — премилый человек и не канительщик. Насчет вас указаны какие-то бумаги и образ святого Феодора Тирона. Кстати, помните, чем он знаменит?

— Вы лучше себя назовите.

— Простите великодушно, я действительно рассеян, — наговорил всякой всячины, а до сих пор не отрекомендовался. Со мной это случается. Вы не слышали, Арсений Ильич, будто в Англии изобрели пилюли для укрепления памяти? Но пока-то к нам дойдет прогресс, да и пилюли придется доставлять пироскафами — ведь у нас, российских подданных, память слаба, ох, слаба.

Я почувствовал, что сей визитер в отличном фраке с завитым локоном на лбу заговорит меня до обморока. Он без умолку тараторил о каком-то ксендзе Телесфории Гржегоржевском, иконах строгановского

письма, греках — и тут меня осенила догадка. Я вскочил с кресла и подошел к нему.

— Сударь, вы вовсе не тот, за кого себя выдаете. Вы не врач — вы сумасшедший!

— Вы так считаете? — Он, кажется, нисколько не удивился. — Право, мне жаль вас разочаровывать, любезный Арсений Ильич, вы даже не представляете, как жаль. Хотя я временами страдаю провалом памяти, не помню, например, Гомеровы гексаметры. Да подскажите же! Вам дурно? Я сейчас позвоню, велю принести брусничной воды или оршаду. — Он и впрямь дернул шнурок. — Эй, принеси барину питья.

— Онисим, квасу с хреном.

— Вы в Первом кадетском корпусе учились по «Сокращенной Библиотеке» Железнякова, но все-таки должны знать бессмертную поэму. А ведь в былые времена ваш корпус взрастил людей образованнейших; даже среди тех, кто злоумышлял переворот четырнадцатого декабря, немало оказалось ваших; конечно же, вы никого из них не знали — они выпусками старше, хотя среди преступников один был вам известен. Или я путаю? Да пусть его, мы-то рассуждаем о Гомере. Ах, у вас и сочинения Жуковского в шкафу? Что за чудесное издание! Ну-ка, где у нас тут Гомер, вот я прочту вам занятное место, всего несколько строк.

Незнакомец взял том, с треском пролистал, так что от золотого обреза у меня зарябило в глазах. Мне почудилось, что я уже где-то видел этого незнамого визитера или кого-то, очень похожего на него, что весь этот безумный разговор когда-то уже происходил, кто-то меня уже спрашивал, не я ли выдал Рылеева, Краснокутского, Аврамова... Но ведь они действительно выпусками старше, я не мог их знать.

Визитер, кажется, нашел то, что искал, даже обрадовался, и с чувством прочитал:

Я обратился к нему с обольстительно-сладкою речью:

— Славное имя мое ты, циклоп, любопытствуешь сведать,  
С тем, чтоб, меня угостив, и обычный мне сделать подарок?  
Я называюсь Никто; мне такое название дали  
Мать и отец, и товарищи все так меня величают.

Нечем стало дышать.

— Арсений Ильич, вам не следует быть таким



впечатлительным. Посмотрите на себя: глаза горят, весь дрожите. Ну, можно ли так терзать себя из-за пустяков.

— Да кто вы, черт вас подери?!

— Кто я? — Визитер, казалось, безумно обрадовался моему вопросу, он откинулся на спинку кресла и захохотал.— Да неужели вы до сих пор не догадались? Я — *Кто*. Улавливаете игру слов? Нет, вы не цените сей шутки, вот морской министр князь Александр Сергеевич Меншиков — тот оценил бы, большой знаток по части всяческих словечек. Помните его шутку о графе Киселеве? Нет, не московском вице-губернаторе, а о брате его Павле Дмитриевиче, министре государственных имуществ. Когда встал разговор, кого послать для разорения немирных аулов в Дагестане, князь Меншиков резонно предложил: «Что ж, надо послать Киселева, он разорил всех государственных крестьян России, так ему нипочем разорить несколько аулов». Но между нами, Арсений Ильич, я считаю односторонним общее мнение, будто управление государственных имуществ разорило крестьян. Тьфу ты, опять увлек вас черт-те куда! Хоть бы пилюль английских выписать. Ведь собирался сказать вам серьезное, да князь Меншиков перебежал дорогу. А, вспомнил! Вы, милостивый государь, пятнадцать лет кряду подписывали донесения в Третье отделение ловким псевдонимом *Никто*, а вот теперь явился *Кто*. Вы помните, что ответил зверонравный циклоп хитроумному Одиссею?

— Знай же, *Никто*, мой любезный, что будешь ты самый последний  
Съеден, когда я разделаюсь с прочими,— вот мой подарок.

Вот и я уготовил вам маленький подарок, отрекомендовавшись *Кто*. Леонтий Васильевич Дубельт высоко оценил вашу скромность и остроумие. Он так и сказал мне: «Этот ловкий господин *Никто* живописал отменную картину тайных обществ, решив остаться неизвестным. Надобно непременно разыскать сего непризнанного Брюллова». Леонтий Васильевич мне прямо велел: майор, хоть из-под земли сыщи мне нашего живописца, его следует вознаградить за усердие; поезжай, любезный, и передай этому *Никто* мою

совершенную уверенность в его несомненном таланте. В этом пакете, усерднейший Арсений Ильич, ровно три тысячи, в чем и прошу дать мне расписку. Не угодно ли вам взять перо?

— Подите вон, подлец!

— Ну, вот уж и подлеца мне ни за что. Вы положительно решили заклеить позором все мое семейство.

— Из вашего подлого семейства я вижу только вас, и то с меня довольно.

— И опять вы ошибаетесь, и, заметьте, уже не первый раз в нашем разговоре. Вам только кажется, что вы меня видите впервые, у вас вообще чрезвычайно развито воображение в ущерб логическому наблюдению,— должно быть, вы мало изучали философию. Но об философии мы при случае поговорим, о Канте, Фихте, Шеллинге, непременно о Чаадаеве, а сейчас вспомните-ка тысяча восемьсот тридцать седьмой год: он памятен всей России по смерти великих поэтов наших — Пушкина и Дмитриева, а нам с вами более мелкими обстоятельствами. Тогда по распоряжению Московского губернского правления над именем статского советника Гааза была учреждена посредническая комиссия для платежа долгов, составивших сто пятьдесят шесть тысяч семьсот рублей ассигнациями частным лицам и двадцать две тысячи — Московскому опекунскому совету. Надеюсь, теперь вы вспомнили? Именно мой бедный отец убедил Гааза за несколько лет перед этим поместить свой капитал в торговый оборот и завести суконную фабрику в Рождественке Серпуховского уезда. Выписали из Англии лучшие ткацкие машины... Да ведь вы были там.

— Я был в Тишках.

— В имении Федора Петровича? Чудесный там ландшафт! Теперь сие поместье прикупил кто-то из Аксаковых. А мануфактура в Рождественке по прошествии пяти лет расстроилась, хотя сукна выработывались отменные, из шерсти киргизских овец. Мой отец вложил в суконную фабрику весь капитал — пятьдесят тысяч, и все потерял, и даже те несколько тысяч пудов шерсти, приобретенные на свой счет доброжелателями доктора Гааза, не спасли от банкротства несчастных фабрикантов. Припоминаете, Арсе-

ний Ильич? А теперь потрудитесь припомнить гостиницу Шевалдышева — мы с маменькой квартировали в номерах постоянно. Там чудесная кондитерская; отец, наезжая из Рождественки, имел обыкновение угощать меня засахаренными физалисами, как сейчас помню их дивный аромат. Я очень любил сидеть за столиком возле углового окна и смотреть, как от гостиницы отправляются в Петербург дилижансы — запряженные четверней, с огромными красными колесами; вот проводник убрал лесенку, затрубил в медный рожок, кучер с высоких козел свирепо закричал: «пошел!», и чудесный дилижанс трогается в путь. Ах, как манило меня путешествие. И вдруг — вы! Не знаю, искали вы встречи с моим отцом или все произошло непреднамеренно... В тот день отец последний раз угощал меня сладостями. Он хмуро смотрел в окно, потом вдруг рассмеялся, лихо покрутил усы и подмигнул мне: «Portons gaiment, portons gaiment l'as de carreau»<sup>1</sup> L'as de carreau — это «бубновый туз», так солдаты Бонапарта называли ранец. И когда отец весело напевал старую солдатскую песню, вы преградили ему путь и, громко объявив: «Сударь, вы подлец!» — дали пощечину. Конечно, вы не обратили внимания на мальчика в синей бархатной курточке, который мыл в раковинке руки, но он, этот мальчик, был оглушен пощечиной и на всю жизнь запомнил слезы в глазах отца.

Вы искали в моем отце нечистого на руку подлека, разорившего доктора Гааза, и возомнили себя правым на отмщение. О, тогда вы были влюблены в Федора Петровича, в его филантропию, вы тенью следовали за ним по тюрьмам, собирали пожертвования для арестантов, метали громы в Тюремном комитете.

Увы, мой бедный отец не мог послать вам вызов — он не был дворянином. Сын лионского ткача, он сам ткал на станке отличный бархат, потом сменил уток на саблю, решив с императором покорить Россию, но и этого им, как известно, не удалось. Обмороженный, еле живой, он был согрет милосердием русской женщины, которую я имею счастье звать матерью. Да, мой отец возомнил себя великим финансистом, как

---

<sup>1</sup> Носим весело, носим весело ранец! (франц.)

вы себя — великим патриотом, но, право же, первое заблуждение извинительней.

Знаете ли вы, сударь, что значит лишиться состояния, честного имени, низвергнуться на дно человеческого существования? Представляете ли вы, что значит угол в почлежке госпожи Сухопрудской? Моя мать снимала гнилую комнату в подвале, делила на аршины и каждое аршинное местечко сдавала внаем. Все норовят занять место у окна, поэтому каждое окно, наполовину вросшее в землю, делят на три семейства: самый низ освещает живущих под ним: средняя щель достается живущим на полатях; а над полатами сколочены нары — там тоже живут.

Мы жили в этой трущобе почти шесть лет, со сбродом хуже преступников. Нет слов об воздухе этих трущоб!

Незнакомец подошел к камину, долго стоял лицом к огню, некоторые слова я не расслышал.

— Мой отец скончался в этой трущобе на руках Федора Петровича... примиренный с ним. А рассказал я сию одиссею единственно... что даже разбойники устрашились ограбить доктора... а вы дерзнули стащить с него не шубу, но имя, почитаемое ныне как бы святым, изобразив его в доносах бунтовщиком против законопорядка, чуть ли не социалистом. Поэтому, сударь, примите мое совершенное уверение... — незнакомец обернулся лицом и сделал два шага ко мне, — в том, что вы подлец! Подлец, каких и среди подлецов не сразу сыщешь. Что касается сатисфакции, то я к вашим услугам. О, не беспокойтесь! Заслуги мои перед правительством доставили мне звание дворянина. Вот моя карточка. В Москве я буду весь октябрь. Вы найдете меня в отеле «Англия».

— Буду иметь честь прислать вам завтра секунданта.

— Да-с, расписка... Славный у вас почерк. Вы сами должны понимать — бескорыстное осведомительство внушает подозрение. Кто дает, тот и берет. Генерал-лейтенант Дубельт, по поручению которого я здесь, велел вам наказать: отныне все ваше усердие должно обратить на отставного ротмистра Петра Яковлевича Чаадаева и лиц, пользующихся его особым расположением. Донесения можете подписывать прежним именем, коли вы уж такой любитель Гомера.

ровых песен, адресовать же статскому советнику Матвею Степановичу Хотинскому — он тоже большой писатель и вам знаком. Теперь все-с. Исполняйте все предписания доктора Больца и не забудьте про икону святого Феодора Тирона, а то у вас во всем доме ни одного образа. А вам много молиться надо, Арсений Ильич!

## 6

Не взяв с секретера крохотный кусочек атласного картона, я в лорнет прочитал изящные буквы: «Евгений Арманович Лёредорер». И фамилия-то водевильная.

Складывая и раскладывая лорнет, я ходил взад-вперед по кабинету, поймав себя на мысли, что считаю шаги: от гардин, занавесивших окно, до двери в гостиную вышло ровно двенадцать.

Отомкнув ящик секретера, достал пистолет с обломанным курком (все собирался отдать оружейнику, да не собрался) и прицелился в бронзовый веночек на дверной филенке — он отчетливо виднелся на кончике ствола.

— Онисим! — Он обмертвел, увидя пистолет, нацеленный ему в лоб. — А ведь стоит убить тебя, подлеца! Экую развел пылищу. Протри клавикорд, носи свечи и чарку ерофеича.

Пальцы легли на костяные клавиши, сразу припомнив марш из «Волшебной флейты». Алябьев хоть и написал продолжение — «Волшебный барабан», да балеты его никуда не годны, вот романсы хороши. Ах, молодость! Бывало, на ассамблее кто-нибудь напоем мотив из «Флейты» — все вскакивали, кто плясал, кто скакал, кто пел, а когда мотив кончался, брали бокалы и вилки как ни в чем не бывало.

А пальцы вспоминали, вспоминали... Ноктюрны Джона Филда... Когда-то весь Петербург был без ума от гармоний этого ирландца. Чем привлекла его Россия, зачем променял он туманы Альбиона на петербургские? А что привело в Москву Гааза? Взамен любимого Генделя почти полвека внимал он звону кандалов, а ведь он сам отменный музыкант; правда, мы и тут разнились с ним — мне по душе клавикорд,

звук его чист и нежен, с душевным вибрато, но Гаазу нужно было фортепиано, его мощь, он даже пьесы князя Одоевского исполнял с такой силой, словно Генделеву мессу. Как-то князь заметил: «Федор Петрович, вы из первых пианистов на Москве». — «Нет, Владимир Федорович, я из первых роялистов», — засмеялся Гааз.

Разве плохо было бы ему давать фортепианные спектакли, исторгая у публики слезы и аплодисменты: стать теологом или юристом, как его братья, или почтенным провизором, как его отец?

О, труд провизора — это умение, терпение и аккуратность, он для людей добропорядочных, несуетливых, твердо знающих, чего они хотят и ныне, и присно. Торжественный золотистый сумрак, запах валерианы, анисовых капель, мяты, шкафы из мореного дуба, хрустальные флаконы для снадобий, белые фарфоровые бочонки с мазями, фаянсовые мисочки, тяжелые медные ступки, разноцветные сигнатурки, со шкафов взирают мраморные бюсты Эскулапа, Аристотеля, Галена — все это я видел в доме Гааза-отца, когда под нежный звон колокольчика толкнул дверь двухэтажного углового домика на Вертерштрассе.

В Мюнстерайфель я ехал из Брюсселя — через Льеж, Аахен и Кёльн. А уж от Кёльна рукой подать до Мюнстерайфеля. Крепкая почтовая карета, запряженная тройкой сытых лошадей, домчала меня до городских ворот всего за полтора часа. Спросив адрес, я неспешно шел, отвечая на вежливые «гутен таги», по мощеной Вертерштрассе, такой узкой, что, встав посреди мостовой, мог коснуться разведенными руками домов по обе стороны. А мелкую речушку Эрфт, пожалуй, перепрыгнул бы, да где ж тут разбежаться русскому.

Аптеку я сразу узнал по витрине с малиновым и оранжевым стеклянными шарами. Не успел ударить молотком в дверь, как из окна второго этажа высунулась старушка в треугольном чепце, всплеснула руками: «О, майн готт, герр Пустошин!» — так я вновь встретил фрау Вильгельмину, сестру Федора Петровича. Она, кажется, так и не выучила ни слова порусски, хотя прожила в Москве много лет. Весь обед фрау Вильгельмина говорила о брате, не забывая подкладывать в мою тарелку клецки.

— Умирая, матушка просила меня, если я не выйду замуж, позаботиться о брате. И я поехала в эту ужасную Москву. Хотя Фрицхен жил в огромном доме, но я нашла его в ужасном состоянии, он носил то же платье, которое привез из Вены. При мне он всегда был одет прилично, сыт, в доме был порядок. Но у Петера — это наш младший брат — умерла жена, и малышки остались сиротами. Конечно, я поехала. А вернувшись через два года в Москву, застала Фрица нищим; он потерял все: прекрасный дом на Кузнецком мосту, имение, фабрику. О, вы не представляете тот страшный день, когда происходило заседание Опекунского совета. Оно длилось девять часов! Вы же знаете, какие деньги в фабрику вложили друзья Фрица: профессор Рейс, профессор Поль. Они потеряли семьдесят тысяч, и только уважение к брату удержало их от требования выплатить долг. У него не осталось ни геллера. Я жила в каком-то чулане и беспрестанно плакала, штопая чулки Фрицхена. Он же совсем ребенок, до сих пор верит в сказки и всем их рассказывает. Мне казалось, я умру в этой страшной Москве. Простите меня, герр Пустошин, но я ненавижу русских, — они неблагодарные, злые, они сделали Фрица нищим, а он всегда заступает за них, даже преступники ему дороже братьев и сестер... — Фрау Вильгельмина заплакала. — Это ужасная страна, ужасные люди! Вы же не знаете... Когда Фрица назначили штатд-физиком, его судили!

Я знал эту глупейшую историю... В двадцать пятом году Федора Петровича вновь призвали на государственную службу, назначив штатд-физиком, по своей должности он отвечал за снабжение всей русской армии медикаментами. Жалованье тысяча пятьсот рублей да семьсот пятьдесят квартирных — сумма немалая, можно сказать, капитал, но Федор Петрович отказался от денег в пользу семьи своего предшественника, плута Цемша, отданного под суд за воровство, — мол, дети мошенника не виноваты, что их папаша на руку нечист, им надобно кушать. Конечно, сия филантропия не могла остаться незамеченной, инспектор Медицинской конторы Добронравов дал ход рапорту (я сам его читал), что «доктор Гааз находится не в здравом душевном состоянии». Действительно, кто же в здравом уме откажется от жало-

ванья?! Но князь Голицын взял сторону Гааза, а Совет Министров, рассмотрев жалобу, сделал Доброправову строгий выговор с предупреждением впредь кляуз не писать. Этого было довольно, чтоб все медицинские чиновники возненавидели нового штатд-физика,—бесконечными склоками, кляузами, жалобами они не только запутали все дело, но обвинили Гааза в преступном превышении сметы на перестройку не то аптеки, не то склада с ревенем. Хотя Федор Петрович возместил перерасход из своих средств, судебное разбирательство длилось девятнадцать лет. Но фрау Вильгельмина ошиблась — ее брата не осудили, наоборот, признали невиновным, справедливость восторжествовала.

За два дня, проведенные в Мюнстерайфеле, я переназнакомился со всей родней доктора Гааза, его однокашником по гимназии иезуитов советником Хагеном и даже был зван на обед к бургомистру Зейберлиху. Все горожане показались мне набожными и добропорядочными. Да что горожане! Я ни разу не слышал, чтоб в Мюнстерайфеле залаяла собака или, боже упаси, зарычала на прохожего, я даже подумал, что здешние собаки пьют пиво и ходят в кирху. Всем этим Гаазам, Хагенам, Зейберлихам Россия представлялась столь же загадочной и необитаемой, как недавно открытая планета Нептун,—кажется, они со дня на день ожидали прочесть в газетах, что русские съели их бедного Фрица, как дикари путешественника Кука.

Прямо от заставы, пересев на лихача, я поспешил в Полицейскую больницу, к Федору Петровичу. Пустив с торгов громадный угловой дом на Кузнецком мосту, Гааз далее проживал в Гусятниковском переулке, в доме Башилова, но с сорок четвертого года, когда его усилиями устроилась наконец Полицейская больница, перебрался на постоянное жительство сюда, заняв две комнатки в конце коридора второго этажа. Поднимаясь по чугунной лестнице, я иногда слышал ноктюрн Филда и бывал растроган до слез прекрасными звуками: стоя у приоткрытой двери, видел за роялем тучную фигуру в неизменном рыжем фраке, панталонах до колен. Кабинет с двумя окнами, возле одного телескоп на треноге — для обзоре-



ния ночных светил, в простенке — стол с мраморным бюстом Сократа, работа скульптора Рамазанова; в правом углу икона святого Феодора Тирона с горящей лампадой, на противоположной стене, над диваном, картина Ван Дейка «Богоматерь с младенцем», подаренная кем-то из откупщиков; печь да рукомойник с фаянсовым тазом — вот и весь кабинет; одна дверь вела в спальню, другая в коридор.

Я постучал. Федор Петрович открыл — и я увидел руки, поверх манжет закованные в кандалы, парик сбился с седой головы, по нездоровому отечному лицу бежал пот.

— Голубчик Арсений Ильич, не пугайтесь! Я решил пройти от Воробьевых гор до Богородска, ведь там первый этап арестантов после Москвы. Я вот иду по полу, в тепле, а им в грязь, снег... Ведь кандалы очень тяжелые и цепь коротка, сбивает кожу до крови, а я сделал новые, гайки обшил сукном, чтоб рукам теплее. Голубчик, вот вы состоите при графе Арсении Андреевиче, и он любит вас, так скажите ему, что нельзя мучить несчастных, пусть велит ковать всех пересыльных в мои кандалы — они легче на четыре фунта и удобнее. Я не хочу, не могу поверить, что можно сознательно и хладнокровно причинять людям страдания, заставляющие пережить тысячу смертей до наступления настоящей. Устал. А ведь им идти пять тысяч верст!

Поспешив утешить несчастного старика, я достал из саквояжа письмо и дюжину батистовых платков, переданных фрау Вильгельминой. Глаза Федора Петровича наполнились слезами, он горячо сжал мою руку.

— О, мерси, мерси! Они так несчастны! — Он не мог допустить, что сестра заботится об нем, а не о каторжных. — Ах, как вы меня обрадовали, голубчик! Вот вам за это удивительная книжка «Вечность прошла, а мы о ней не думаем», непременно прочтите.

— Коли вечность прошла, так и нечего о ней думать.

— О, не говорите так, это ужасное заблуждение. Я ведь тоже был молод, как вы, и, верно, по сей день вел бы дурную жизнь, если бы не случай. Будучи назначен по предписанию светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына для прекращения эпиде-

мической болезни в Московском тюремном замке, имел я случай посетить Бутырки. Первое, что я увидел в камере, был человек в железном ошейнике, прикованный на цепь, как раб, как собака. Не могу выразить вам, что стало со мной. Я зарыдал, вся моя жизнь увиделась мне страшным злодейством, ведь я и прежде видел кандалников, бредущих к Рогожской заставе, подавал им серебро, но хоть бы раз подумал: кто они, за что и кем осуждены идти тысячи верст к Ледовитому океану? Да ведь любой ученый европеец, проделав тот же путь в медвежьей шубе, на тройке с фельдъегерем, встреченный на каждой станции обедом с шампанским, снискал бы себе славу нового Колумба! А тут шли тысячи, прикованные к железному пруту, и живые влачили мертвых до ближайшего этапа, и ни одно христианское сердце не встало на пути: стойте, ведь это братья наши! Я был на войне, видел, как убивают, калечат, но тюрьмы страшнее. Посещение Бутырского замка имело во мне столь сильное впечатление, что не могу вам выразить, голубчик. Тот день, перевернувший всю мою жизнь, запечатлен в моей душе еще и годом, столь памятным России,— двадцать пятым.

Что я знал о Гаазе? О, можно не сомневаться, по более других — и по короткому знакомству с ним, и по особому влечению. Этот питомец Геттингена и Иены получил основательную практику у лучшего офтальмолога Европы венского хирурга Шмидта, удачно оперировал старого князя Репнина-Волконского, плененного при Аустерлице, после чего князь пригласил его в Москву, обещая славу и богатство. 30 января 1806 Бонапарт освобождает князя, а через месяц следом за ним едет... тогда еще не Федор Петрович, а Фридрих-Йозеф Гааз, двадцатипятилетний доктор медицины. В ночь отъезда он пишет дядюшке: «*Alea jacta est!*!» — «Жребий брошен!» Каково? Новоявленный Цезарь переходит свой Рубикон с тысячько гульденов и занимает место домашнего врача княгини Репниной-Волконской, оговорив право частной практики. Успехи оказались столь велики, что императрица Мария Федоровна пожелала назначить Гааза главным врачом Павловской больницы; всего два года он в России, не выучился русскому, а

впрямь и славен, и богат, и святой Владимир в петлице — орден, весьма редкостный среди иностранцев, дающий право на русское дворянство. Итак, уже не Гааз, а фон Гааз! Так, хотя и на французский манер — де Гааз — он надписал свое имя на книге, подробно повествующей о двух путешествиях на Кавказ, где Федор Петрович капитально исследовал минеральные воды, открыл новые источники. Кажется, все экземпляры книги погибли в огне московского пожара, но мне посчастливилось получить от самого автора роскошный том в шелковом переплете с золотым тиснением, напечатанный изумительным шрифтом, таким же ясным, как французский язык книги. Вот сей фолиант, вот надпись: «Милый Арсений Ильич, не осуждайте в людях заблуждения, и вы будете счастливым человеком».

Нет, он не был юродивым или комическим добряком из пьесы XVIII века, где это вы наблюдали блаженных с хирургическим ножом, в фартуке, забрызганном кровью оперируемых? В Отечественную войну Гааз был призван на военную службу — штатным врачом в артиллерию (кажется, он оперировал раненого князя Багратиона), дошел от Смоленска до Парижа. «Прежде бывшая гордая столица, а ныне перед нами как лисица», — шутил в те победные дни мой батюшка и писал брату, чтоб по его приезде сварили щи — «Я, проголодавшись, браво поем, ах славно!» Да бог рассудил иначе... Батюшка скончался от ран, в полевом госпитале в Мо. А Гааз, взяв отпуск, поспешил в Мюнстерайфель, словно гонимый предчувствием — это свойство сильно проявлялось в Федоре Петровиче. Его отец, городской аптекарь, умирал, и вот в последние часы пред ним вдруг предстал старший сын, его Фрицхен! Исполнив сыновний долг, простившись с матерью, сестрами и братьями, Гааз вернулся — теперь уж навсегда — в Москву.

Конечно, не мне судить чужое счастье, но вряд ли жизнь Федора Петровича была когда-нибудь после так благополучна, как в послевоенные десять лет: обширная практика, его пациенты — Голицыны, Шереметьевы, Безбородко, Ростопчины, на его руках умер незабвенный наш стихотворец Иван Иванович Дмитриев; Гааз богат — громадный дом с прислугой, имение в Тишках, суконная фабрика, карета, запряжен-

ная четверней белых лошадей! Богат и холост, но не одинок, его хозяйство вела сестра Вильгельмина. Я понимаю, каково было видеть несчастной женщине, как состояние ее брата — состояние огромное! — было разорено всего за несколько лет, последовавших за 1829 годом, когда Гааз стал директором Попечительного комитета о тюрьмах и главным врачом Московских тюрем. Иногда мне приходит на ум нелепая мысль: Федор Петрович словно нарочно спешил растратить капитал на нужды арестантов, покупку кандалов, бандажей, портянок, конфет, душеполезных книжек, он словно хотел стать таким же нищим, как его несчастные. И стал им очень скоро. Пиши суровый Данте свою «Божественную комедию» теперь, он избрал бы своим провожатым в аду не Вергилия, а Федора Петровича — кто ж зорче его видел всю бездну страданий, выпавших на долю человека; кажется, вся ссыльная Россия прошла перед ним, звеня кандалами, провожаемая им с Воробьевых гор до Рогожской заставы, где начиналась Владимирка. Тюремь, тюремные больницы, этапы — изо дня в день шел он сюда, добровольно заточив себя в узилище, но, ежедневно наблюдая горе и страдания, он был счастливее всех записных счастливых, ибо никогда его поступки не противоречили его вере и убеждениям. Он добился отмены бесчеловечного «прута», обриту ссыльных, собрал средства для выкупа семидесяти четырех крепостных, внес в комитет сто сорок два предложения о пересмотре дел, помиловании и смягчении наказаний, устроил для заключенных больницы, церкви, школы, мастерские, он утешил, выслушал, поцеловал каждого из двухсот тысяч пересыльных, которые за четверть века прошли через Москву.

Обычно Федор Петрович вставал в шесть утра, пил настой смородинового листа, немного читал, потом принимал больных, сам составлял лекарства, в двенадцать часов начинал работу в Полицейской больнице, потом шел в городскую тюрьму, в пересыльную. Обед его составляла та же пища, что у больных, если же Федор Петрович обедал в гостях, набивал карманы конфетами и фруктами — для несчастных. Отобедав, навещал знакомых, непременно за кого-то хлопоча, бывал в присутствиях, а вернувшись

домой, в свою Газовку, писал письма, прошения, записки — прежде всего в комитет, иногда в Петербург, в Общество попечения о тюрьмах и даже государю; если же его прошения на высочайшее имя вдруг оставались безответными, он писал прусскому королю Фридриху, описывая ужасное положение российских арестантов, дабы король уведомил свою сестру — российскую императрицу. Иногда, уже поздно ночью, доктор откладывал перо и одиноко гулял по комнате, устремляя взгляд на звездное небо; он любил смотреть в телескоп, — идущий во тьме земного ада, он нуждался в небесном свете, свете вечном.

Помню, как я был ошеломлен, впервые увидев в телескоп звездное зимнее небо: сияющую бездну, горный хор светил; я словно всю жизнь брел во тьме и вдруг прозрел, я даже предположить не мог такую... такое ледяное одиночество, безысходную затерянность человека в мироздании. Какую же надежду видел Федор Петрович там, где я почувствовал лишь безнадежность, сиротство рода человеческого? Однажды я прямо спросил его об этом. Сейчас трудно припомнить в точности его ответ, но смысл был таков: мы такие же звезды; люди для людей могут быть только целью, но никогда — средством. Ответ показался мне маловразумительным, при чем здесь цель, какие средства?..

За почти полувековую жизнь в Первопрестольной рыжий парик Федора Петровича, его кружевное жабо, панталоны и башмаки с пряжками стали для москвичей такой же отличительной приметой, как лысина Чаадаева и хомяковская борода, очки Вяземского и сигара хирурга Гильдебрандта — единственного на Москве, кому высочайшим соизволением разрешалось курить на улице. Но что об этих приметных лицах знали даже в версте от Рогожской заставы, не говоря уж об Оренбурге, Иркутске, Тобольске? А Гааза благословляла вся каторжная Русь! Убийцы и грабители, бунтовщики-поляки, раскольники, евреи, крепостные, казаки-некрасовцы, беглые солдаты, узники долговой ямы — все видели в нем как бы нового Спасителя. Знаю сие не понаслышке, а сам читал сотни писем, обращенных к милосердию Федора Петровича, как к последней надежде в земной юдоли.

Шарль Фурье делил все страсти, направляющие

поступки людей, на двенадцать разрядов. Помимо них, он выделил особую, тринадцатую страсть — гармонизм; люди, наделенные ею, не способны мириться с тем, что признано всеми, они во что бы то ни стало стремятся согласовать свое счастье со счастьем всего человеческого рода. Сия утрированная нравственность или страсть, считал Фурье, в высшей степени присуща реформаторам, подвижникам, революционерам. Гааз, безусловно, был человеком *тринадцатой страсти*.

Сейчас, сравнивая его жизнь с моею, я ищу... пусть не оправдания своей жалкой участи, но хотя бы смысла. Неужели я, русский дворянин Арсений Пустошин, меньше люблю Россию? Да, я люблю ее, как всякий русский, досадуя на наш народный гимн «авось, небось да как-нибудь», презирая наше невежество и лень, нежелание выделаться в цивилизованную нацию. Но что же я любил в моем Отечестве? Ради чего, не колеблясь, положил бы живот свой? Да! Я отдал бы жизнь ради того, чтобы в России навсегда перевелись такие подлецы, как я. Уверяю вас, цель немалая.

7

...На заседании Тюремного комитета мне предстояло сделать обширное сообщение о тюремном конгрессе в Брюсселе, куда я был послан на средства комитета. Заседание назначили в покоях митрополита Филарета на Чудовском подворье.

Я не только успел к началу заседания, но, прибыв, не застал перед крыльцом ни одного экипажа. На парадной лестнице, крытой красным сукном, мне встретился молодой Арсеньев, украдкой, по-студенчески куривший сигарку. С недавних пор настоящим Гааза его назначили ходатаем по делам арестантов, и мы часто виделись то у генерал-губернатора, то в комитете.

— Рад вас видеть, Арсений Ильич! А я уж подумал, кто-то из скуфейников, тут прямо черно от них. Скажите, зачем владыка позволяет, чтоб все эти сельские попки, ополоумев от страха, вползали к нему на четвереньках? Он же видел, как мне мерзко

это мелкое тиранство... Посмотреть — так старичок с реденькой бородкой, в старом подряснике, в опорышах на босу ногу, а мнит себя Юпитером-громовержцем. Зачем ему это?

— Зачем? А вот мы сейчас спросим господина Гааза, он давно знает митрополита. Ваше превосходительство, мы тут с Ильей Александровичем сошлись во мнении, что манеры владыки пристали более генералу, нежели пастырю.

Федор Петрович посмотрел на нас.

— Вы, голубчики, должно быть, знаете, какую надпись велел сделать на обеденном столе блаженный Августин? «Кто любит в разговорах затрагивать доброе имя отсутствующих, пусть знает, что доступ к этому столу ему воспрещен». Если человек, даже наиболее достойный любви, забывал сей совет, хозяин говорил ему: или мы сотрем это изречение, или я удалюсь в свою комнату.

Арсеньев хотел, кажется, возразить Гаазу, но разговор наш был прерван прибытием губернатора Сениявина и сенатора Штерна. Вскоре уж все были в сборе, ждали только графа Закревского. Наконец вошел и он, почтительно уступив председательское кресло нахмуренному Филарету. Владыко так испытующе посмотрел на меня, что я невольно растерялся, — уж не слышал ли он наш разговор с Арсеньевым?

Мое сообщение выслушали внимательно, хотя, как я заметил, у некоторых директоров комитета оно вызвало неудовольствие, зато вице-президент Сергей Михайлович Голицын обрадовался как ребенок, узнав, что французские пенетещиарии прозывают себя «тружениками тюремных виноградников». Князь тут же велел секретарю Карепину записать эти слова на особой бирюзовой бумаге с его монограммой.

— А как же на конгрессе судили об одиночном заточении, — оторвавшись от бумаги, спросил Петр Андреевич Карепин, — что нового устроено в цивилизованных государствах после трудов Бентама, Беккариа и Джона Говарда? Я слышал, в Гамбурге изобретен способ искоренить преступность вовсе; говорят, будто оный способ удивительно прост: надобно прежде всего принять все меры по поддержанию морали и политики.

— Мысль старая, все это говорено тысячу раз, да

где же новый способ? — пробасил городской голова Илья Афанасьевич Щекин.

— Да вот же, господа! Преступление обычно совершается плетсом, а значит, прежде всего надо истребить нищету, ведь нищета, особенно соединенная с невежеством и стеснением свободы, и создает все многообразие пороков. Желательно, чтобы десять — двенадцать самых именитых и богатых людей посвятили себя общественному благу, взяв на себя попечение о бедных в каждой части города. Уверен, и у нас сыщутся благотворители наподобие шталмейстера Федора Васильевича Самарина или почетного гражданина Рахманова, посвятивших капитал одной добродетели.

— Это все нам известно, господин Карепин, да где же способ? — повторил Щекин. — Я вот, считай, лет десять состою попечителем Якиманской части, но так и не превзошел все деления, подразделения, подразделения вверенной мне нищеты. Убожество человеческое сиречь наука мудреная, в ней столько извилин и узлов, что не с моей головой понять сию науку, тут требуется опытность на разбор сердец.

Выступление секретаря Карепина вызвало раздражение генерал-губернатора Закревского.

— Наслышан я, милоч, о самаринском капитале и рахмановских щах да кашах, и считаю оную заботу о преступниках вредной как для самих благотворителей, так и для черни. Почему в моем Ивановском мужики премного довольны? — граф Закревский встал, прижав шпагу к бедру. Левая рука его, пухлая, обращенная ладонью вверх, походила на благословение, и слова он растягивал, словно читая акафист. — Отчего мои мужики цвет лица имеют здоровый, избы добрые, одежду приличную? Чем достиг я благополучия своих людей? Сие достигнуто тем, что за нерадение и пьянство строго взыскиваю. Кабаков не допускаю. Праздность не милую. Излишняя свобода производит в умах своеволие. Своеволие — пьянство и обнищание, а сии оные есть корень разврата в поступках. Кого эти брюссельские филантропы собрались благодетельствовать? Злодеев! От кого? От закона! Неужто, если у меня две тыщи душ, так я, человек во мнениях старосветский, не имею воли упечь разбойника в Сибирь? Нет-с, господа гол-



ландцы, упекал и буду упекать! Сек на конюшне и сечь буду!

— Вы, князь, в сердцах мечете в нас свои перуны,— немощным голосом успокоил некоторый ропот заседания митрополит.— Что ж до новых веяний, которые с задором, извинительным неопытностью, представил нам ваш чиновник господин Пустошин, то следует поблагодарить его, памятуя, конечно, что в европейских столицах много для Первопрестольной неготового и даже мечтательного. Помнится, хотели и в Петербурге у Лигова канала устроить замок, подобный Пентонвильскому, да отложили. Помнишь ли, Степан Петрович?

— Да что тут длинно говорить,— встрепенулся сенатор Жихарев.— Все мы прогрессисты хоть куда, да только не в ту сторону. По мне, тюрьма она и есть тюрьма, хоть деревянная, хоть мраморная, круглая она или квадратная, сидеть ли одному или с другими,— в чем тут разница? Пушкину и камер-юнкерский мундир был не лучше арестантского халата.

Заметив, как побагровело лицо графа Закревского, секретарь Карепин зачистил: «Господа, господа! Да господа же!..» А я при словах Степана Петровича Жихарева вспомнил знакомство на конгрессе с американским квакером преподобным Джеймсом Финлеем. Слова его привели меня в смятение: «Если бы всех нас заставили жить по-тюремному на протяжении двух-трех поколений, мир в конце концов стал бы лучше. Если же общество действительно хочет уничтожить преступления и преступников, оно должно уничтожить различие между большими и маленькими людьми».

Представляю, какой фурор произвели б сии слова на Тюремный комитет! Конечно, я благоразумно оставил их при себе. Но меня удивило молчание Гааза,— ведь я знал, как решительно выступал он против одиночных тюрем, называя их не иначе как изощренным мучительством.

Потом слушали казначея Розенштрауха, лютеранского пастора,— о счетах по ремонту Старой Екатерининской больницы, о сорока пяти рублях, уплаченных Гаазом за бандажии для арестантов, страдающих грыжею.

— Комитет не считает себя обязанным взять этот

расход на себя, предоставляя господину Гаазу самому изыскать средства.

Казначей поддержал председатель хозяйственного комитета тайный советник Небольсин:

— Так как господин Гааз своими действиями нарушил параграфы правил...

— Простите, ваше превосходительство, что решаюсь вас остановить, но какие действия я должен раздуметь?

— Повторяю: так как господин Гааз своими действиями...

Федор Петрович решительно встал с кресла.

— Если господин Небольсин полагает себя вправе изъясняться оскорбительными намеками, я не могу остаться.

Я видел, как доктор Поль украдкой дергал Федора Петровича за фалду и что-то шептал ему. Гааз сел. Небольсин, поправив под жилетом анненскую ленту, продолжал:

— Не правда ли, господин Карепин, что были случаи, когда господин Гааз отступал от правил?

— Были, были,—с неприличной поспешностью поддакнул секретарь,—особенно по сметам на ремонт больниц.

Как ни тянул Поль своего друга за фалды, Федор Петрович встал.

— Сметы суть самые ловкие вещи на свете, была бы только возможность ими пользоваться. Ставя смету превыше заботы об арестантах, господа Небольсин и Карепин до основания расстроили управление тюремных больниц, сделавшись причиною неимоверного беспорядка, от коего страждут больные. Если бы я в точности соблюдал смету при перестройке северного коридора Бутырок, наш комитет получил бы квасную, в которой нельзя делать квас, ибо в ней нет русской печки; получил бы кухню, в которой нельзя варить пищу для разночинцев; комнаты в первом строении остались бы без вентиляторов; наружные двери без ступенек для входа; чердаки без лестниц, а комната для малолетних арестантов вовсе без двери, ибо печник, склавши печь более половины, перелез при мне через оную и спрашивал, где ему выйти, когда он докладает печь доверху.

Всем присутствующим здесь известно, что госпо-

дин Розенштраух окончил прошлый год переделки в пересыльной тюрьме, представив на прошлом заседании шестьсот рублей прибавления — смету, не составленную архитекторами, не утвержденную закононо, но она в комитете прошла. Я тоже одобрил сии траты. Но почему же ко мне такое отношение?

— Да вы не желаете сообщать комитету копии со смет,— с обидой сказал Небольсин.— Например, на поставку съестных припасов в больницы. Можно ли оправдать сей поступок?

Гааз достал платок, но вместе с ним разом выпала целая дюжина батистовых платков. Цынский захохотал, но митрополит сурово посмотрел на генерала. Я собрал с пола платки, подал Гаазу.

— Я понимаю, что моя неловкость... не только с носовыми платками, может возбудить смех, но недостойно сомневаться, что мои чувства всегда были согласны с высокими целями комитета, что в искреннем желании служить добру я не уступаю господам Розенштрауху, Небольсину, Карепину. Я отвергаю всякий посторонний повод, который может бросить тень на мои действия члена Тюремного комитета и с сим предаю его анафеме!

— Федор Петрович, не заблуждайтесь на путях своих,— тихо, но всем слышно указал митрополит.— Если кто из нас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.

— Простите, владыко, но дабы в тюрьмах прочно основалось благочестие и правосудие, а не токмо наказание, необходимо нужно, чтобы члены Тюремного комитета имели попечительство за пищу и одежду несчастных, за обувь и помещениями, за лечением, заковыванием; рассмотрением их жалоб — за всеми обстоятельствами, кои отягчают сердца заключенных.

— Этак, господин Гааз, вы дождетесь того, что вас вовсе перестанут приглашать в комитет,— вмешался генерал Цынский.

— Тогда, господин обер-полицмейстер, я сам приду — хотя бы для того, чтоб спросить вас, как начальника московской полиции: почему мы с губернским стряпчим Ровинским нашли в Басманной части семь подвальных темниц, куда не проникает луч све-

та, где люди слепли, и между ними почетный гражданин Сопов. Почему чины полиции, производящие следствия об раскольниках, берут взятки? Почему не получил я ответ на одиннадцать прошений об узниках, содержащихся безвинно в Бутырском замке?

— С прошениями вам надобно обратиться в комиссию прошений, буде находите их основательными.

— Владыко, нахожу ли я их основательными? Непременно нахожу! Более основательными даже, чем то, круга Земля или квадратна, обращается вокруг Солнца или установлена неподвижно,— ибо душа выше географии. А душа страдающая важнее всего прочего. Вспомним то место из Евангелия, где слепец сидел на дороге, а господь Иисус проходил мимо. Не видно, чтоб слепой призывал его или просил об исцелении, не было причин останавливаться, не было нужды действовать, но господь остановился и сказал: *мне подобает делати*. Почему так? Потому что благость побуждает, а человеколюбие требует, потому что доброе дело, которое можно сделать в нынешний день и в теперешний час, не должно отлагать до другого часа. Христос сострадал всем несчастным, а нам для добрых дел нужно распоряжение на гербовой бумаге, с печатью, исходящим номером и подписью. Отчего мы так мягки душой в храме божьем, но так жестокосердны за воротами его?

— Федор Петрович, вы с нами как с малыми детьми,— улыбнулся сенатор Штерн.— Всё про несчастных, невинных, но у нас ведь не Германия, порядочных людей по тюрьмам не держат, а если вы уж так добры, как стараетесь нам внушить, то и нас, Христа ради, пожалейте,— давно пора за другой стол перейти, подкрепить силы.

— Ваше превосходительство, наш комитет собирается не часто: летом и весной раз в месяц, зимой и осенью еще реже. Если б мы так торопились делать добро, как спешим к обеду!

— Я к тому напомнил о времени в такой шуточной форме, что вопрос вам задан самый безобидный: находите ли вы свои прошения основательными? Ответьте, и дело с концом, ей-богу, мы ведь не язычники, а вы не миссионер, чтоб обращать нас в христианство.

— Да, я нахожу свои прошения весьма основательными, иначе не утруждал бы комитет, тем паче не осмелился бы доводить их до государя императора, как было в случае с казаком-некрасовцем Орловым. Известно, что в турецкую кампанию сии казаки содействовали русским войскам при форсировании Дуная, государь за воинские заслуги разрешил особым манифестом вернуться казакам в Россию, обещав, что они не будут подвергнуты никаким взысканиям. Как же исполнило государев манифест Губернское правление? Вместо того чтобы привести в подданство Орлова, пожелавшего поселиться в Калуге, его заковали в кандалы и отправили через Москву во Владимирскую губернию, по месту рождения. Только благодаря хлопотам комитетского ходатая господина Арсеньева и господина Пустошина Егора Орлова освободили. А ныне к прежним прошениям я присовокупляю ходатайство за прибывших в пересыльную тюрьму трех беспоповцев из посада Дебрянка; двое из них, Иван Щекочихин и Егор Воронин, назначены в арестантские роты в Оренбург без всякого суда, лишь произволом полтавского генерал-губернатора князя Долгорукова.

— Они злодеи хуже душегубов,— возвысил голос митрополит.— Даже убийца находит на дне души смирение, они же в злобе лютой не согласны присоединиться к единоверческой церкви. По делам вору и мука!

— Истинное мое убеждение, что люди сии находятся в неведении, посему не следует их упорство почитать злобой.

Разгневанный неуступчивостью доктора, да еще в делах веры, Филарет отпихнул служку и сам встал из кресла.

— Да что вы, Федор Петрович, все говорите об этих негодях? Если кто попал в темницу, то проку в нем быть не может. Если подвергнут каре— значит, есть за ним вина!

— Да вы о Христе забыли, владыко!— вскричал Гааз.

Все, даже граф Закревский, обмерли от страха— таких слов архипастырю не дерзал говорить никто. Все опустили глаза, боясь взглянуть на митрополита.

Мертвая тишина стояла в зале, лишь в тяжелых подсвечниках потрескивали фитили свечей.

— Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я Христа позабыл — Христос меня оставил. Простите, бога ради...

Филарет благословил всех и, склонив седую голову в черной скуфье, вышел из зала.

После того случая мне многое открылось в докторе — словно сверкнула молния, на миг ослепительно высветив такое, чего я в людях никогда не предполагал: человек не только первородно грешен, но первородно свят. Когда Филарет, тяжело ступая, шел к двери, я украдкой взглянул на Федора Петровича: рябое лицо его было в поту, парик сбился набок, он тяжело дышал, но в этом грубом лице был свет. Свет и мука за те сто тысяч человек, которые ежегодно томились в российских тюрьмах; за то, что в Богородском полуэтапе не устроено порядочных ретирад; за то, что в Тамбовском арестантском доме белье не мыто с прошлого столетия.

## 8

Ровно в восемь часов я занял свое место в приемной генерал-губернатора. Дождь лил, не переставая, со вчерашнего, окна сочились сыростью, люстры еще не зажигали, только в порфириновых канделябрах горели свечи. Срочных бумаг не было, депеш из Петербурга тоже, можно не беспокоить его высокопревосходительство.

Граф вставал обыкновенно в пять утра и прохаживался по залам верхнего этажа. На нем был тогда зеленый шелковый халат, правую руку он держал за пазухой. Я, явившись на дежурство, всегда заставлял его гуляющим. Потом он отправлялся в свою уборную, где камердинер, престарелый Фаддей Иванович, ожидал с нагретыми щипцами, чтобы завить ему единственную прядь волос. Эта прядь начиналась от затылка, загибалась вверх на маковку; завитая кольцом, она должна была символизировать прическу совершенно обнаженного черепа. Князь Четвертинский в шутку однажды заметил мне: «А знаете, почему Арсений Андреевич так благоволит к Чадаеву? Да потому, что тот единственный в Москве, пред кем у нашего графа преимущество волос».

На этом все сходство и кончалось. Закревский был пухл, а Чаадаев худ, высок, всегда безукоризненно одет. Он довольно часто бывал у генерал-губернатора, и граф принимал его запросто, как давнего знакомого; эта их приязнь казалась мне необъяснимой, ибо если уж наружности их далеко разошлись, то об образе мыслей нечего и говорить — воззрений, более противоположных, в природе человеческой вообще не существует; кому другому достаточно лишь заикнуться по крестьянскому вопросу, чтоб нажить себе в графе врага, а Чаадаев мог говорить при нем об любых материях.

Задумавшись, я незаметно для себя чертил бумагу итальянским карандашом. В это время кто-то подошел сзади и положил руку на плечо, — я сразу узнал эту пухлую руку и обмер от стыда, только теперь увидя, что мой карандаш изобразил два лысых профиля — Закревского и Чаадаева. Но граф ласково сказал: «Ничего, ничего, рисуй мои карикатуры».

В протяжении дня он не раз подходил ко мне, заглядывая через плечо.

— А что, запасся карандашами — рисовать мои портреты? Пустошин, да изобрази хоть ты меня не извергом. Молчи, сам знаю! Меня обвиняют в суровости по управлению Москвой, но никто не знает инструкции, которые мне дал император Николай. Государь снабдил меня бланками за своей подписью, я же возвратил ему их, не использовав ни одного, а мог ведь, ох, как мог употребить данную мне государем власть, ведь за Москвою нужен глаз да глаз, тут аулы и засады почище, чем в Чечне. Вот ты мне скажи, Пустошин, отчего Хомяков носит бороду? А вот пошлю к нему квартального да велю обрить!

— Простите, ваше высокопревосходительство, но Алексей Степанович дворянин...

— А ежели ты дворянин, так и наружность имей дворянскую, а не мужичью. Ты думаешь, я не знаю, зачем ему борода? Знаю! Борода на лице дворянина есть не что иное, как протест против существующего правительственного строя. Шалишь, брат, Закревского не проведешь! А что князь Петр Кириллыч жаловался? Мне давеча Аграфена Федоровна говорила, да я в толк не взял.

— Я этого дела не знаю, может, Четвертинский знает.

Адъютант графа князь Четвертинский знал: оказалось, Петр Кириллович, поиздержавшись на танцорках, заложил бриллианты жены ростовщику Эйхелю.

— Ах, шельма! Тащи этого мошенника ко мне!

Закревский ушел, а мы с Четвертинским так хохотали, что в приемную вбежали Николай Филиппович Павлов и письмоводитель Лукашин.

— Эх, мне бы миллионы этого Эйхеля, уж я бы распорядился! — раз мечтался Четвертинский. — В Париж! Стрелой! А что, Пустошин, закатимся ужинать в «Дрезден», я угощаю, оттуда к мадам Лопухиной — душу тратить! Возьмем жандармов...

— Их-то зачем? — удивился Павлов.

— Всем морды бить! Один такой умница, я его сейчас послал за Эйхелем, спрашивает: «Ваш-ство, а верно, что книги печатать немец изобрел?» Верно, Иоганн Губенберг, ему и памятник поставлен в Майнце. Да тебе на что? «А позволили бы, ваше-ство, плюнуть ему в рожу, чтоб не придумывал!» Вот ведь какое простодушие скотское!

Хотели обсудить анекдот князя, да посетители явились, черт бы их подрал — три господина в вицмундирах с красными воротниками, при шпагах и треуголках, у самого толстого лицо перекошено апоплексическим ударом, у второго рябое, как перепелиное яйцо, у третьего и вовсе рожа.

— Соболаговолите доложить графу.

— Граф занят.

— Мы члены Сиротского суда!

— Граф занят.

Но тут дверь распахнулась, вышел граф.

— Где ваш мошенник? А это что за фигуры? А, господа грабители сирот! И ты здесь, дурак? Я-то считал тебя умнее этих мерзавцев.

— Ваше сиятельство, позвольте всеподданнейше заметить, что я коллежский советник...

— Как я тебе в пузо-то дам коллежского советника! Я тебе, прохвост, такую коллегия покажу! Пустошин, гони прочь воров! Четвертинский, хватай их! Ах, каналы, сирот грабить!..

С превеликим удовольствием мы вытолкали вза-



шей «виц-мундиры». Тут уж и Павлов хохотал до слез.

— Ведь эти члены Сиротского суда будто из «Женехов» Гоголя. Помню, как Николай Васильич читал свою комедию у Дмитриева... неподражаемо!

Лукашин, как всегда, тут же свернул на излюбленную тему похорон.

— Да-с, внушительные похороны имел господин Гоголь, а ведь чин пустяшный — титулярный советник.

— Чин пустяшный, да звание — писатель. Ведь такого шествия Москва наша не знала. Никто не мог представить, что хоронят писателя, одни уверяли, что умер главный писарь при Университете — не тот, который переписывает, а который знает, к кому как писать: и к государю, и к генералу... ко всем.

— Николай Филиппович, да зачем он писал про ничтожное, с какой стати сор, так сказать, на всю Европу вынес?

— Хорша же будет изба, если из нее сор не выносить!

— Но как же совместить? — не отступал письмоводитель. — Вот сами граф Арсений Андреевич за гробом шли в Андреевской ленте, сенаторы, тайные советники, а за преступное письмо Белинского к господину Гоголю судили Петрушевского какого-то. Как же-с?

— Не Петрушевского, а Петрашевского, я знаю об этом от секретаря Тюремного комитета Петра Андреевича Карепина, шурина литератора Достоевского — он-то, Достоевский, и читал письмо, за что был приговорен к расстрелу. Кажется, тому уж три или четыре года. А сейчас многие желают издать сочинения Белинского, дабы изыскать его дочери средства к существованию. Я сам дал четвертной.

— Я тоже вношу, Николай Филиппович. — Я достал из сафьянового портмоне две красненьких.

— Господа, а я дарю мадемуазель Белинской деревню в сорок душ!

Мы с Павловым бросились поздравлять Четвертинского, но тут от графа принесли тетрадь в красном кожаном переплете: «Его высокопревосходительство повелели изобразить их портрет». Я раскрыл тетрадь — на первой странице рукой графа было на-

писано «Подарил граф Воронцов», далее следовали краткие записи, судя по всему, дневник времен войны, самый конец ее, уж после взятия Парижа. Три строчки привлекли мое внимание:

«1815 г., 12 августа, Париж. Государь учил полк Прусского Короля.

16-го. Государь учил 2 кирасирскую дивизию подле деревни Буаси.

26-го, в Вертю. Государь учил всю армию».

Отыскав чистый лист, я со всем тщанием воспроизвел профиль графа, поставил собственную подпись и число — октябрь 3 дня, 1853. На сем мое дежурство кончилось, я сел в экипаж и велел везти себя в палату Гражданского суда, оттуда в Управу благочиния, потом к квартальному Яузской части. Всюду пришлось дать в соответствии с чином, но я спешил закончить дело разом.

Квартальный сломал печать на двери и впустил меня в квартиру Гааза. Обе комнаты замусорены обрывками бумаг, мебель сдвинута с мест, на подоконнике зачем-то стакан с водой, воздух спертый.

Икона висела в спальне, лампада перед образом погасла. Я отодвинул штору, желая отворить окно, но уж вставили зимние рамы. Стекла в окнах мутные, как сквозь дождь виден дикий сад с прудом, на мостках прачки полощут больничное белье, громко хлопая мокрыми простынями, дворник сгребал листву в кучу, солдат-инвалид лениво переругивался с ломовым извозчиком, заехавшим в ворота.

Теперь я вспомнил, когда последний раз видел Федора Петровича, — прошлой осенью. Вот так же, как сегодня, мы о чем-то болтали в приемной графа, и вдруг письмоводитель Лукашин, стоявший у окна, стал делать нам знаки.

— Господа, господа, скорее, полюбуйтесь на сумасшедшего Гааза! Он утром приходил с бумагами, да я его нарочно послал в канцелярию обер-полицейстера да хожалого туда подпустил, чтоб из канцелярии старого дурака адресовали в губернское правление. Пусть прогуляется под дождичком, да ножками, ножками.

Когда Федор Петрович вошел, на нем нитки сухой не было, с шинели текла вода, я уговаривал его

обсушиться возле печки, но он спешил в больницу. Еле уговорил обождать, пока жандарм сбегает за извозчиком.

Вечером того же дня я возвращался из ресторации Шевалье, где покутили с Четвертинским и Абамелеком. Как и сейчас, смеркалось, фонарщики зажигали фонари, но от них сделалось еще сумрачней, а может, так казалось из-за дождя. Хотя я выпил изрядно, но осанистую фигуру в шинели и фуражке узнал сразу: Гааз о чем-то спорил с извозчиком, а тут и мой экипаж угодил в такую рытвину, что я чудом не вывалился наземь. Свет фонарей едва мерцал, внизу была пятая стихия, то есть грязь по ступицу, сверху обдавал дождь и холодный жидкий ветер.

Пока мой кучер вызволял возок, Федор Петрович ругался с извозчиком или, напротив, тот с ним.

— Э, нет, ваше благородие, за так вокруг фонарного столба можно прокатить, а в Газовскую меньше полтинника никак невозможно. Кобылке овса надо, а мне калачик.

— Да ты езжай, голубчик, я на месте разочтусь с тобой.

— Мне зачем? Я найду барина при деньгах, а уж вы за так пешочком дойдете.

— Да что ж ты такой сердитый, разве я обману тебя?

Я отворил дверцу, чтоб сдернуть подлеца-извозчика за ворот кафтана, да отчего-то расхотел встречаться с Федором Петровичем. А он, потоптавшись в луже, пошел прочь. Но извозчик нарочно ехал за ним, обдавая грязью, и хохотал: «На кошке тебя катать, а не на савраске!» Гааз уж бежал, неуклюже выбрасывая сапоги, придерживая рукой фуражку и низко пригнувшись, словно подлец нахлестывал не клячу, а его.

Вскоре моя карета обогнала Федора Петровича... Почему же я не велел Онисиму остановиться, не посадил промокшего старика рядом с собой? Не могу объяснить. Вопросы задавать легко, а вот что отвечать? Да и кто, черт подери, дал вам право меня допрашивать! А вы никого не предавали, да? Вы чистенькие?

Квартальный погрел ключами. Я торопливо отер пот со лба, встал на стул, снял икону, поискал бума-

гу на завертку, но на полу валялся один мусор,— так и вышел, прижав образ к груди, едва не слетев с чугунной лестницы.

Дома я рассмотрел икону. Более всего прекрасны были в святом Феодоре глаза,— светилось в них восторженное благородство, присущее лишь юношам, и вместе с тем упорная решимость воина. Нежная темно-русая бородка чуть курчавилась, синий плащ скреплен пряжкой на правом плече.

Федор Петрович что-то рассказывал о нем: жил он или служил в малоазийском городке, проповедовал Христа пред товарищами по оружию, сжег капище богини Цибелы. «Тирон» по-гречески «сторож». Но почему Сторож, почему не Феодор Воин? Страж Христовой веры? Или не захотел сторожить в темнице врагов, быть сторожем брату своему, за что и сам после бичевания принял в 306 году мученическую смерть.

Икона была без оклада и оттого более напоминала портрет. Копоть от лампы придавала лику святого... нет, не могу определить впечатление,— такое я замечал только у самых малых детей, делающих первые шаги, нечаянно отпустив нянькино платье: и страх, и беззащитность, и восторг. Неужели и я когда-то испытывал такие чувства? Наверное, когда была жива маменька, еще до Кадетского корпуса,— там уж не до нежностей, там совсем другая музыка — не скрипочка, а труба да барабан.

В молодости я знал на память много пьес и музицировал изрядно, но лучшим музыкантом из наших Танцоров был, конечно, Федоров — прослушав всего раз новую оперу, в тот же вечер после спектакля он играл на фортепиано целые сцены. В квартире, которую мы со Скарятиним снимали, в складчину купили рояль, и он постоянно пленял наш слух новейшими произведениями Одоевского, Алябьева, Глинки.

Квартира наша располагалась как раз против Театрального училища, через канал, так что мы могли видеть учениц в бинокль. Потом Хотинский достал где-то медный телескоп, в который мы по ночам наблюдали небесные светила и даже возили телескоп в театр, для чего брали ложу, где устанавливали наш инструмент.

Не знаю почему, но жандармское ведомство не ог-

раничилось присылкой в наше Общество Хотинского, двух ящиков шампанского и телескопа. Желание узнать нас покорооче изъявил Павел Иванович Миллер — секретарь Бенкендорфа, племянник начальника 2-го округа московского корпуса жандармов генерал-лейтенанта Волкова. В те годы Миллер был молодым, вполне приличным человеком. Мы все с ним сблизились, даже звали его на наши ассамблеи.

Для ассамблей чаще собирались у нас со Скарятиним. Председательское кресло занимал Федоров, справа — секретарь Циргольд, по левую руку — протодьякон Мундт, все прочие сидели на стульях с прорезными сердечками на спинках. Мундт провозглашал многолетие нашим избранницам: танцовщице Савиновой многая лета! А мы хором поем трижды: многая лета!.. После многолетий архимандрит Федоров возглашает: директору Санкт-Петербургских театров Александру Михайловичу Геденову—анафема! А мы хором: анафема! анафема! анафема! Министру двора князю Петру Михайловичу Волконскому — анафема! И так подряд перебирали всех чиновников, которые нам неприятны.

После многолетия и анафем откупоривали бутылки, палили трубки и веселились до зари. Прекрасно исполнял пародии на оперы певец Самойлов, памятный публике по роли Рембо в «Роберте». Он так привык к одной пародии, что однажды вместо «В земле Нормандии счастливой» грянул «В Геденоландии паршивой». Скандал! Самойлов готов провалиться сквозь сцену, а мы в креслах помираем со смеху. Неизвестно, как обошелся бы конфуз, но тут с падуги на сцену упала огромная крыса и убилась до смерти. Самойлов побледнел, актрисы визжат, оркестр играет, наконец, пришел квартальный и швырнул дохлую тварь за кулисы, после чего Самойлов спел арию как должно.

Три года я был членом Общества, потом объявился иной интерес, и я перестал посещать ассамблеи, да и другие остепенились: кто женился, кто взял на содержание... От той прекрасной поры у меня осталась любовь к музыке и холостяцкой жизни. Только раз музыка уступила другой любви — к милой, драгоценной Полине Прокофьевне.

Как она тогда сказала? «Отныне, Арсений Ильич,

вы в бельэтаже моего сердца». И маленькая ладонь горела в моей руке, когда мы кубарем скатились с санок в сугроб и лежали под сенью волшебной серебристой ели, горячей лампонами. Чудо как хороша была Полина Прокофьевна в тот миг, ожидая моей поданной руки, а кажется, и сердца. В беседке гремела музыка, мчались сани, а мы, укрытые елью, сделались невидимы для всех, как в третьем ярусе Александринки, в бездонном бархатном сумраке, куда не достают бесцеремонные лорнеты.

Поленька, ангельчик! Каким forte отозвалась моя душа на ваше нежное прикосновение! И когда кони рванули примерзший возок, увозя вас, я стоял, не видя никого, даже погрозившую мне графиню; обернувшись к Арсению Андреевичу, она спросила его нарочно громко, чтоб я слышал: «Друг мой, ты не знаешь, кто похитил сердце твоего Ринальдо Ринальдини?»

После сего блаженства можно ли ехать на блины с шампанским? Только бы сберечь эту дрожь горячих пальцев, трепетных, как пойманная пеночка! Я, старый холостяк, был счастлив. Даже будочники в серо-желтых казакинах, с допотопными алебардами казались мне милы, любезно было горланить в ответ на их сиплое «кто идет?» славное российское словечко «обыватель». От желтой луны и мерцающего снега было светло; все вокруг бело; глаза отдыхают от иллюминации, шинелей, шуб, румяных лиц, блестящих глаз, сотен зажженных свечей. Все прочь! Пусть угаснут краски, пусть смолкнут гобои, фаготы и виолы,— и зазвучит любимый клавикорд с вишневою, потрескавшейся от времени полировкой. Ах, есть действительно две вещи в целом мире, ради которых достойно жить: любовь и музыка.

На Большом Каменном мосту снег валил густо, прохожих я различал смутно, они возникали из снегопада и тут же терялись в нем, словно спеша из одной белой двери в другую. Ноги ступали мягко, не подворачиваясь на булыжнике; я радовался снегу, хотя он досаждал, налипая на ресницы, щекоча губы.

На самом горбу моста я едва не столкнулся с пьяным стариком, приняв его за фонарный столб. На нем тощая шинелишка, редкие встрепанные волосы заиндевели, отчего испитое мертвецкое лицо показало-

лось ужасным, как на картинах Сальватора Розы. Единственная пуговица с орлом качалась на нитке.

— Д... д... ваш.... родие, д.... д.... фуражку.

Пропойца взял меня за локоть. Это прикосновение ледяных рук вызвало во мне брезгливое отвращение; после душистых розовых пальчиков Полины Прокофьевны меня смеет касаться это чудовище?! И жуткая стукотня зубов, от коей у меня мурашки высыпали по спине.

— Ах, ты, ракалия, футлярный советник! Небось пропилил, так еще и врать! А вот я сейчас крикну будочника...

Решительно отойдя прочь, я заметил шагах в пяти от него полуразорванную бобровую фуражку, вдавленную в снег полозом саней. Встряхнул от снега и в ту же минуту услышал далеко внизу булькнувший всплеск. Старика нигде не было, даже пуговицы не осталось. Под мостом, на зелено-синем льду, змеившемся поземкой, прорубью чернел пролом.

Не помню, сколько стоял я, оглушенный этим всплеском... Нет, кажется, я шел или бежал, все еще держа чужую фуражку. У схода моста, размахнувшись, я швырнул ее на лед и безнадежно закричал: «Мерзавец!»

Да как же не мерзавец?! Он, может, всю жизнь мою испоганил, заклятье на нее положил.

Сватовство мое к Полине Прокофьевне как-то само собой расстроилось, потом холера напала на Москву, потом... и сам не знаю, что потом. Деревенька моя пошла с торгов — под влиянием Гааза и я возмнил себя спасителем несчастных, залез в долги, тратя серебро на сапоги, подвертки, одеяла для арестантов, на устройство школы при Бутырском замке. Не знаю, принесло ли сие пользу хоть на грош, но я понес одни убытки. Остался лишь флигелек на Козихе, камердинер, повар и лакей, он же кучер, — вот и вся дворня, три души по ревизской сказке. Я с улыбкой вспомнил письмо, полученное от тети на прошлой неделе, где она предлагала за три тыщи уступить своего повара, особым его преимуществом считая, что тот учился у кухмистера Лунина, а до того «четыре года

овладевал у князя Бибарсова». Ах, та tante, да мнесто не ресторацию открывать, а рассольник с рубцом сумеет сготовить и мой Степан. Нечего сказать, кстати тетушкино письмоцо! И деньги как раз объявились, именно три тысячи, словно генерал Дубельт загодя был извещен о тетушкином письме. Неужто честь дворянина и кулинарное умение стоят одинаково? Недорого же, ваше высокопревосходительство Леонтий Васильевич, вы оценили мое имя... А впрочем, пара пистолетов еще дешевле, уж она жизнь мою рассудит. Интересно, какие заслуги пред правительством успел стяжать сей ваш посланец? Умение читать чужие письма или натаскан вынюхивать издания, тайно отпечатанные в Лондоне и Женеве? Что ж, стезя влекущая, знаю по себе. Прежде всего, сам процесс, конспирация, тайна — есть в этом и упоение, и вдохновение. Там словцо неосторожное, там каламбур, записочка, откровенность дружеская — а ты каллиграфией своей вписываешь имярека в Книгу Судеб, и смотришь — привел в движение шестерни государственного механизма, видишь, как ложится стежок, а то и петелька... И не какая-нибудь мелкая сошка, а статский генерал ни с того ни с сего отчего-то вздрагивает, озирается... Да, приманчивое занятие, азартное.

Так что заслуги такого рода, майор, отчасти мне известны, а вот поглядим, каков ты храбрец на двенадцати шагах. Представляю, как будет шокирован князь Четвертинский! Ах, как он хохотал, когда у Шевалье кто-то рассказал, как граф Бенкендорф спрашивал у государя инструкцию для Третьего отделения! Государь подал графу платок: «Вот тебе моя инструкция. Чем больше утрешь им слез вдов и сирот, тем лучше исполнишь мою волю».

Да, все тогда хохотали, и я, хотя у меня в горле встал комок. Те, кто презирал жандармов, казались себе не только людьми в высшей степени порядочными, но чуть не Брутами. Полно, господа! Кто из вас осмелится не поклониться Бенкендорфу или Дубельту? Что поклониться?! Многие из вас были б счастливы своих жен положить к ним в постель,— известны и такие случаи, известны-с.

Стреляться с «голубым» вне ваших правил? Что ж, простите несчастного Арсения Пустошина. А я вот



завтра метну жребий. Дуэль жандарма и доносчика — чем не российский водевиль? Ей-богу, господа!

Я решительно взял пакет с тремя тысячами, с хрустом посыпался сургуч.

## 9

Выехав переулками к Мясницкой, велел остановить карету у гостиницы «Венеция». Местная ресторация была известна тем, что в ней замечательно плохо кормили, да еще тем, что дом этот принадлежал известному шулеру Нилусу; кажется, у него Павел Воинович Нащокин проиграл сочинителю Павлову все наличные, золотые часы, столовое серебро, любовницу цыганку Оленьку (как же, господа, долг чести!) и карету с лошадьми. Лет пять назад, когда я поступил на службу к графу Закревскому, я имел случай объявить Нилусу повеление генерал-губернатора о высылке его из Москвы за картежную игру. Он был заключен в Петропавловскую крепость и, хотя пользовался услугами своего повара, умер очень быстро. Но московские картежники сыскали другое место — это я знал точно.

В ресторане я занял столик у окна. Скатерть, по крайней мере, была свежая и свечи не сальные. Подлетел официант.

— Приятно рады видеть ваше превосходительство в нашей ресторации. Прикажете сами распорядиться или позволите мне доложить?

— Докладывай!

— У нас сегодня дежурит уха из налимов с печенкой, холодный поросеночек. На второе можно подать куропатку в горшочке. Десерт — пломбир и гурьевская каша. Из напитков что желаете?

— Водки.

— Известно-с, душа требует. Графинчик большой или маленький? С маленького начнем-с?

Начало и впрямь получилось славным. Я раскурил сигарку, оглядел зал — где-то здесь тайлось еще одно, загаданное мной желанье, но знакомых не замечалось. Их и не должно быть, твердил я, постукивая ножом хрустальный бок графинчика. Два дальних

столика заслонял огромный куст китайской розы в деревянной кадке, но я знал, что и за кустом не то.

Приоткрыв шторы, увидел в краешке окна сад, обнесенный каменной стеной с железной решеткой, в глубине сада заднюю сторону каменного, еще допожарного дома: с фасада он был в два этажа, а с тыла над вторым этажом пристроен нелепый полуэтаж в два окна,— там проживал ростовщик Эйхель. Звон приборов, пиццикато хрустальных фужеров, неоркестрованные голоса раздражали слух, недоставало еще, чтоб подгулявшая компания грянула что-нибудь этакое:

Расстаться должно непременно,  
Мне долг претит с тобою быть.  
Но, ах, любить тебя безмерно —  
Никто не может воспретить!

«Венеция» — пошлое название. Будь я ресторатором, велел бы переименовать во «Флоренцию». Кому из здесь сидящих не известно про каналы, гондолы, Мост Вздохов — но это все обертка от конфетов, пошлость. А Флоренция — город, в целом мире несравненный по красоте ирисов; в мае, когда они начинают цвести, все флорентийские красоты затмевают ирисы — плавные лепестки с волнистыми крыльями, прихотливый изгиб, словно у струй фонтана. Цветок без запаха, но с каким богатством цвета! Вся прелесть в цвете, в тончайших оттенках лепестков от глубоко-сиреневого до розового или от бархатисто-черного до чуть коричневого, а то случаются цветы с золотыми прожилками или крапинками. Чудо как хороши эти радужные переливы одного тона — коричневого, желтого, сиреневого.

— Вы так задумались, Арсений Ильич, что не узнаете старого приятеля.

Передо мной, заложив два пальца в прорезь мундирного сюртука, стоял Скарятин, мой сожитель по петербургской квартире и сочлен по Обществу Танцоров Поневоле.

— Михаил Наумович!

— К черту церемонии, Арсюша, неужто я перестал быть для тебя Мишелем? Человек, шампанского! А у меня, брат, давно намерение сделать банкет да собрать наших. Боже мой, минуло осьмнадцать лет, а

так все живо в памяти! Ты не поверишь, но я с моими офицерами сидел в кабинете и вдруг слышу — из «Волшебной флейты»! Будто на скрипочке, чуть слышно...

— Верно, сей графинчик и есть та скрипка. — Я отбил ножом несколько тактов. — Но ты ведь не мог слышать.

— Клянусь тебе, слышал! Да что ж мы здесь, пойдем в кабинет, к моим гвардейцам, они славные ребята. Полк мой сейчас стоит во Владимире, да вышел приказ куда-то в Крым, послезавтра получу предписание.

— Нет, ты сядь. Ты, Мишель, даже не предполагаешь, как я тебе рад! Встречал ли наших?

— Циргольд умер в холеру. Федоров женат и счастлив. Князь Порюс-Визапурский тоже составил партию и служит по ведомству графа Нессельроде, уж чуть не камергер. Костенька Булгаков, как тебе известно, вышел в отставку из Московского полка.

— А Невахович, издатель славный «Ералаша»?

— Да ты разве не знаешь? Ведь Миша представился в сентябре сорок девятого. Самый младший из нас... Да, Арсюша, в мире все коловратно. Хотинский все смотрит в телескоп, знакомит публику с трудами Гумбольдта и Араго, сочинил что-то вроде «Астрономии для образованных читателей», все так же пьет портвейн и портер. Помнишь, как вы возили в Александринку телескоп? Ах, чертушка ты мой!

— Матвей Степанович, верно, и сейчас по жандармской части?

— Да черта ли нам в нем! Совсем сделался старик, такая рожка премерзкая. Ты лучше о себе — где ты, женился ли, здоров?

— Служу, здоров и холост. Состою по особым поручениям у графа Закревского.

— Ну, приношу тебе соболезнование, он же натуральный эфиоп! Взятся замирать Москву, как будто здесь Кавказ. Ах, брат, лучше бы не выходить тебе из гвардии!

— Это ты, верно, с чужих слов, Мишель. Да, граф бывает вздорен, груб, но доброе имя его драгоценно. Ты где остановился?

— В «Англии».

— Мишель, дай мне слово... если ты мне друг, тотчас идем отсюда. И слушать не хочу! Друг ты мне или не друг?

— Твой вопрос даже оскорбителен. Изволь, я готов, только извинюсь перед офицерами.

Я велел официанту отнести в карету полдюжины шампанского. Мы вышли.

Проклятые колдобины Кривоколенного бросали нас из стороны в сторону, бутылки в корзине дребезжали.

— Ах, Мишель, часто вспоминаю наше житье — славное было время! Помнишь, в Александринке были чудо-ложи — темнота, хоть глаз коли. Смотрю, Андреянова дает мне пантомиму, что завтра после репетиции уйдет со сцены в третий ярус лож...

— Да знал ли ты, что твоя Андреянова на содержании у Гедеонова?

— Нет, позволь, это уж она потом, и понесла от него. Уже на сносях вздумала танцевать в «Роберте», а Ленский, дождавшись, когда бедняжке следует лежать в гробу, на весь театр: «Каков наш генерал — и сущим во гробех живот даровал!» Но я тогда волочился уже за Наташенькой, хотя и Андреянова была прелесть, согласись! Ну, вот, Мишель, приехали. Они-сим, прими шинель! Шампанского в кабинет, трубку живо! Ну, брат, за молодость, за счастье, за наше дружество! Ты только не удивляйся... я прошу тебя быть моим секундантом.

— Ты с ума сошел, Арсюша!

— Пока еще, как видишь, нет.

— Да это глупость, уверяю тебя, — я столько видел на своем веку дуэлей, столько славных людей, из-за пустяка становившихся к барьеру... одна глупость, тщеславие, бравада! Нет, я с тобой натурально соглашусь, когда задета честь, но ведь стреляются бог весть зачем, и объяснить толком не умеют. Это французская храбрость, пустая фанаберия, а русская отвага проверяется в бою.

— Согласен, Мишель, но тут как раз задета моя честь.

Скарятин погладил седеющий вихор, сбил волосок с плеча.

— Кто же твой обидчик?

— А почему ты знаешь, что он меня обидел, а не я

его? Впрочем, все равно. Он тоже снимает номер в «Англии», вот его карточка.

— Евгений Арманович Лёредорер? Я же говорил тебе, что здесь пахнет французской кухней. Un, deux, trois! A la barrière!<sup>1</sup>

— Я обещал сегодня прислать к нему секунданта.

— Да неужто нельзя уладить? Я уверен, между вами произошло недоразумение. У нас в полку...

— Мишель, мои условия: стреляться на двенадцати шагах, на Калужской дороге, в трех верстах от заставы, за кладбищем. Послезавтра утром.

— Помилуй, разве нет другого места, кроме кладбища?

— Не все ль равно?

— Что ж, кладбище так кладбище. Но, коли я твой секундант, то решительно настаиваю на одном выстреле с каждой стороны, иначе уволь.

— Пусть так, Мишель. Тут деньги... Не знаю, каковы в таких случаях расходы.

— Пистолет да пуля — вот и все расходы. Нет, это черт знает что! Семь лет не виделась, и вдруг — дуэль! Как хочешь, Арсюша, а я пью, чтоб она не состоялась.

— Вот недостаток довериться другу. Возьми я в секунданты ненавистника, так был бы спокоен, — уж он бы сделал все без промедления.

Я посмотрел сквозь бокал на канделябр: пузырьки стремились вверх, словно готовясь вырваться и улететь, но превращались в пену, и все-таки... стремились вверх. Не хуже Скарятин я знал всю глупость дуэли, мог бы в союзники ему вызвать «Дух законов» Монтескье: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем...»

И все-таки стремятся вознестись!

— Так ты обещаешь, Мишель? — Я сжал его руку. Он кивнул. — Ну, вот и славно. Налей вина, и прочь заботы.

Я сел за клавикурд и, обернувшись, как дирижер взмахнул рукой — и раз!

---

<sup>1</sup> Раз, два, три! К барьеру (франц.).

Мне рассказывал квартальный,  
Что из школы театральной  
Убежала Кох.  
В это время без Кохицы  
Все за ужином девицы  
Кушали горох.

— А помнишь, как напоили кучера у Гедеонова? Мадерой! «Карету его превосходительства к подъезду!» — а кучер пьян, как свинья! Полчаса кричат, бегают, мы улюлюкаем, а Гедеонов, бестия, вынужден нанять извозчика. Ах, как некстати ты надумал стреляться! Ей-богу, Арсюша, я все улажу с французиком.

— Поздно, брат, занавес поднят, спектакль начался.

## 10

— К вам человек-с господина Чаадаева,— доложил Онисим.

— Что ты несешь, ворона! Должен быть полковник Скарятин.

— Никак-с, барин. Сказал, что человек господина Чаадаева, с запиской.

— Да где ж записка?

— Вот-с.

Уф! Я без сил опустился на подушки и распечатал записку.

«Милостивый государь,  
волеизъявлением г. Газа мне и Адольфу Ивановичу Пако поручено издание рукописи *Problemes de Socrate*. Так как сей манускрипт среди имущества усопшего не обнаружен, я обращаюсь к Вам, коротко знавшему Федора Петровича, в надежде, что Вам известны сведения касательно рукописи. Буду признателен, если Вы сообщите оные письмом или соблагovolите пожаловать в мою каморку в последующий понедельник. Местожительством имею дом Шульца, что на Новой Басманной.

Честь имею быть,  
*Петр Чаадаев*».

— Онисим, подай перо! Да стой, я лучше сам пройду в кабинет. Халат мне.

Как нарочно, очиненного не нашел. Взял новую пач-

ку, перевязанную красной бечевкой, выдернул перо из середины... а не мог писать. В голове вихрь, в сердце буря. Петр Чаадаев! Шутка ли, господа, проснуться с похмелья и получить записку от нашего сфинкса. Да сыщите мне по всей Европе подобного мыслителя, переверните вверх дном все университеты — не сыщите.

О, я наблюдал этот иронический взгляд серо-голубых глаз, отточенную учтивость и этот голый череп, один вид которого наводит на размышления о существах с Марса, и надо быть круглым дураком вроде генерала Перфильева, чтоб доложить о Чаадаеве: «страстей не имеет». Ах, прав был граф Зотов, рекомендуя шить жандармам мундиры горохового цвета, ибо Александр Христофорович одних шутов гороховых набрал. Пусть мне в нашей Первопрестольной, сиречь Некрополисе, как обозвал ее Чаадаев, укажут другого человека с такими страстями. Да, ироничен, холоден, надменен; как шампанское во льду — бутылка ледяная, но как пьянит вино, как шумит в голове от каждого глотка!

Вот тут в портфеле, запертом на ключ, злополучная пятнадцатая книжка «Телескопа» за 1836 год. И статья-то напечатана совсем невинно, между прочим, не сразу углядишь оригинальное название «Философические письма к г-же\*\*\*. Письмо I-е». «Мы с удовольствием извещаем читателей, что имеем дозволение украсить наш журнал и другими из этого ряда писем». Да знал бы ты, издатель Надеждин, что укутут тебя в Усть-Сысольск, так не писал про «удовольствие»!

Там, в портфеле, аккуратно пронумерованы и списки с писем, ходивших по Москве, и *les mots*<sup>1</sup> Чаадаева. Да вот хоть это: «Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития, Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов». А это-с: «В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пуш-

---

<sup>1</sup> Словечки (франц.).

ку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью...»

Тут же, в особом отделении,— услышанное от ледяря Гульковского, штатд-физика Кетчера и прочие прелюбопытные бумаги! Ах, как вы недооценили меня, Леонтий Васильевич! Я ведь не астроном Хотинский — мне и без оптических линз видно то, чего ему никогда не разглядеть. Вы видите во мне фигуру, чья жизнь не вполне удалась... Отчасти так. Но что остается человеку, мыслящему государственно, принимающему к сердцу нужды Отечества? Охранять устои или расшатывать их, а просто жить на свете скучно.

Я видел в Бутырском замке клетку Пугачева, по настоянию Гааза ее замуровали в стену, дабы не смущала арестантов. Железо поржавело, прутья расшатались, сейчас бы не удержала бунтовщика. Но Пугачев — мужицкий царь, Емеля I, а вот когда мужик встанет на дыбы да заревет о конституции, да не о той, которой кричали «ура!» солдаты на Сенатской площади, думая, что так зовут супругу цесаревича Константина, а потребуют подать им европейскую со всеми *liberté, égalité, fraternité*, — тогда, господа, вспомните Арсения Пустошина. Умиляйтесь сермяжным медведем: Мишенька, покажи, как квартальный грозит, как барин трубку курит, — он вам еще не то покажет, дайте срок!

Возможно, в моих охранительных стараниях много дилетантства, но мне, энтузиасту-информатору, простительна наивность, но вам-то, господа голубые, получающим за службу государю жалованье, чины, ордена, — вам-то к чему всякие подходы, игра в правосудие, наивные мечтания?! Были у царя три сына-дурака, и все в свой срок стали царями — вот русская сказка, и не надо умничать, переводить с французского, берите-ка, ваше высокопревосходительство, в лайковые перчатки топор, топорок кровопускательный. Пока не поздно-с! А вы мне: «Донесения адресовать статскому советнику Хотинскому» — дураки! Теперь купите себе дудочку, играйте, а меня от вашей музыки увольте. «Усердие должно обратить на отставного ротмистра Чаадаева...» Да ведь я когда еще обращал! Предупреждал о Чаадаеве! О Гаазе! Какая между ни-



ми связь? Да вот же! Ведь именно Чаадаеву Федор Петрович завещал издать размышления о Сократе, размышления и вам поучительные, господа, хотя бы вот такое: «Самое трудное — идти с народом против власти». Это вам не борода Алексея Степановича Хомякова, тут такая мина подведена под основание, что достаточно искры вроде 14 декабря, и вся империя взлетит на воздух!

Однажды граф Закревский велел мне срочно ехать на Воробьевы горы и доложить, не своевольничает ли при отправке партии «утрированный филантроп» — он только так и называл Федора Петровича.

Помню, был август, жара установилась небывалая. Мы сидели под полотняным навесом: незнакомый мне майор корпуса Внутренней стражи, секретарь губернского правления Шип, штаб-лекарь Гофман и я. В такую духоту даже о политике лень говорить; кто обмахивался фуражкой, кто отгонял мух веткой бузины, один Гааз без усталости сновал по двору, бегал в кухню, то и дело требовал статейные списки, вешал каждому арестанту на шею холщовую сумку со своей книжкой о христианском благочестии. Вдруг слышим: бранится с конвойным офицером. Оказалось, одного арестанта так неловко заковали в ручные кандалы, что кровь течет; Федор Петрович тотчас велит его расковать и отставить от команды, и слушать не хочет, что списки уж составлены. Тогда в спор вмешался лекарь Гофман.

— Господин Гааз, вынужден напомнить вам, что мне доверено свидетельствовать состояние сих арестантов, вы же считаетесь ничем, присутствующим, как прочие дамы и филантропы. Можете раздавать свои конфеты и пирожные, но никоим образом не вмешивайтесь в распоряжения чинов, исправляющих должность.

— Позвольте, господин Гофман, выразить мне в таком случае предчувствие, что если жалобам на оставление ссыльных не будет дано справедливое разъяснение, опять настанет время, когда их вновь станут называть невольниками, как было до закона от двадцать четвертого июля тысяча восемьсот шестнадцатого года, и будут совершать над ними такие действия, при виде коих должно полагать себя более на берегах Сенегальских, нежели Москвы-реки. Как член Тюрем-

ного комитета, я считаю обязанным довести до сведения государя о происшествии с несчастным арестантом.

«Славная картина,— шепнул мне майор,— оба немцы, а как петухи наускаивают друг на друга!» Оглянувшись на нас, Гофман отвел Гааза к острожному забору, дальше они говорили по-немецки, но так как Федор Петрович был туг на ухо, то Гофману волея-неволей приходилось говорить громко.

— Господин Гааз, почему вы так заботитесь об этом русском сброде? Пусть мрут! Чем больше издохнет этих скотов, тем лучше для немцев.

Федор Петрович побагровел. Я испугался, что его хватит удар.

— Я русский дворянин! Вы же не только позорите звание врача, но недостойны называться порядочным человеком в любой стране. Если вы отказываетесь внять моим требованиям, если не трепещете вы государя, то напомню вам о небесном суде, пред которым мы с вами неминуемо предстанем с сими арестантами, и вот он, Петр Степанов, станет волей божьей неумолимым обвинителем нашего жестокосердия.

Как ни храбрился господин штаб-лекарь, но после сих слов велел отставить арестанта от команды.

Наконец команду построили, в который раз пересчитали, Федор Петрович брал из корзины, которую нес за ним кучер Егор, конфеты и апельсины, особенно оделяя женщин и детей, а староста раздавал нитки для починки.

— Ну-ка, голубчик, дай и мне ниток,— вдруг попросил Гааз.

— Тут ровно по счету, ваше превосходительство.

— Все равно подай, голубчик. Да позови ко мне писаря с бумагой. Тебя ведь Тихоном зовут?

— Так точно,— бойко отвечал староста.

— Ну, вот, голубчик Тихон, человек ты грамотный, определен от комитета раздавать арестантам подвертки, лапти и нитки, а посему должен дать подписку комитету в том, что добровольно согласен подвергнуть себя всякому наказанию, если будет замечена в тебе неисправность или неверность.

— Увольте, батюшка Федор Петрович, отродясь бумаг не подписывал, а должность свою несущ исправно.

— Да я не в обиду тебе, братец. Я, как и ты, служу Тюремному комитету и дал подписку, коей подвергаю себя всякому взысканию, если кто сможет доказать, что я совершил неисправность.— Федор Петрович достал из жилета сложенную бумагу.— Почитай, голубчик. Веришь мне теперь? А дал я оную подписку, чтоб никто не сомневался в моей добросовестности. Эти несчастные хотя и осуждены судом, но более других нуждаются в добросердечии; ведь если мы с тобой не преуспеем в том, чтоб все наши действия были основаны на совершенной справедливости, то должно ожидать, что нам будут сказаны слова Спасителя: «Поистине не знаю вас, отыдите от меня все творящие неправду». Ты, голубчик, человек совестливый, посему и должен дать подписку. Вот писарь тебе с моей спишет, а ты внизу поставь сегодняшнее число и свое имя.— Староста кое-как нацарапал имя. Гааз сложил лист вчетверо и положил в жилет.— Вот и славно, Тихон, а теперь дай мне ниток.

Взяв нитки, доктор дергал их — нитки легко рвались. Подняв трость, Гааз ударил старосту по плечу, тот от неожиданности присел, как заяц: «Ваше превосходительство!.. Батюшка!..» Но как ни вертелся, трость настигала его, пока не треснула у набалдашника. Староста убежал за подводы, но Федор Петрович велел ему подойти и стать рядом, перед арестантами.

— Голубчики мои, сейчас на ваших глазах изломал я трость об нечестного человека. Всемиловитейше учрежденный государем императором Тюремный комитет доверил сему прохвосту заботиться об вас одеждой и нитками, но сей нерадивый староста, вместо того чтобы старанием своим помочь вашей нужде, принял от подрядчика гниль. А побил я его, дабы вы уверились, что ни со стороны комитета, ни с моей не бывает никакой умышленной фальши или потачки, и если нитки гнилые, рубахи драные, в том вина одного старосты. Повинись перед народом, голубчик! Да ниже, ниже кланяйся!

«На караул!» — раздалась команда конвойного офицера. Ворота пересыльного замка распахнулись, и партия выступила. Арестанты крестились на церковь; все почти подходило к Федору Петровичу, низко кланялись, и он прощался с каждым. Ему очень нравил-

ся русский обычай троекратного целования; надо сказать, что, несмотря на воспитание у иезуитов, веротерпимость Гааза была исключительной для католика,— выучив русский язык, он вскоре знал все тонкости православной литургии и считал православие сестрой католицизма. Однажды его старинный друг Федор Федорович Рейс даже укорил его: «Если бы папа римский знал ваши убеждения, давно бы отлучил вас от церкви». Не раз видел я его на всенощной в церкви Бутырского замка. Как передать словами восторженное изумление этого рябого лица, свет синих глаз? «Старый ангел»,— назвала его графиня Ростопчина, и лучше не назовешь.

Офицер снял с пуговицы сюртука картуз с табаком, набил трубку, барабан забил поход, и звук сотен цепей слился в один гул.

Без трости Федору Петровичу идти было трудно, и хоть я поддерживал его, он дышал одышливо, отставая все более от команды, но не желая сесть в карету. Скоро и команда стала, пережидая, пока дорогу перейдет стадо коров. Тут же каменщик тесал белый камень для церковной ограды; пот бежал по его загорелому лицу, рубаха и порты в пыли, возле него на расстеленной холстинке стоял ковш с квасом и ломоть ржаного хлеба. Завидев арестантов, каменщик вскочил на босые ноги, схватил ковш и хлеб.

— Пейте, родимые.

— Спаси тебя Христос.

— На здоровье, родимые.

Пастух прогнал коров, арестанты тронулись дальше, а Федор Петрович смотрел, как мастеровой рубит камень. Я окликнул его, предлагая сесть в карету.

— Посмотрите, Арсений Ильич, сколько доброты в этом рабочем! А мне на днях каменотес удивительный постамент сделал для бюста, подаренного Рамазановым, вечность простоят.

— Любите вы, Федор Петрович, повторять: вечность, вечность, да ведь мы не вечны, как же проговорить?

— Нет, нет, я проверял — камень отшлифован удивительно. Голубчик, велите Егору ехать ко мне, сами увидите.

— Нет уж, это вы пожалуйста в мой экипаж, у меня рессоры покойнее.

Когда поднялись в квартирку Гааза на втором этаже Полицейской больницы, он попросил меня переставить бюст Сократа, что я насилу сделал. Да, постамент золотистого гранита был отшлифован дивно, до зеркального блеска.

— Теперь, голубчик, возьмите молоток и хорошенко вдарьте.— Я опешил.— Бейте! Если вечный, не расколется.

Я ударил что есть силы; молоток отдало так, что он вылетел из кулака, а на граните осталась лишь белая отметина,— Федор Петрович засмеялся, поклонявил платок и стер отметину, как пылинку с зеркала.

— Как вы полагаете, Арсений Ильич, Сократ был искусным каменотесом? — Я не ожидал такого вопроса.— А ведь он вдребезги разбил постамент, на котором стояла до него вся философия. Он считал себя не мудрецом, а всего лишь человеком, способным пробуждать в других стремление к истине, помогать им, как акушер помогает роженице (должно быть, это в нем от матери, повитухи Фенареты), но именно Сократа мы должны признать первым философом, ведь он первым был приговорен к смерти за убеждения. Древнее изречение гласит: пока человек найдет истинный путь, он испробует все неправильные пути. За тысячи лет человечество испробовало все ошибки, все заблуждения, даже все преступления; время заблуждений кончилось, и если мы хотим не по названию, а по поступкам нашим быть людьми, надо спешить делать добро.

Занятная история, не правда ли, Леонтий Васильевич? Но где вам ее оценить! Ваша красная цена — три тыщи ассигнациями, а тут душа нужна, талант. Вы хоть комедию «Ревизор» видели? А очень напрасно, она многие пружины русской жизни выпукло обозначает. Ведь в чем корень зла по господину Гоголю? Тупость, лихоимство, взятки, извечная страсть наша к вранью? Не то! А в маленькой пружиночке, с волосок, с комарика, — вот она весь часовой механизм приводит к бою. Ну, занесла нелегкая Хлестакова, наврал, наплел, всех одурачил, рассмешил до слез... А вот подкладывает автор пружиночку: почтмейстер, сукин сын, возьми да распечатай письмо Хлестакова

приятелю Тряпичкину, в Санкт-Петербург — и грянул гром! И ведь что он такое, почтмейстер? «Простодушный до наивности человек», как сообщает автор для господ актеров. И прав, ах прав наш сочинитель! Ведь по простоте у нас все делается: с частных писем крошат сургуч, воруют казну, мошенничают, секут, судят. Нам ведь неинтересно уважать просто человека, нам подавай пределы человеческие!

Ах, Леонтий Васильевич, ваше высокопревосходительство! Вы утешаетесь, что философы живут в теплых странах, где произрастают лимоны и померанцы. А не угодно ли на пятьдесят девятом градусе северной широты, в резко континентальном климате Новой Басманной? Все-таки странная страна Россия: я и Гааз, вы и Чаадаев...

Горячая пена едва не погрузила меня в блаженный сон. Щеки порозовели, пушистые бакенбарды словно погустели. Недурное лицо, особенно нос, в меру длинен и прям, но вот глаза малы, оттого кажутся хитры, зато лоб гладок, без морщин. Сейчас в моде наука Франца Галля — мерить черепа, сравнивать лбы и затылки. Кажется, Третье отделение уж разослало на сей счет тайный циркуляр в губернии. Счастливая мысль! Каторжникам бреют половину головы, а подозрительных в умонастроении следует брить наголо, тогда все тайные враги вмиг станут явными. Нет, я серьезно, господа. А впрочем, ни вы, ни ваш Галль не оригинальны.

Как-то во время полковых учений мне пришлось обсушиться у землемера. Он велел бабе вычистить мою шинель и сапоги и стал потчевать нас с поручиком Чеботаевым чаем с ромом, до которого был, видно, немалый охотник. Чеботаев и раньше у него бывал, а я впервые. Ну, напились чаю, отогрелись, я велел подать шинель. Смотрю, землемер мнетя и поглядывает на меня как-то значительно.

— Вам, может, странно... таво... а я люблю... любопытство, знаете, велико во мне! Я хотел... позвольте вас покорнейше просить об одолжении. Сделайте милость, не откажите!

— Что такое? Рад исполнить, если можно.

— Можно-с, очень можно-с!

— Да что можно-с-то? — спросил я, не зная, что и подумать.

— Извольте видеть... вот что-с. Я очень любопытен, извольте мне измерить у вас рот.

— Как измерить? Что такое?! — Я решил, что землемер опился до горячки.

Чеботаев, натешившись моим нелепым видом, объяснил, что сей естествоиспытатель у всех знакомых измеряет вместимость рта.

— Да как же и чем мерить?

— Водкою,— пояснил землемер.— Вы возьмете воды, сколько уместится во рту, опростаете в эту чашку, а я потом свешаю, сколько золотников. У меня и весы аптекарские.

Тут я захохотал.

— Помилуйте, да зачем вам это?

— Как же-с? Ведь надо знать пределы человеческие.

Вот вам и ответ.

Забыв, что Онисим меня бреет, я прыснул, и мой куафер порезал мне верхнюю губу, перепугавшись больше моего.

— Зарезать меня хочешь, живодер?

— Простите, барин, нечаянно-с.

— Нечаянно-с! Подай воды. Сильнее лей, мыло в глаз попало. Да отчего ты полотенце не согрел, я ведь велел тебе? Вот этот портфель отвезешь на Новую Басманную Петру Яковлевичу Чаадаеву, он квартирует в доме Шульца, передашь в собственные руки и скажешь... нет, я сам напишу, ты все напутаешь.

И всего-то записочка, а долго я ее писал. Ах, как все скверно, дружок, но уж коли назвался груздем, полезай в кузов, не кочевряжься. Я присыпал песком четвертушку листа.

«Милостивый государь Петр Яковлевич,

в портфеле Вы найдете бумаги небезынтересные, к ним же приложен полученный мною в дар от статского советника и кавалера доктора Гааза его трактат *Problèmes de Socraté*. Если когда-нибудь Вы, м. г., сочтете мой визит возможным, я буду почитать себя счастливейшим человеком.

С совершенной преданностью,  
*Арсений Пустошин*».

Да, это единственный выход... Хоть и не люблю комнат с одной дверью, но других дверей в моем случае нет. Господин Кто не оставил мне выбора, а человеку, которому не из чего выбирать, нечего и терять. Видно, не судьба мне нарушить уединение басманного отшельника, другой счастливец прочтет в конце записки «преданный вам Петр Чаадаев». Но пусть зато не прочитать мне — «преданный вами...»

11

Я молчал.

Скарятин успокаивал меня:

— Арсюша, я и пистолеты нарочно купил тульские, в «Русском магазине» у Гучкова. А русская пуля русского не возьмет.

Но я только плотнее кутался в шубу и смотрел из кареты.

Еще было сумрачно, на улицах одни разносчики, салопницы да старухи к заутрене, будочники возле полосатых будок пристукивают алебардами. Говорят, будочницы колют ими уголь и рубят капусту, оттого алебарды зазубрены. И что за мерзость красить дrevки суриком! И темень такая сырая, что жить неохота. Впереди заснул, что ли, или пьян фурманщик, перегоридил улицу, не объедешь, тащись за ним... И хоть бы в одном окошке свет. Истинно Некрополис! Только храп лошадей, стук окованных колес по булыжнику, сонный крик будочника, низкий кивер серого сука на с тусклым орлом над козырьком...

Миновали Сенную... Разгуляй... А вот и дом почетного гражданина Шульца — целое поместье, и где-то во флигеле спит в шлафроке и колпаке тот, кто совершил в России невообразимое: в нашем царстве-государстве, где общественное мнение не имеет гласности, а гласность не имеет мнения, он *один* стал *общественным мнением!* Сохрани тебя господь, Петр Яковлевич. Не поминай лихом Арсения Пустошина.

8 октября 1853 года четверг, а пятница то ли еще будет...

Кто ездил за Калужской заставой в дождь, осенью, тот знает, каково катить по этой дороге, толкаться из стороны в сторону, карабкаться на косогоры, застре-



вать в рытвинах, и все по ступицу в грязи. Одно колесо тонет, второе вихляет, а бедный ездок хватается крепче, проклинай дождь, слякоть, колдобины и всю жизнь.

Вот, кажется, и кладбище. Здесь в последнюю холеру со всей Москвы татары-фурманщики свозили померших, бросали гробы в яму, как трехполенные дрова. А сейчас остался только забор из осиновых жердей и бревенчатая сторожка.

Я крикнул кучеру, чтоб правил к ней, встал, где посуше. Ноги совсем одеревенели, руки горят. Достал из сюртука засургученный пакет.

— Мишель, тут моя воля. Если убьют, так пусть отпоют в церкви Иоанна Воина на Якиманке. А ранят, вели везти в Газовку, к лекарю Собакинскому. Прости, что вверг тебя в глупую историю.

— Арсюша! — Михаил Наумович обнял меня. — Все уладится, мы еще с тобой поволочимся за актерами! Да ты здоров ли? Эх тебя корежит!

— Голова разламывается.

— Так и отложим дело.

— Вылечиться, чтоб быть убиту? Браво, Мишель!

Послышался звон бубенцов — за косогором с чаклыми березками показалась тройка. Ах, хорошо шла! Коренник рысью, неся голову высоко, а пристяжные галопом, гнули шеи в кольца, отвернув в стороны, «ели снег». Ай да кони! Хотя меня трясло от боли, я залюбовался тройкой, а Скарятин вовсе замер от восторга.

— Ты посмотри, как режет, подлец! Ведь это вороные дончаки, один к одному.

И встали, как упали, только пена в грязь. Первым вышел секундант моего противника, известный всей Москве князь Голыгин, — без ментика, без кивера, но завитой, как картинка; синие гусарские чакчиры, коричневый доломан — все в пятнах, будто его вытащили с крепкой попойки. Это про него говорили: вот молодец! пьет запоем, да еще каждый день пьян! Нервическое худошавое лицо с дерзким прищуром, фигура невысокая, сухая, даже поджарая, как у борзой, дамская ухоженность русских вьющихся волос и беспорядочность одежды — вот портрет сего гусара.

Мы раскланялись. Лёредорер, как и Голыгин, стоял без шинели, в безукоризненном синем мундире,

опоясанном серебристым шарфом с тяжелыми длинными кистями; крючки воротника расстегнуты, серебряные пуговицы по шесть в ряд, кажется, на них чеканена граната с горящим фитилем,— право, какая-то страсть к огню: шишак каски в виде горящего факела, выпушка по обшлагам и борту огненная, подборой воротника тоже красного сукна, а тут еще граната! И алая эмаль ордена — интересно все же, за какие заслуги? На этот раз мсье Лёредорер не был так говорлив,— наоборот, очень серьезен, даже бледен, а впрочем, наверное, в эту минуту и я не был румян.

Скарятин отозвал Голыгина к сторожке. Я поднял голову. Стылое серо-голубое небо, лишь одно-единственное облако плыло, как выпавшее из журавлиной стаи белое перо. Облако плыло, гонимое воздушным течением или ветром, не изменяясь ни в едином изгибе седых прядей, так беспечно и легко сотканых небесным ткачом. Казалось, легчайшая эта красота послана в утешение грязной, разъезженной земле. А голова разламывалась, меня мутило от боли... хоть бы скорей! И нет в сюртуке сигар, забыл дома.

Наконец секунданты вернулись.

— Мишель, нет ли у тебя сигарки?

— Прости, но не курю табак.— Скарятин сконфузился.

— Не угодно ли мою? — Голыгин подал портсигар, достал вошедшие в моду зажигательные спички.— Внимание, господа! Время раннее, утро, вы молоды. Господин полковник совершенно разделяет мое мнение, поэтому я сейчас высказываю наше общее суждение: выказав готовность обнажить оружие, вы поступили в полном соответствии с правилами чести. Еще похвальней было бы сейчас, кроме решимости, проявить *bon sens*<sup>1</sup>, объясниться и сделать мировую. Право, не стоит ставить жизнь на карту, *cela n'a pas le sens commun*<sup>2</sup>.

Голыгин приветливо смотрел на меня и ждал. Мысли спутались, я не мог вытянуть из клубка ни единой мыслишки, одно знал наверняка: если первый выстрел будет за Лёредорером, он меня ухлопает без всякого *bon sens*. Я торопился вспомнить хоть что-нибудь, чего

---

<sup>1</sup> Здравый смысл (франц.).

<sup>2</sup> Это бессмысленно (франц.).

мне было жаль... Смешно, но мне было жаль расстаться только со старым клавикордом, с музыкой.

— Если господин Лёредорер согласен взять назад известные ему слова, я готов отказаться от сатисфакции.

— Теперь твой черед, Евгений! — Я не ожидал столько участия от бравого гусара; думал, уж он-то и пальцем не шевельнет для нашего примирения.— Вспомни, что ты единственная опора старушки-матери и сестер. Заклинаю тебя нашей дружбой, чем угодно, но взвесь все, прежде...

— Спасибо, князь, я люблю тебя за это. Но *никто* теперь не должен стоять меж нами.

— Ну, коли так... Условия вам известны: вы становитесь на расстоянии тридцати двух шагов друг от друга и по десяти шагов от барьера; по моему возгласу «пали!» можете стрелять, ни в коем случае не преступая барьер; после выстрела положение не менять; поединок считается законченным, если обе стороны произведут по одному выстрелу.

Голыгин и Скарятин разошлись в стороны; один всадил в грязь саблю, второй шпагу, повязанную анненской лентой — мой барьер. Я не заметил, куда кучера отвели лошадей, кругом было пустынно, на голом кусту свистала птаха: ци-ци, зи-зи, словно в Охотном, где птицеловы продают зябликов и щеглов.

— Полковник, метните жребий. *Pile ou face?*<sup>1</sup>

— *Pile!* — торопливо крикнул Лёредорер.

— Решетка, — загадал я.

Скарятин вынул из шинели монету и крутанул вверх так высоко, что она превратилась в серебряное веретенце и падала бесконечно долго, так что он успел вытереть пот со лба.

Я угадал, мне было начинать.

Князь зарядил пистолеты, насыпал на полку пороху. Я повернулся и, разъезжаясь по грязи, пошел к шпаге.

— Господа, господа! — крикнул Скарятин, по ни один из нас не ответил ему.

— Пали!

Стрелять в воздух я не имел права. Я шел очень медленно, опустив пистолет. Но мой противник рань-

---

<sup>1</sup> Орел или решка? (франц.)

ше подошел к барьеру. «Да зачем же ты, подлец, мне прямо в лоб целишь!» — с ужасом подумал я, чувствуя, как занял затылок, словно там-то и выйдет пуля, разворотит череп. Медленно поднял пистолет; граненое дуло шатало то к эполету, то к пуговице... Голубой кант, красный эмалевый крест... Вобрав ртом холод, я вытянул руку, так что заняло в локте, и спустил курок. Выстрел получился громкий, я только успел удивиться, откуда взялось эхо, как меня рубануло по горлу!

Откуда ж сабля?

Ци-ци, зи-зи...

## 12

Чернота слабела, она нехотя отпускала мою обесилевшую душу, уже не могла сомкнуться над ней навсегда, но и у души не было сил очнуться, воспрянуть, — одна лишь крохотная искорка упрямо не гасла, мерцала, чувствовала, различала, и чем слабее становилась тьма, тем отчетливее искорка себя осознавала, цепляясь за боль, душный запах хлора, что-то свистящее... Не знаю, сколько это длилось; душа то оживала во мне, то угасала.

Я очнулся от того, что почувствовал закрытыми глазами свет — будто кто-то поднес свечу, чтоб близко разглядеть меня. Это был тот свет, который так поразил меня однажды в Гаазе, — свет чужого сердца, сострадающего страданиям человеческим, свет преображения и воскресения души.

— Sein oder nicht sein!<sup>1</sup>

Грохот слов потряс меня, свет задрожал и отпрянул. Я открыл глаза — потолок качнулся и медленно сдвинулся вокруг лепной розетки. Светло, но все окрашено странным желтым светом, напитанным запахом хлора или другой дряни. Тени скользят по потолку, нечем дышать, болят глаза.

«Пить», — шепчу я, но где-то в середке горла воздух как бы сворачивает в сторону, и ничего не слышно. Кружка стучит о зубы, вода льется на подбородок. Я вижу женское лицо, напрягшееся понять меня, удив-

---

<sup>1</sup> Быть или не быть! (нем.)

ленное, знакомое, с туго повязанной над густыми бровями белой косынкой. Нежное-нежное. Неужели это она только что сказала по-немецки? Высоко над этим лицом обозначилось другое, лошадиное, с вислым носом, поблескивающее овальными стеклышками очков.

— Sein! Посмотрите, наш Verstorbenen<sup>1</sup>, кажется, жив. Татьяна, сегодня дашь господину раненому овсяную кашу и отварной чернослив. Слишком долго, милостивый государь, изволили пребывать в беспмятстве.

— Что со мной? — И вновь ни звука, только бульканье в горле.

— Не говорить! Вы хотите знать, что с вами стало? Пуля пронзила шею насквозь, около сонных артерий. Вам еще очень долго придется молчать. Меньше говорить, больше думать. Граф Закревский уже посылал справиться о вас, и я сказал много дурного. Неужто, сударь, вам не за что кровь проливать? стыдно!

Теперь я узнал его — профессор Андрей Иванович Поль. Это он, как потом рассказывал мне лекарь Собакинский, спас мою жизнь, употребив для операции хлороформ. Говорят, когда мне приложили платок, смоченный хлороформом, я впал в бесчувствие: меня даже кололи булавкой, но пробудить не могли. А ведь я считал профессора чуть не врагом своим. Как-то на заседании Тюремного комитета, особенно нудном и бессмысленном, когда все стали зевать, профессор написал на бумаге несколько строк и через меня передал Гаазу:

Unter diese Grasse,  
Liegt der doktor Haase  
Ihm danken dieses Vergnügen  
Velche herum liegen<sup>2</sup>.

Шутка показалась мне оскорбительной для Гааза, и я перестал раскланиваться с Андреем Ивановичем. А он спас мне жизнь. Как мог я думать, что он, ближайший друг Федора Петровича, мог оскорбить его?

Поль сжал мою руку и ушел, а женщина осталась.

---

<sup>1</sup> Мертвец (нем.).

<sup>2</sup> Под этой травой лежит доктор Гааз, его благодарят за такое удовольствие те, которые лежат около него (нем.).

Я чувствовал ее ровное дыхание, и не мог вспомнить, где ее видел. И так лежал с открытыми глазами, глядя в лепную розетку потолка, пока она снова не начала желтеть, резь в глазах заставила смежить веки.

Не знаю, сколько я спал, — меня разбудили ужасные стоны совсем рядом. Оказалось, привезли человека графини Ростопчиной, об него изломали сорок два пучка розог — за то, что разбил фарфоровую супницу. Врачи ничего не могли сделать, к утру несчастный преставился. А я остался в сей больнице, которую москвичи давно уже зовут не Полицейской, а Газовкой.

В то утро, когда умершего отнесли в часовню, я поклялся, выйдя из больницы, дать вольную своим людям. Я единственный здесь дворянин, остальные — низкого сословия или вовсе бродяги, люди без вида на жительство. Со всей Москвы свозят сюда обожженных, угорелых, отравленных, укушенных, насильственно растленных, со съезжих после дознания — с вывихами, переломами, а то и ранами. На втором этаже лежат два солдата, наказанных шпицрутенами.

Еще будучи кадетом, я видел наказание шпицрутенами. Надо видеть эту ужасную пытку, чтоб уж никогда не позабыть. Выстраивается тысяча солдат в две шпалеры, лицом к лицу, каждому дается хлыст; живая «зеленая улица», только без листьев. Выводят преступника, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам... сзади на дровнях везут гроб. Приговор прочтен; раздается зловещая трескотня барабана — раз, два! — и пошла хлестать... «Братцы, пощадите!» — прорывается сквозь трескотню барабана. Скоро спина и бока представляют сплошную рану, кожа виснет клочьями... Упал, а бить еще много, живой труп кладут на дровни и возят взад и вперед, промеж шпалер, и рубят, рубят свои же братцы-солдатики, такие же крещеные. Боже, как он кричал: «Братцы, пощадите!», но братцы не щадили.

И никому нет дела до подобного зверства. Можно ли поверить, что при множестве судов, департаментов, канцелярий, всяческих комитетов и комиссий в течение двадцати пяти лет почти единственным, кому было дело до всех подобных мерзостей, оставался Федор Петрович Гааз? Теперь же не стало и его...

Шея моя толсто забинтована, не повернешь, перед глазами потолок. Когда надо мной склоняется сидел-

ка, один взгляд ее облегчает боль. «Барин, да что ж вы так раскинулись?» — она подтыкает байковое одеяло под бок, поправляет подушку. А кто я ей?

Когда мы с братцем Николенькой угорели в бане, я пролежал несколько недель в кадетском лазарете. Корпусный доктор Зеленский навещал меня каждый день; проснувшись ночью, я нередко видел его отдыхающим на соседней койке. Сей незабвенный доктор Зеленский, эконоом Андрей Петрович Бобров и директор корпуса генерал-майор Михаил Степанович Перский явились мне лучшими людьми, коих я знавал до встречи с Федором Петровичем Гаазом. Им четверым и отданы навечно места в бельэтаже моего сердца, как сказала когда-то Полина Прокофьевна. Сейчас из них жив только Зеленский. Он, без сомнения, остался бы доволен уходом за своим давним пациентом, маленьким кадетом.

Единственное окно завешено кисейной шторой. Круглый столик на гнутых ножках, стул, фаянсовый таз с кувшином — вот вся обстановка моей палаты. Как бы крепко я ни спал, когда входит Татьяна, я тотчас просыпаюсь, узнаю ее по колебанию воздуха, по сухому запаху ромашки, которой пахнут ее волосы. Я молча смотрю на нее, да и что мне ей сказать? Помнит ли она меня?

Года три назад, вернувшись из Калуги, где я был с поручением от графа Закревского, я приехал к Федору Петровичу: он просил меня узнать у игуменьи Ангелины, что она приговаривает, слушая удары маятника. Гааз очень обрадовался, что я не забыл исполнить его просьбу.

— Очень желал бы поместить эти слова под часами в тюремном замке. Что же сказала мать игуменьи?

— Она так приговаривает: «Как здесь, так и там».

— Сейчас же велю послать записку в замок. Василий Филиппович, — попросил он доктора Собакинского, — велите позвать Ефрема.

— Он уж в конторе, сегодня как раз его дело решат.

Осмотрев, все ли ординаторы собрались, Гааз спросил:

— Можно ли мыть грязное белье перед своим соседом? — Он имел в виду меня.

— Можно, — ответил за всех доктор Собакинский.

— Тогда, Арсений Ильич, просим вас разобрать наше дело о воровстве. Пелагея Матвеевна, позвать Антона Мартыновича.

— Он уж ушел. Я говорила, чтоб шел к вам, а он сказал, что ему нужно.

— Ты надзирательница и должна была тотчас сказать мне, что фельдшер хочет уйти, тогда б я сам сказал ему. А коли не исполнила, плати штраф пять копеек.

— Как ж-с, когда он ушел? — возразила Пелагея Матвеевна.

— Ты платишь штраф за *futurum* — уйдет, а не за *perfectum* — ушел.

— Что же вы нас все притесняете, Федор Петрович?

— И еще тебе штраф — за грубость.

Матвеевна поджала губы, но опустила два пятака в кружку. Наконец призвали сиделку Татьяну и дворового человека Ефрема. Татьяне тогда было лет восемнадцать, и красота она была редкостной. Я сперва не признал ее в скромном платье и белом чепце с вышитым крестом, — ведь раньше она служила в известном заведении. А Ефрем оказался рыжебородым мужиком и большим плутом. Отпущенный помещицей в Москву с билетом, в котором та писала, что сего человека можно держать без всякого опасения, Ефрем поступил в больницу с болезнью, прижился и был взят Гаазом в услужение. Но вскоре открылось, что он нечист на руку: сперва украл у Федора Петровича рубль, потом три, а на пасху — четвертной. После чего из камердинеров его уволили в дворники.

В тот раз Татьяна и Ефрем обвинялись в краже салоп. Фельдшер Антон Мартынович уже составил бумагу в часть, но решили выслушать самих преступников.

Татьяна заплакала.

— Да не брала я его, а только убрать хотела. Еще сказала Пелагее Матвеевне, что ж это салоп лежит, убрать надо.

— Жаль мне тебя, Татьяна, — сказал Федор Петрович, — ведь в части тебя накажут.

— Да ясное дело: Ефрем украл салоп, а Татьяна его вынесла, — ворчал фельдшер Антон Мартынович.



— Ну, Арсений Ильич, изложите нам свое решение.

— Мнение мое таково: Татьяна в краже невиновна, а только оказалась неумышленной пособницей, и незачем отсылать ее в часть; Ефрема же надобно немедленно удалить из больницы; деньги за пропавший салоп взыскать с виноватых и на том прекратить дело.

Доктор Гааз, довольный тем, что дело разрешилось таким образом, тут же спросил собравшихся, согласны ли с моим мнением. Все согласились, только фельдшер Антон Мартынович гнул свое:

— Ясное дело, Ефрем украл салоп, а Татьяна вынесла. А вы, Федор Петрович, потому не желаете довести дело до полиции, что вам самому придется отвечать, зачем не объявили прежние кражи Ефрема.

— И вы так считаете? — спросил Федор Петрович остальных. Никто не ответил. Доктора Владимирова и Собакинский об чем-то тихо переговаривались, экононом Иван Михайлович смотрел в окно, кастелянша Каролина Ивановна вздыхала.— Тогда наказываю вас всех штрафом по тридцать копеек за уклончивое мнение, с себя взыскиваю два рубля шестьдесят копеек — третью часть того, что стоит украденный салоп, ибо, как главный врач сей больницы, делю ответственность за все неблагополучие. Дело же сие оставляю без донесения в полицию из уважения к преставившейся доброй сиделке Марье Руфовне — она любила Татьяну и заботилась об ее исправлении. Посмотрите в окно: вот несут в часовню покойницу, и одна Татьяна идет за ней, а мы сидим здесь, бездушные законники, забыв, что все доброе завершается миром, а без мира нет ни благоденствия, ни спасения человеку. Отказываясь от примирения, мы отталкиваем от себя милосердие божие, который дарует нам прощение наших грехов при том лишь условии, чтоб и мы прощали обижающих нас. А мне совестнее вдвойне, ибо, будучи старше вас и званием, и летами, я сам подал пример непримирения.

Провожая меня по коридору, Гааз шел, низко опустив голову, словно дремал на ходу. Вдруг остановился под лампой и крепко сжал мне руку:

— Спасибо, голубчик! Я третьего дня получил письмо из Таганрога: там местный эшафот пришел в негодность, а понадобилось наказать двух арестантов.

Призвали плотников, но никто не согласился чинить сие лобное место: «Станем мы поганить топоры об срамное дело». Как я хотел бы, чтоб слова сии дошли до генерал-губернатора, до графа Дмитрия Николаевича Блудова,— ведь он высказал соображения против присяжного суда, объяснив таким резонаном, что в русском народе до того неразвиты понятия о праве, обязанностях и законе, что преступники у нас признаются несчастными. Я же почитаю сие не отсталостью развития, а глубоким нравственным достоинством. Вы русский, Арсений Ильич, и должны почитать сие звание за честь. В российском народе есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем он нуждается. Вот почему я верю, что Россия никогда не образуется до пределов европейских, чтобы палач, нажимающий рукой в белой перчатке пружину гильотины, был окружен почтением и сверх того печатал мемуары.

— В таком разе вы отрицаете закон?

— Голубчик Арсений Ильич, я нисколько не убежден, что один лишь закон способен стать залогом справедливости. Правительство не может приобрести в недрах своих мир, силу и славу, если все его действия и отношения не будут основаны на христианском благочестии. Не напрасно глас пророка Малахии окончен грозными словами: «Если не найдете в людях взаимных сердечных расположений, то поразится земля вконец». Простите меня, голубчик, мне надобно на Воробьевы горы. Но мы сей разговор договорим.

Не договорили...

В прошлый год Александр Иванович Тургенев посоветовал мне, отчего Гааз столько облегчения сделал арестантам, для многих добился пересмотра дел, освободил, выкупил у помещиков, а ему, Тургеневу, удастся сделать мало или вовсе ничего? «Если б было в России еще десять Гаазов!»

Да кто же мешает нам быть, как Федор Петрович? Почему, сами не став братьями несчастных, мы не только не пособляем сострадателям в непосильной их работе, но еще мешаем, насмехаемся, злобно оговариваем клеветой? Почему в одних сердцах так много

любви, в других — так много злобы? Разве мы действительно сторожа своих братьев? А кто устережет самих-то сторожей?

13

Четыре солдата несли носилки. Лежавший на них был в шинели с красным воротником, панталонах и опойковых сапогах; все забрызгала кровь и желтая грязь, только загорелое лицо чисто, словно умыто дождем. Когда солдаты неловко задели акацию, тысячи капель сорвались с потревоженной листвы, раненый стиснул зубы. Шедшая рядом сестра милосердия поправила руку, упавшую с носилок; ее коричневое платье тоже было мокро и грязно, солдатские сапоги разъезжались на расквашенной желтой глине, на груди мокро блестел серый нагрудный знак с красным крестом, по белому полю слова «Возлюбиши ближнего яко сам себя».

— Степан, ставь, что ли? — спросил солдат.

— Ишь что придумали! Офицер ранен, а вам бы только табак курить.

— Сестрица, так руки отсохли, пятый день ходим без роздыха, почитай, половину Московского полка перетаскали.

Но курить так и не пришлось. Впереди остановилась запряженная шестериком раззолоченная карета, окруженная всадниками в эполетах и аксельбантах. Кто-то раскатал прямо в грязь дорожку красного сукна, брякнул ступеньками, открыл дверцу с гербом князя Меншикова, главнокомандующего Черноморской армией. Из кареты показалось сморщенное лицо с седыми усами. Бережно поддерживаемый генералами, старичок осторожно попробовал лаковым сапожком красное сукно, сделал два шага, в нерешительности остановившись перед лужей, разделявшей край дорожки и носилки.

— Что, братец, ранен?

Раненый силился поднять голову, отчего лоб его вмиг повлажнел от пота.

Штаб-офицер, стоявший позади главнокомандующего, спросив кого-то, доложил:

— Ваше сиятельство, это поручик Пустошин, из

добровольцев. Будучи сам ранен, вынес из боя командира полка генерала Куртьянова.

— Так ты и впрямь ранен, братец!

— Навылет, ваш... сият...

— Ну, не беда, мы твою дырочку крестиком заведем,— князь засмеялся.— Э...

Тотчас подошел адъютант, держа в белой перчатке пук георгиевских знаков отличия. Главнокомандующий взял крест и, храбро ступив в лужу, положил Георгия на грудь поручика. Все получилось удивительно красиво.

В тот же день, 14 сентября 1854 года, раненого доставили в лазарет. Кажется, операция только ускорила конец. К вечеру раненому стало совсем худо. Послали за священником, но причастить святых тайн не могли, препятствовала рвота. Пустошин оставался в полной памяти, ему прочли отходную, он все понимал и во все остальное время ни на минуту не забылся. За полчаса пред смертью ему стало легче.

1982 — 1984

ПОВЕСТЬ О КУПЦЕ,  
ПЕГОМ КОНЕ  
И ГОВОРЯЩЕЙ ПТИЦЕ



## Глава 1

Кто любит сладко спать, в купцы не годится — и своего товара не продаст, и чужого не купит. Еще месяц в небе светит и звезды не погасли, а купцы встают, спешат к амбарам и складам.

С утра до вечера шумит базар в городе Тароме, окруженном высокой крепостной стеной с высокими башнями, не спят зоркие стражники, смотрят на все четыре стороны, а за садами, виноградниками, полями ячменя и хлопка расстелилась великая соляная пустыня Деште-Кевир, между рыжими холмами верблюжьими копытами пробиты караванные тропы — от колодца к колодцу, от города к городу.

Вечером, когда на фиолетовом небе вновь вспыхнут крупные звезды, серебряной лодкой выплывет из туч луна, у горячего котла с вареным рисом, оранжевым от сладкой моркови, ведут неспешный разговор почтенные купцы. Из многих земель сошлись в Таром торговые гости, прошли знойные пустыни, переплыли бурные моря, мерзли на заоблачных перевалах. Кажется, ничем не удивишь бывалых людей, а вот сидят, как дети, слушают рассказы о чудесах земли.

— А еще, о купцы, есть царство Басман, где водится зверь единорог, шерсть у него овечья, а ноги слоновьи, во лбу толстый черный рог, на языке длинные колючки, языком этот зверь кусает.

— Да, чего только нет на свете, — вторит краснобородому персу купец из Венеции. — Расскажу вам вот о какой диковине, сам, правда, не видел, но наш Марко Поло был на острове Агаман, где живут люди-псоглавцы: у взрослых голова — как у большой собаки, а у детей — как у малых щеночков. И алмазов на том острове видимо-невидимо, но плыть туда страшно, — как поймают псоглавцы чужеземца, так и разорвут на куски.

— Про остров Агаман я не слышал, но таких самоцветов, как в Индии, нигде нет. Есть там горы, где жар нестерпимый, а в скалах глубокие пещеры, усыпанные алмазами и рубинами, но стерегут их огромные змеи. И вот что делают хитрецы: кидают в пещеры куски сырого мяса, самоцветы к ним и пристают. А в тех горах белые орлы вьют гнезда; завидит орел мясо, схватит и несет в гнездо, тут хитрецы на-

чинают кричать, свистеть в дудки, бить в барабаны,— орел выпустит кусок, так и подбирают самоцветные камни.

— О аллах, и чего только не создал ты,— перебирая четки, удивляется старший среди купцов — хаджи<sup>1</sup> Махмуд из Хоросана, властное лицо у него, нос крупный, губы крупные под седыми закрученными усами, янтарные глаза прищурены.— Создал ты горы соляные и медные, людей белых и черных, тигров свирепых и птичек крохотных, плоды обильные и цветы дивные. Послушаешь вас, почтенные, и своя земля еще милее станет.

И все молча пьют горячий зеленый чай, думают о доме; из разных стран купцы, а сердце у каждого щемит, когда вспомнит дом,— ведь правду говорят: за золото все купишь, кроме отца с матерью. В Исфагане дешево цветастые ковры и ткань на халаты, в Новгороде хороши меха, в Кафе — узорчатое стекло и огненный бархат, в Дамаске — тончайший шелк и острые клинки, а в Ормузе лучший в мире жемчуг. В одном месте купил, в другом продал, купил за медь, продал за серебро, купил за серебро, продал за золото,— кажется, куда лучше: живи-поживай, добро наживай. Но так только глупцу кажется. А заблудился караван в пустыне, солнце жжет, песок на зубах хрустит, за глоток воды готов отдать все богатство, но даже за мешок золота не купишь воду... А налетит буря в море, порвет снасти, ломает крепкие мачты, захлестнет волной... Как снежный барс, подстережет в горах лавина... Но идут караваны, плывут корабли, скрипят деревянные колеса повозок — по всей обитаемой земле идет великий торг.

Каждому из тех, кто сидит сейчас у жаровни с рдеющими углями, режет тонким ножом истекающую соком розовую мякоть дыни, есть что рассказать, даже самому младшему из купцов — синеглазому рыжебородому хаджи Юсуфу. Пьет горячий чай из пиалы, утирает лоб концом зеленой чалмы, длинным, как полотенце, смотрит на золотистые угли. Тоже припомнил что-то, но тут заспорили о ловчих птицах.

— Ястреб не бьет перепелку, ты перепутал с соколом.

---

<sup>1</sup> Х а д ж и — мусульманин, совершивший х а д ж — паломничество в Мекку.

— А я тебе говорю — ястреб!

— Сокол!

— Ястреб!

— Сядьте, почтенные, оба вы правы — и сокол бьет перепелку, и ястреб, ибо слабый всегда добыча сильного. Но кто из вас видел птицу рух, которая уносит слона под облака?

— Слон ведь не заяц...

— Но и птица рух, почтенные, не ястреб, за большие деньги купил я ее перо — толщиной с руку, длиной в двенадцать шагов, черное с вороним отливом.

— Если уж перо такое, тогда, конечно, может слона унести.

Это сказал купец в белом тюрбане, с лицом черным, как перо птицы рух. Он пришел в Таром покупать коней и с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда начнется ежегодный конский торг, другие купцы над ним посмеивались — о чем бы речь ни шла, он обязательно заведет разговор о жеребцах и кобылах. Вот и сейчас опять он про свое:

— Значит, черное перо с вороним отливом? Нет, вороных мне даром не надо, игреневых люблю. Какой табун пригнал армянин на торг! Арцахские кони, все золотисто-рыжей масти, словно от одной кобылицы.

Туркмен в огромной белой шапке, молча строгавший кривым ножом сухую ветку, не поднимая головы, бросил:

— Нет бога кроме аллаха. Нет скакуна кроме ахалтекинца.

— О, почтенные, коней мы все видели, — рассудительно заметил хаджи Махмуд, — а перо птицы рух только уважаемый Али из благословенной Бухары. Теперь послушайте о птице кикнус: обитает она в индийской земле, клюв у нее утиный, и в нем семь отверстий; раз в году, когда цветут розы, эту птицу охватывает веселье, из каждого отверстия в клюве звучат семьдесят различных звуков, — говорят, от пенья птицы кикнус ведет начало музыка...

— Счастлив ты, хаджи Махмуд, что слышал такую птицу сладкозвучную, но желаю тебе никогда не слышать, как кричит гукук — «гху-кху, гху-кху». Вылетает она ночью, на чей дом сядет, там человек умрет, а кто ее захочет убить, того она огнем сжигает.



Однажды мы с племянником Салимом привезли ковры в Джуннар. Жили в дхарма-сале — это у них как караван-сарай. Вот как сейчас сидели, потом легли спать. Ночью слышу «гху-кху» и шорох, будто крылья машут. «Слышишь, Якуб?» — шепчет племянник. «Слышу, Салим». Только заснул, снова — «гху-кху, гху-кху». Открыл глаза — Салим стоит, серый от страха, трясется. Вдруг схватился за голову, зашатался и упал мертвым.

Купцы испуганно прислушались — не шуршат ли в темноте зловещие крылья, не вьется птица гукук? Хоть и далеко до Индии, а залетит какая-нибудь им на беду... Нет, не слышно, тихо в караван-сараях, спит город Таром, только стража на башнях не дремлет, журчит вода в арыке.

— Во имя аллаха милостивого и нам пора спать.— Хаджи Махмуд зевнул и, кряхтя, встал с подушки.— А то базар проспите и не заметите, что миндаль в цвету. Весна, почтенные! Весною птицы летят на север, караваны идут в оазисы, реки текут в моря. А человек ищет любви и приходит к смерти.

— Нет, хаджи,— кто ищет любовь, тот ее находит.

— И ты уже нашел ее, Юсуф?

Синеглазый купец не ответил — возможно, он и сам не знал, чего ищет, или не услышал слов хаджи Махмуда, залюбовавшись цветущим миндалем.

## Глава 2

Рано утром купец Юсуф вышел в просторный двор караван-сарая и замер — цвел не только миндаль, но абрикосы, алыча. Пришло время весны, когда не только день, но каждый час украшает святой лик земли.

— Мир тебе, Юсуф.

Купец обернулся и, увидев хаджи Махмуда, почтительно поклонился. С трудом пробравшись сквозь толпу погонщиков, водоносов, юрких мальчишек, они вышли из громадных ворот, в которые проходят нагруженные караваны, и свернули на узкую улочку: на плоских крышах женщины проветривали одеяла и подушки, домики маленькие, из необожженной глины — дожди здесь редки, а глина крепкая. В каждом дворе цветут розы. Сколько терпения надо, чтоб вырастить

их посреди пустыни! Вот почему старый садовник, опершись на кетмень, с нежностью смотрит на пунцовые бутоны, сверкающие каплями росы.

— Всю жизнь я покупаю и продаю,— пробормотал хаджи Махмуд.— Но самое глупое продавать цветы, все равно на вырученные деньги не купишь ничего прекрасней роз. Воистину, сажать цветы в этом пекле можно, только уповая на всевышнего, но ведь возделывание садов и есть страсть, которая приходит однажды и навсегда.

— Почтенный Махмуд, торговля тоже страсть, а ты купец, которого уважают в разных странах.

— Э-э, Юсуф, на дороге странствий каждый чужой чужому родной. Три месяца мы уже в Тароме, я продал ходжентскую бирюзу и кашанские ковры, скупил здесь весь ремень, а лекари платят за него дорого. Но почему ты ничего не продаешь, не покупаешь? Если в Тароме нет нужного товара, скажи, я посоветую, где он в избытке и по недорогой цене. Но, может, ты ищешь совсем другое — любовь, справедливость? Поверь старику, это самый залежалый товар, дешевле фиников,— сегодня в цене сила, власть, но их не купишь на базаре. Вчера я смотрел, как ты пьешь чай... Ты ведь хоросанец, верно? Но у нас пьют не так: отпивают глоток, потом три и пять, а всего девять, ибо аллах един и ему угоден нечет. Я хочу тебе добра, Юсуф, но твой путь далек, а люди разные. Один посмотрит, как ты пьешь, другой — как ты сидишь, третий — как ты говоришь... Много хоросанцев скитаются по свету. Но я не о том хотел сказать. Знаешь ли ты, что кони в Индии не рождаются, лохматая кляча, которая стоит здесь сорок монет, там идет за четыреста, за арабского скакуна или аргамака там платят тысячу, две тысячи и еще дороже, да мало кто знает, как выбрать редкого коня.

— Неужели даже почтенный хаджи не знает?

Купец улыбнулся, положил сухую ладонь на сильную руку Юсуфа. Они уже подошли к городским воротам. Огромная площадь у крепостной стены запружена народом и лошадьми: красной медью отливал табун армянских коней с горных лугов Арцаха; арабских широколобых скакунов сразу узнаешь по щучьей морде и лебединой шее; а вот красавцы аргамачи — золотисто-гнедые, золотисто-буланные, золотисто-

рыжие, злые кобылицы сердито кусают резвых жеребят; а там в глазах рябит от вороных, гнедых, соловых... вот где торг!

Юсуф и сам знает толк в конях, не раз покупал их у ногайских беков и татарских мурз, но в присутствии старшего недостойно выказывать свое уменье, поэтому молча смотрит Юсуф. Издалека съехались купцы на конный торг в Тароме, большие сделки делают, ведь конь — это военная готовность государства, вспаханное поле, быстрая весть, далекий путь. О, тут знатоки сошлись! Заходят сбоку и спереди, резко взмахивают перед мордой — если стоит конь, значит, подслеповат; щупают бабки, суставы, нюхают копыта, смотрят масть, хвост, гриву, каждую отметину, наблюдают, каков конь на шаге и рыси, как стоит, как ходит. А хаджи Махмуд шурит янтарные зрачки, бормочет, перебирая четки, — нет коня! Смотрит и Юсуф, не табун ему нужен — один скакун, но такой, как оседланный ветер, чтобы у знающего толк душа вскипела, чтобы жизнь без этого коня стала для него невыносима, как возлюбленному без любимой, как садовнику без роз.

Солнце высоко, горячо. Устали люди и кони, кузнецы бросили у наковален молоты, шорники отложили сыромятные ремни для сбруй, седельщики стряхнули стружку с фартуков. Да и площадь опустела, купленные табуны уже далеко от Тарома, крестьяне собирают конский навоз, мальчишки продают холодную воду.

Юсуф посмотрел на хаджи, но тот опустил глаза — нет коня! Шипит на углях сочная баранина, пахнет чесноком и перцем, хлебопеки ловко достают из раскаленных печей горячие лепешки. А что там за голпа у голубиной башни? Бродячий певец поет песни или кукольник показывает представление?

Толпа окружила не певца, не балаганщика, а смуглого юношу в мохнатой шапке из шкуры черного барана, он крепко держал недоуздок из крученого шелка, иноходец скалил зубы, кося фиолетовым глазом. А кругом смеялись, и громче всех усатый стражник.

— Шестьсот монет за эту клячу? Да ее запрягать — под бока держать, чтоб не упала! Где ты взял эту коровью масть, у мясника купил? Эй, люди, полюбуйте на пегую клячу!

Жеребец и правда был пегим, по рыжим бокам и спине пролитым молоком растеклись пежины — белые пятна. Хаджи Махмуд протиснулся к коню, цепко сжал просторное плечо, подергал золотистую гриву, смотрел, как конь пританцовывает, не стоит на месте.

— Кто ты, сынок, откуда?

— Зовут меня Дурды, я оттуда, где даже дети могут отличить скакуна от клячи.

— Значит, ты туркмен, а туркмен сам не ест, но коня накормит. И сколько ты хочешь за твоего красавца, Дурды?

— Шестьсот дирхемов, хаджи.

Вокруг снова захохотали — за такие деньги можно купить двух верблюдов, отару баранов, а тут какой-то пегий жеребец.

— Большие деньги, очень большие, а я человек маленький.

— Хаджи, из уважения к тебе я готов немного сбавить цену, чтобы и она, и ты сравнялись. Неужели ты ниже пятисот монет?

— Увы, сынок, совсем маленький я человек, может, уступишь пегого за триста дирхемов?

— Пятьсот, хаджи! И если здесь найдется конь резвее моего ахалтекинца, я тебе даром отдам коня вместе с седлом и поводом.

— Может, твой пегий и моего сокола обгонит? — раздалось из толпы.

— Обгонит!

— Моего белого?! А ну, прочь с дороги, бездельники! — Расталкивая людей, вышел разгневанный великан в полосатом тюрбане, украшенном радужным пером павлина. — Да знаешь ли ты, кто я? — Он с такой силой ударил себя кулачищем в грудь, что многие зажмурились от страха. — Я начальник городской стражи! Я одержал победу в двадцати боях, сделал этот город неприступным для врагов, одно мое имя заставляет трепетать этих людишек! А ты что сделал, чтобы так дерзко отвечать?! Шашлык сделал? Вот здесь сто монет, если ты не хвастун, ставь свой заклад против моего — и посмотрим, не сдохнет твоя кляча на первом же фарсанге<sup>1</sup>.

Дурды снял серебряный чеканный пояс с кривым

---

<sup>1</sup> Фарсанг — равен 6-ти километрам.

ножом в ножнах, украшенных бирюзой, бережно положил рядом с мешочком.

— Эй, ты! Живо беги ко мне, скажешь — я велел. Сокола мне, живей!

Усатый стражник припустился со всех ног. Пока начальник стражи хвастался, хаджи Махмуд шепнул рыжебородому Юсуфу:

— Отсчитай пятьсот дирхемов, быстрее, тебе повезло — это тот конь, о котором я говорил.

— Благочестивый хаджи, будь нам справедливым судьей, — попросил юноша.

— Хорошо, Дурды, я согласен рассудить во имя справедливости доблестного начальника городской стражи и тебя, но одно условие. Ты сказал, что хочешь за коня пятьсот монет, ведь так? Вот деньги. — Купец взял у Юсуфа сафьяновый кошель с серебром, положил на ладонь юноши. — А вот и сокол.

На самом деле пернатый ловчий оказался не соколом, а белым луговым кречетом, таким же нарядным, как его хозяин — с парчовым ошейником, в алых кожаных путах с серебряными колокольцами. Решили испытать скакуна и кречета на расстоянии в один фарсанг, от городских ворот до высохшего колодца, там вбили в крепкую землю колышки, на них натянули двойную сетку из конского волоса, посадили в нее куропатку, сидевшую в клетке. Здесь и ждали хаджи Махмуд, Юсуф и самые упрямые из любопытных. Мальчишки сразу залезли на одинокий карагач, вглядываясь в далеких, почти неразличимых всадников — Дурды и начальника стражи. Зажгли факел, старый купец поднял его — и в тот же миг взмыл с кожаной рукавицы кречет, рванулся пегий аргамак.

— Смотрите, смотрите! — галдели мальчишки на ветвях.

Одни смотрели ввысь, другие, заслонив глаза ладонями, вдаль, вертели головами, нетерпеливо хлопали себя по бедрам. Конь летел как птица, а птица, вспыхнув белоснежным опереньем, летела как стрела. Вот уже слышен звон колокольцев на когтистых лапах кречета; вот уже виден всадник в черном тельпеке. Летит птица, мчится конь... Ближе, ближе! Жалобно закричала перепелка, бьется в волосяной сетке. Счастливый Дурды на всем скаку высоко подбросил шапку. Кречет камнем грянул с высоты, вырвал сеть

с кольями, покатился по земле; сразу набросили на него одеяло, стянули страшные лапы сырмятными путами. Нескоро на взмыленных конях прискакали всадники, и среди них начальник городской стражи, потерявший остроносые туфли.

Кругом спорили до хрипоты, кто оказался быстрее — ахалтекинец или кречет. Хватали за рукава хаджи Махмуда, а он задумчиво почесывал морщинистую щеку.

— О мусульмане, что сказать вам, дабы вы не потеряли веру в справедливость? Не будем спорить и кричать, согласимся, что мы стали свидетелями удивительного: сокол достоин восхищения, но и конь оказался поистине крылатым. А чтоб никто не был в обиде, я дам сто дирхемов каждому.— Он отсчитал монеты начальнику стражи и Дурды.— А ты, Юсуф, крепче держи повод, теперь это твой конь.

Когда вошли в караван-сарай, Юсуф вспомнил, что забыл спросить Дурды, как же зовут пегого.

— А зачем спрашивать? — усмехнулся хаджи.— Конь этот сам выбрал себе имя — Сокол.

### Глава 3

Когда воды много, о ней не думаешь, но если ее нет... Хотя бы кругом высились горы из алых рубинов и зеленых изумрудов, хотя бы все дороги были вымощены золотом, ничего не нужно жаждущему, кроме запотевшего глиняного кувшина, полного воды.

Вода кончилась на двадцатый день пути из Тарома. Караван уже прошел Керман, Сирджан, Лар, но до Бендер-Абасса было далеко. Обессилевшие кони падали, верблюды шли дальше, покачивая опавшими горбами. Куда ни взглянешь — рябые песчаные барханы, горячий песок, слепящий глаза, марево, зной.

...Купец Юсуф остался один. Когда Сокол останавливался, он тянул шелковый повод; когда слабел хозяин, пегий тянул его зубами за рукав халата — так и брели, помогая друг другу. Тихо вокруг, ни звука, только шорох ящериц, шуршание песка. Неужели где-то идут дожди, плещут реки и озера — наклонись и пей, сколько хочешь пей.

«Пить!» — шепчет Юсуф. И кажется ему, что озеро совсем близко, он бежит, следы в песке сочатся влагой, прохлада остужает лицо, сожженное злым солнцем, иссеченное песком, но кто-то сильно встряхивает за плечи, вода расплескивается из ладоней.

— Хаджи, хаджи...

Он с трудом открыл глаза — столбы света задрожали, больно смотреть, голос то далеко, то рядом, кто-то разжимает ему зубы, как коню, которому вкладывают железные удила.

— Пей, хаджи!

И словно дождь хлынул, омочил лицо. Юсуф увидел над собой остроконечный войлочный колпак и чашу, полную воды.

— Пей, купец! Твой конь спас тебя. Я живу там, у колодца. — Дервиш показал посохом. — Вижу, идет конь без седока, он и привел меня к тебе.

— Спасибо, святой человек, — прошептал купец, с трудом отвязал от пояса кошель, высыпал все монеты в чашу, долбленную из кокосового ореха.

Дервиш оставил один дирхем, остальное вернул купцу. Посох, сума, чаша — вот все, что нужно страннику-дервишу, всю жизнь он проводит в пути и молитвах, что одно и то же.

— Поешь сушеных фиников, купец, и пойдем к колодцу, надо напоить коня, он вот-вот упадет. Обопришь на меня, о благородный человек.

— Ты каждого называешь благородным, дервиш? — Купец встал, отряхнул халат от песка.

— Правильный путь — сближаться с хорошими людьми и избегать плохих.

— Как же их различить?

— Жизнь человека написана на лице, но не каждому дано это знать. Однажды дураку сказали, что длинная борода признак глупости, он тут же стал палить бороду на свече, обжег щеки и нос, чем и доказал собственную глупость. Но мы выбрали неподходящее место для беседы. Темнеет.

Купец обнял заржавшего коня, погладил спутанную гриву: «Сокол, славный ты мой конь!» Впереди шел дервиш, за ним купец, следом конь — так втроем пришли к колодцу с большим деревянным воротом, две высокие финиковые пальмы разостлали на песке

коврики тени. Юсуф напоил коня, вымыл и досуха растер, а дервиш тем временем ломал крепкий саксаул, жарко горит он, без дыма.

— А что ты скажешь обо мне, дервиш?

— При ходьбе ты машешь руками, ешь, положив руку на бедро и склонив голову вправо, но смотришь прямо — это свидетельство благородства и удачи в делах. Доволен ли ты, купец?

— Кто же останется недоволен, слыша приятное? Но даже если бы твои слова были горькими, все равно я твой должник — ты спас мне жизнь.

— Прочность кувшина угадывают по звону, а человека по словам. Скажи, куда ты держишь путь?

— В Ормуз. Слышал я, что там родится лучший в мире жемчуг.

— Увы, ты такой же, как все торговцы! Семь лет я живу здесь, видел сотни купцов: один ищет, где самая дешевая соль; другой — где самые яркие ковры; третий — самые острые сабли. Но за все годы никто не спросил меня, где живут самые добрые люди. Так стоит ли надолго разлучаться с близкими и подвергать свою жизнь опасности? Человеку нужна не выгода, а радость.

— Но купец ищет не только выгоду, он ходит по разным землям, видит разные народы — разве не радость это? В Тавризе я чуть не окошел от лихорадки. Меня грабили в Астрахани и Азаке. А здесь, в пустыне, ты спас мне жизнь — разве это не радость?

— Голос твой к концу речи становится тише — несомненно, ты чем-то опечален. Думаю, печаль твоя не о потерянных товарах, сердце твое стремится домой, как заблудившаяся птица, но ты упрямо удаляешься от дома. И видно, тому есть причина.

Дервиш помешал палочкой в котле, запахло разваренной фасолью.

— Вот и еда готова, поешь, отдохни. В мире усталости дороги длиннее.

Дервиш спал на коврике, укрывшись халатом, сшитым, должно быть, из лоскутов. Юсуф лежал на войлочном потнике, над ним в черном небе, как угли, горели звезды.

Утром он уже был в пути. Оглянулся — только верхушки пальм видны вдали. Вот и они исчезли, растаяли в яркой синеве. Все ближе горы — серые, чер-



ные, фиолетовые, нет на них ни земли, ни деревьев, зато и жары здесь нет такой, как в песках.

Потом и горы остались за спиной. Навстречу шли караваны из Ормуза. Ветер шевелил зеленые поля пшеницы, овцы щипали траву, желтели осыпи холмов, цвели тюльпаны — алые, сиреневые, золотистые.

Еще через два дня показался Бендер-Абасс — тусклый, выгоревший от зноя, как пыльный ковер, брошенный на берегу Ормузского залива. Нигде Юсуф не видел таких домов — круглых легких построек из камыша, обмазанного глиной, с плетеными, как корзины, куполами крыш. Домики лепились вплотную, по узким кривым улицам приходилось идти, смотря под ноги, чтоб не споткнуться, дышать было нечем, жара, вонь преющей шерсти, скисшего молока. Он спешил к берегу. На циновках, брошенных в песок, трепыхались диковинные рыбы: тяжелые широкоспинные тунцы, длинные барракуды с узкими страшными пастями, золотые крутолобые макрели. Долго купец бродил по берегу, отгоняя назойливую мысль: неужели и Ормуз такой же пыльный городишко, пропахший шерстью, рыбой и кипящим маслом? Ормуз, о котором говорят: «Если б мир был кольцом, то Ормуз — жемчужиной в нем».

У причалов теснятся корабли, снуют лодки, хлопают поднятые паруса, скрипят мачты. Над заливом знойная дымка, только острый глаз различит в изменчивой дали сиреневые, как сушеные косточки урюка, острова — Гешм, Ларак, Джераун.

Юсуфу надо на Джераун — там Ормуз! Но какой корабль отплывает туда? Полуголые рабы несут на потных спинах огромные тюки хлопка, катят по сходням бочки, гонят овец. Ветер полнит паруса, вспенивают воду тяжелые весла, вокруг звучит разноязыкая речь. Кого только не встретишь в порту! Бухарцы в белых чалмах и разноцветных халатах. Генуэзцы в фиолетовых камзолах с кружевными воротниками и в коротких алых плащах. Желтолицые китайцы невозмутимо постукивают палочками для еды, с шумом втягивают губами густой акулий суп. Испанцы в лихо заломленных беретах, красных чулках и башмаках с серебряными пряжками. Арабы, закутанные до пят в белые бурнусы.

Остановив чернобородого великана с серьгой в ухе,

Юсуф спросил, какой корабль отплывает в Ормуз.

— Садись на любой и к полудню будешь в прекраснейшем из городов. Мой корабль уже нагружен, а у тебя, наверное, много товаров.

— Нет, только я и конь.

— Тогда поторопись, сейчас уберут сходни. Куда ты! А деньги?

На палубе нашлось место у правого борта. Под дощатым настилом бляели овцы. Чернобородый торопил гребцов. Заскрипели уключины, волна качнула судно, отодвинулась пристань, все шире полоса бирюзовой, просвеченной солнцем воды, круглые глиняные домики слились в желто-серую извилистую линию, повторяющую очертания берега. А если встать на высоком носу корабля, впереди увидишь встающий из волн скалистый Джераун, отороченный белым кружевом прибоя. Огненные лучи просвечивали жемчужную даль, освещая приближающийся город.

## Глава 4

Жители Ормуза называли свой белый город на скалистом острове Дар-аль-аман — Обитель безопасности, и купцы, мореходы, паломники могли рассчитывать на покровительство эмира, власть которого распространялась на Москат в Аравии и Бахрейнские острова. На доходы от торговли эмир содержал сильное войско и флот, но приходилось платить дань властителю еще более сильному и грозному — предводителю могучей державы «белобаранных туркмен» Узун-Гассану.

Все было в Ормузе, кроме воды и земли, их везли издалека на больших просмоленных лодках-тавах, землю насыпали на скалы, огромные бассейны — хаузы наполняли водой. За сто лет привезли столько воды и земли, что скалистый остров стал цветущим садом с журчащими фонтанами, в кроне высоких пальм видны крупные, с голову, кокосовые орехи, наливаются сладким соком виноградные гроздья, зреют гранаты и плоды дынного дерева, душистые ананасы, бананы, абрикосы — все здесь растет и щедро плодоносит.

Заплатив хозяину караван-сарая, Юсуф поспешил

на базар. Базаров было много, на каждом свой товар: пряности и благовония, ковры и ткани, синяя краска индиго и пурпурная кашениль, слоновая кость и черное дерево. А самый большой торг — конный. Лошади здесь ценятся еще дороже, чем в Тароме. Властителям Малабара, Виджаянагара, Бахмани нужны тысячи коней. Здесь купленных лошадей отучали от ячменя и сена, кормили вареным рисом, сушеными финиками.

«А жемчуга-то сколько!» — подивился купец. Вот так базар, нигде такого нет! Жемчуг всех цветов: серебристо-белый, нежно-розовый, золотистый, кремовый, ярко-розовый, фиолетовый, даже черный. Полные блюда и ларцы, а то и просто ссыпан горохом на ковры — щетинки ворса мешают перлам раскатиться. Хочешь, при тебе мастер терпеливо просверлит жемчужину тонкой иглой, нанижет на вощеную нить, украсит рукоять кинжала, браслет, хоть с ног до головы унижет тебя жемчугом. Груды сокровищ сияли, радужно переливались, мерцали, вспыхивали огнем. Юсуф перебирал россыпи мелочи — жемчужную пыль, разглядывал розовые волнистые горошины, бережно брал самые крупные, со спелую вишню, — положишь такой на блюдо, долго катится, потому и называется «окатный».

Здесь Юсуф мог выгодно продать коня, купить много жемчуга, за который щедро платят во всех землях. Смотри, купец, не прогадай, не упusti прибыли! Но Юсуф только оглаживал курчавящуюся рыжую бороду и не продавал коня, хотя красив ормузский жемчуг! Где же родится такое диво радостное, неужели прячется на слоновьем лбу или рождается из дождевых капель, падающих в море, где их ловят раковины в перламутровые створки? А может, это слезы морских дев? Спросить бы... Но торговцы, наперебой зазывавшие купца, только пожимали плечами, когда он спрашивал: «Не знаем, не ведаем». Нет, знали хитрецы, ведали, но умели держать язык за зубами.

Не первый день ходит Юсуф по базарам, обошел все мастерские, прилепившиеся к толстым стенам крепости, видел, как плавят золото, куют сталь, вытягивают на гончарном круге узкогорлые кувшины, красят в чанах шерсть и пряжу, но все это он видел много раз, сам мог делать кузнечную и шорную работу,

тесать дерево и камень и не хуже воина держал клинок в руках. Многому учит дорога, и нелегка наука странствий.

Голова кружится от жара, стука, крика: кричат погонщики, менялы, брадобрее, торговцы,— такой гвалт, будто конец света. Только женщины с медными кувшинами на голове идут молча, все в волосяных или кисейных покрывалах, и не поймешь, девушка идет или старуха. Тут же вездесущие соглядатаи эмирские следят, как ведется торг, не обмеривают ли, не обвешивают, платят ли исправно пошлину в казну, не ведут ли дерзких речей против власти?

Вернувшись в караван-сарай, купец первым делом проводывал Сокола,— конь тихо ржал, тянулся мягкими губами к ладони, брал лепешку. Юсуф гладил белую проточину во лбу, клал на спину войлочный потник, ковровое седло, затягивал крепкие подпруги и шагом правил Сокола к берегу,— в эту пору жара отпускала, ветер с моря приносил прохладу. Жалобно скрипели рассохшиеся лодки, на вешалах сушились забитые травой рыбацкие сети. Подняв мохнатые морды, лежали на песке верблюды, темнокожие погонщики в длинных белых рубахах без рукавов туго увязывали тяжелые бруски соли. Под косым парусом уходит лодка. Куда держит путь, не за жемчугом?

Выбеленный ветром парус далеко. На такой лодке опасно пускаться в путь с конем, а на больших кораблях провоз дорог. Но медлить нельзя, уже не раз замечал купец недобрые взгляды, спиной чуял кого-то, крадущегося по пятам,— может, конокрад, ведь многие заметили пегого жеребца. А может, и соглядатай эмира ходит по пятам. Надо торопиться, а то, не дай бог, заболает конь, захромает — тогда что? Ведь Сокол — все его богатство, нет у него больше ничего.

Конечно, хочется самому взглянуть, где родится жемчуг, но дивные самоцветы — одно из чудес, а в Индии чудес много. Сказывают, люди там благочестивы и добры, одежды шить не умеют и ходят нагишом, нет там царей и вельмож, купли-продажи, распрей и зависти, воровства и разбоя. А питаются тамошние люди плодами и сладкой дождевой водой. Еще слышал Юсуф: путь в Индию лежит мимо горы Магнит, притягивающей железо, и если корабль сбит гвоздями, то гвозди те повыскочат и люди утонут,

поэтому плывут туда на больших тавах, связанных веревками. И много в Индии слонов, свирепых тигров, змей и хитрых обезьян,— вот какая страна, куда надумал он идти, и дума эта лишала сна.

Ополоснув лицо, руки и ноги, Юсуф повязал зеленую чалму, подпоясал халат, натянул мягкие юфтовые сапоги. Огляделся, не оставил ли чего в каморке? Свернул коврик — и почувствовал, как ноги отнялись от страха. Чуть не забыл сшитую тетрадь, куда записывал все, что видел. Распустил кушак, бережно завернул в него заветную тетрадь, снова подпоясался. Потрогал мешочек с медной чернильницей и тростниковым пером, другой мешочек — с деньгами, взял ковровые переметные сумы.

Рано, но уже парит, на каждом клочке тени дровиш, торговец жареным кебабом или бродячий певец. Под корявой акацией, ронявшей из лопнувших стручков сухие фасолины, сидел на корточках старик-гадальщик, редкая седая борода укрыла впалую грудь. По коврику расхаживает удивительная птица, огромным клювом сердито долбит обломок весла, словно лучину колет.

К гадальщику подходили торговцы, женщины в покрывалах, стражники. Он что-то шептал птице, и та, цапнув с ковра свернутую бумажку, вспархивала на плечо тому, кто бросит старику медяк. Перед дальней дорогой нелишне знать, что тебя ожидает. Юсуф тоже бросил медную монету. Встряхнув оранжево-зеленым хохолком, птица взлетела ему на плечо. Купец потянул из клюва бумажку, но птица не отдала, растопорщилась, больно царапая плечо острыми когтями.

— Почтенный купец, моя птица сразу отличит бедняка от богача и с каждого берет достойную плату. Нет равных ей по уму и красоте, вместе со мной она совершила паломничество в Мекку и Кербелу и по истине могла бы носить зеленую чалму хаджи. Она умеет говорить и умеет молчать.

— Говорить? — не поверил купец.

— Да, да, ведь эта птица необычная.— «Гарриб»<sup>1</sup> — скрипуче произнесла птица. И люди восхищенно цокали, качая головой.— Видишь, она сразу узнала, что ты пришел издалека.

---

<sup>1</sup> Г а р и б — скиталец, чужестранец (*перс.*).

— Невиданное дело, чтоб пернатая знала человеческую речь! Откуда это диво?

— О, купец! Их называют попугаями, а рождаются они на земле или прилетают из рая, не знаю, но это создание удивительнее женщины, увлекательнее сказки. Слышал ли ты рассказ о молодом купце? Тогда послушай. Однажды молодой купец пришел на базар и увидел попугая. Спросил, какая ему цена. Продавец ответил: тысяча динаров. Купец засмеялся: неужели найдется глупец, который истратит столько денег на пригоршню перьев, закуску для кошки? Но попугай возразил ему? «Эх, юноша! Как ты можешь знать мне цену? Хотя я не святой, но одежда у меня зеленая. Хотя я не путник, но постоянно странствую. Хотя не певец, но сладкоречив. Я не только сокровище радости и знаний, но верный друг и искренний приятель». Купец заплатил тысячу динаров и никогда не жалел об этом. Видишь, эта птица не хочет возвращаться с твоего плеча...

И правда, попугай переступал лапками, нахохлился. Юсуф погладил хохолок, птица осторожно схватила клювом палец, посмотрела изумрудными глазами.

— Почтенный, я охотно заплатил бы за дивную птицу тысячу золотых, но у меня нет и десяти.

— Э, что такое золотой? Тюремщик алчных и палач скупых! Золото — услада дураков; дурак от чрезвычайной глупости только тем и занят, чтоб накопить богатство, на это тратит всю жизнь, поэтому он неизбежно накопит больше, чем остальные люди. Ты понравился мне, купец, но дорога твоя далека и опасна. А в пути нельзя без верного спутника. Возьми в подарок эту удивительную птицу.

— Да умножит аллах твои дни на земле! — Юсуф прижал ладонь к сердцу и глазам, поклонился гадалщику.

Взметая брызги, падали в воду якоря, кузнецы приковывали рабов к веслам, громко молились паломники, доверившие себя ветру и волнам. Вдруг все бросились врассыпную — с грохотом раскатилась гора бочек, сбивая людей с ног, хорошо еще, что бочки были пустые. Моряки всматривались в даль из-под ладоней, черных от смолы; послунявив палец, узнавали, куда дует ветер. Проверяли запасы пресной воды, па-

русины, канатов, запасных весел и вара. Под навесом писцы заносили в толстые книги, какой товар вывозят из Ормуза, брали пошлину с купцов — с мусульман меньше, со всех остальных больше. Но если тава везла двадцать коней, то команду и купцов освобождали от налога. Поэтому мореходы охотно брали всадников. Зазывали и Юсуфа. Спросив цену за провоз, он шел к другому кораблю, круто выгнувшему просмоленный борт. Особенно долго торговался с юным арабом в белой накидке. Мореход привык кричать, отдавая команды в шторм, но и он устал торговаться. Воздел жилистые руки, глухо стукнули мраморные браслеты.

— О, синеглазый и рыжебородый, связался я с тобой себе в убыток! Четыре золотых! Аллах свидетель, если не заплатишь сколько сказано, поднимаю паруса.

— Три! — просипел охрипший Юсуф.

— Два с тебя, один с коня, а за птицу кто заплатит?

— А сколько ты возьмешь за блох в моем халате? Разве эта птица ростом с верблюда, что ты задумал разорить меня?

— Ладно, три динара и один дирхем.

— Три, и пусть аллах пошлет тебе трех жен!

— Тьфу ты, упрямец! Эй, бездельники, убрать сходни, поднять якорь!

— Хорошо, хорошо, я заплачу, — согласился купец.

Он осторожно провел по узким сходням Сокола, на седле сидел попугай. Когда проходили мимо капитана, птица громко крикнула: «Дур-рак».

— И за это ты тоже мне заплатишь, — захохотал араб. — Я же говорил, купец, — четыре золотых!

Палуба была просторная, куда шире ормузских улиц — девять шагов в ширину и сорок в длину. Такой корабль, высотой в два человеческих роста, вмещал несколько караванов вместе с верблюдами, погонщиками, грузом.

Пока матросы готовились к отплытию, Юсуф подвязал Соколу торбу с ячменем.

— Ешь вдоволь, Сокол, далекая у нас дорога. А теперь водицы попей — чистой, холодной, долго такой не будет. Верно я говорю, Красава?

— Верно, верно, — ответил попугай. — Красава.

Юсуф свел коня по пологому сходу в трюм, где в разгороженных вдоль борта стойлах испуганно ржали жеребцы — эмир Ормуза запрещал вывозить в Индию кобыл, чтоб не лишиться прибыли от выгодной торговли. В трюме же хранился груз и провиант: прочно увязанные тюки, коробка, бруски соли, бурдюки с пресной водой, пузатые мешки риса и муки, вяленое мясо. В загоне блеяли овцы, на насестах кудахтали куры.

Между трюмом и палубой устроены тесные низкие каюты, где с трудом помещался коврик для молитвы, переметная сума и медный кувшин с водой.

Купец разыскал капитана и отсчитал деньги. Среди монет в кошеле он заметил свернутую бумажку, взятую у старика-гадальщика. Отойдя подальше, Юсуф прочитал узорчатую вязь арабских букв: «Даже переплыв океан, мы меняем небеса, но не душу».

Он задумчиво поднял голову. Небо пламенело, Ормуз остался далеко, виднелись только острия высоких белых минаретов и грозные башни крепости. Впереди безбрежно расстилался Индийский океан.

Было 9 апреля 1469 года.

## Глава 5

Купец Юсуф немало ходил с товарами по Каспийскому и Черному морям, но океан видел впервые.

Целый месяц тава с конями и людьми без усталости спешила к индийским берегам. Один день был похож на другой, как летучие рыбы, которые вспыхивали, словно искры, бороздя дрожащими полосами зеленую воду, взлетали, трепеща острыми серебристо-пурпурными крыльями. Иные летели долго, но, обессилев, шлепались на палубу, на спящих в тени паруса матросов — дочерна обожженных солнцем, в одних набренных повязках.

Едва из океанских вод вставало огромное оранжевое солнце, вахтенный громким криком будил команду: «Вставайте, молитва лучше сна!» — и вскакивала сонная команда. Повар раздавал каждому пригоршню фиников и чашку риса.

В плавании и матрос, и пассажир должны сами заботиться о пропитании. Единственное, что было общим для всех, — глиняная печка на носу, похожая на



бочонок, в ней пекли лепешки. И еще большой медный кувшин с водой. Около печки и кувшина всегда сидел матрос, следя, чтоб при сильной качке горячий уголек не выкатился на палубу, а драгоценная вода не расплескалась. Он же следил за курсом тавы, часто смотря на чашку с маслом, где плавала маленькая железная птичка, всегда показывавшая клювом на восток, хвостиком на запад. Это был компас.

Капитан Ахмад ел отдельно — на высоко поднятой корме. Молодой, совсем юноша, смуглолицый и кареглазый, он происходил из семьи потомственных мореходов. Иногда капитан приглашал на корму Юсуфа. Повар ставил перед ними блюдо с дымящимся пловом. Хозяин и гость едят молча, по очереди беря щепоть жирного риса, пряного от шафрана. Когда Ахмад поднимал руку, постукивали тяжелые мраморные браслеты. Заметив взгляд Юсуфа, капитан засмеялся.

— Это не украшение, купец,— браслеты защищают запястья от сабельных ударов. В прошлое плавание возле Гоа на нас напали пираты. Один из них хотел срубить мне голову, но я успел подставить руку — и клинок соскользнул. Видишь? — Ахмад поддернул широкий рукав белой накидки, показывая длинный шрам на смуглом локте.

— Ты молод, а так много пережил. И не страшно тебе пускаться в плавание по бурному морю?

— Так купец однажды спросил морехода: как не боишься на хрупком корабле пускаться по волнам? На что мореход ему ответил: «А как ты каждый день не боишься засыпать? Ведь в постели умерло гораздо больше людей, чем утонуло в морской пучине». Я вырос в море. В шесть лет я впервые поднялся на палубу с моим отцом Маджидом, а в шестнадцать сам провел таву из Ормуза в Москат. В море быстро взрослеют.

— Да...— Юсуф отщипнул лепешку, подал попугаю, сидевшему на плече.— Ты много раз ходил в Индию?

— Шесть.

— Правда ли, что говорят об этой земле?

— Кто знает? Я бывал только в Дегу, Гоа, Камбате, Чауле, видел лишь краешек неведомой земли. Она как женщина под покрывалом, прошла, а кто она —

девушка или старуха? Пленная рабыня или госпожа?

— Вчера один купец сказывал, что есть там место, где обитают люди совсем без головы, глаза и рот у них на груди. А у истоков великой реки Ганг живет народ с такими огромными ушами, что, ложась спать, кутаются в них, как в одеяло.

— А он не рассказывал про одноногих? У них одна нога, зато такая, что если лечь на землю и поднять ее над головой, она защищает от дождя не хуже зонтика. Ха-ха-ха! Только никто не знает, какая это нога — правая или левая?

— Я тоже не верю, что аллах создал таких несчастных. Конечно, все народы разные, ведь и дети одной матери бывают непохожи.

— Ты все-таки странный купец. Другие спрашивают о ценах на пряности, как отличить настоящие алмазы от поддельных, где продать дороже, а купить дешевле. А ты спрашиваешь меня названия звезд, парусов, ветров. И все записываешь — повар видел. Не бойся, но будь осторожен, не все, кто выдает себя за купцов и паломников, на самом деле таковы.

— Перо и чернила угодны аллаху, но спасибо за добрый совет. Ну, Красава, не будем мешать мореходу.

Солнечные лучи, рассыпаясь по воде, переливались золотисто-синими бликами. Разрезая острым носом зеленые волны, тава оставляла за кормой длинный пенный след.

На тридцать второй день пути в океане Юсуф впервые увидел кита: он всплыл, как остров, совсем близко, шумно пуская высокий фонтан, хвост его был как раскрытая книга. Наперегонки с ним резвились, выпрыгивая из воды, черноспинные дельфины.

— Ну-ка, Красава, посмотри, далеко земля?

Попугай взлетал, цеплялся лапками за снасти и, как настоящий матрос, карабкался на верхушку мачты, сердито вереща на летучих рыб. Он вертел пестрой головкой во все стороны, но нигде не было земли. Только киты проплывали, как острова с одинокими пальмами.

Случалось, паруса бессильно никли. Океан разглаживал морщины, застывал ровно, как стекло. По палубе нельзя было ступить босиком, горячие доски обжигали пятки. В трюме жалобно ржали кони, бля-

ли овцы. Матросы окатывали палубу морской водой, она сразу высыхала, оставляя белый налет соли. В каюте было душно, на палубе жара. Все ждали ветра.

Матросы латали порванные паруса, сплетали канаты, чинили огромные весла. Но вот на остекленевшей глади закурчавился пенный барашек, за ним другой, третий... Лениво колыхнулась белая накидка капитана, и повеселевший Ахмад, взглянув на железную птичку в чашке с маслом, радостно кричит: «На мизан!» «Мизан» означает «весы» — так называют косой парус на малой мачте, его поднимают при встречном ветре. А при попутном ставят квадратный парус на большой мачте. Два паруса, как чаши весов, уравновешивают переменчивый ветер.

Команда проворно распутывает узлы, выбирает канаты. На мачте рывками поднимается треугольное полотнище. Скрипят мачты, стонут купцы, проклиная день, когда оставили надежную землю, а волны вздымаются все выше, грозно накатывают друг на друга, с оглушительным грохотом разбиваясь о корабль.

...На исходе шестой недели Красаве пришлось потесниться — десяток птиц сели на снасти, предупреждая о близкой земле. Океанская дорога становилась оживленной — ормузской таве встречались кутии из Бомбея, турецкие фелюки, красноморские самбуки, китайские джонки с нарисованными глазами.

Матросы мыли палубу, подметали пальмовыми вениками опустевший трюм. Дул ровный сильный бриз, тава плясала на волнах; крепко держась за канат, промокший Юсуф вглядывался в кипящую даль. Не сразу он увидел низкий Малабарский берег, желтую полосу с зелеными пятнами пальм.

Вокруг тавы сновали узкие лодки с темнокожими голыми людьми; они протягивали кокосовые орехи и гроздь бананов, — у каждого из них было две ноги, два глаза и уши, совсем непохожие на одеяла.

Тяжело плюхнулся якорь. Хаджи Юсуф простился с отважным мореходом, свел по трапу истомившегося Сокола. Ну, вот и долгожданная земля — Индия! Купец опустился на колени, простер руки, зеленая чалма коснулась горячего песка, рыжие песчинки прилипли к потному лбу.

## Глава 6

Малабарка с тяжелой корзиной на голове удивленно посмотрела вслед хаджи Юсуфу — такого белокожего в Пали никогда не видели. Заметив, что чужеземец не сердится, большеглазые черные мальчишки подкрадывались совсем близко, касались полосатого халата.

— Ах вы, чертенята! — Купец хмурил брови, надувал щеки, и смельчаки с визгом улепетывали, сверкая смуглыми пятками.

Солнце одолело уже две трети дневного пути, клонилось к западу. Стрекотали стрекозы, дрожа слюдяными крылышками. Медлительные черномордые буйволы возвращались с полей, изогнутые рога украшены цветами, на шеях покачиваются бубенцы и амулеты. Усталые крестьяне идут в деревню и тоже удивленно смотрят на Юсуфа, а он, расстелив коврик в тени громадного баньяна, смотрит на зеленые полосы полей, засаженных рисом, пшеницей, горохом; у каждого поля свой оттенок зелени, от желтоватого до розовато-голубого.

В каждом селении есть патха-сале — приют странника, где пришельцу три дня бесплатно дают кров и пищу, а если хочешь оставаться дольше, плати. Дом разделен на две половины — для индусов и мусульман. Но мусульманин в Пали лишь один — торговец Мубарак, целыми днями сидящий на маленьких мягких подушках. Скупает хлопок, апельсины, рис, продает ткани, медную посуду, стеклянные бусы. Но в такую жару лень торговаться, приятнее пить сладкий розовый шербет.

— Э, почтенный Юсуф, какой здесь барыш? Если бы не лень, давно бы отправился в Джуннар или Бидар, а здесь сколько наторговал, столько и проел. Садись, сыграем в шахматы.

Юсуф всегда проигрывает Мубараку, но зато каждый раз узнает новое, ведь не всегда торговец, растолстевший, как квашня, сиднем сидел в лавке — он бывал во многих городах, жил в столице Бахманийского царства Бидаре, еще когда не родился нынешний правитель Мухаммед III. Правда, султан и сейчас молод, ему всего пятнадцать лет, он взошел на престол девятилетним мальчиком, поэтому от его имени

правит всемогущий великий везир Махмуд Гаван, носящий пышный титул «ходжа и-джихан» — «министр мира».

— Ты спрашиваешь, видел ли я великого везира? — Кряхтя, Мубарак потянулся за белой ладьей. — Так же, как тебя, ведь мы с ним плыли в Дабул на одном корабле. Он купец, я купец. И знаешь, я даже лучше играл в шахматы, чем он. Да, да. Из Дабула я пошел в Чаул, а Махмуд в Бидар и там снискал расположение Ахмед-шаха — деда нынешнего султана. Мне семьдесят лет, а Махмуду... э... он лет на пять моложе. Я играю с тобой в шахматы, веду жалкую торговлишку, а он правит половиной мира. Ах, Юсуф, если б наши пути тогда не разошлись, кто знает, может, и я сейчас был бы министром. — Мубарак усмехнулся, сделал ход слоном. — Один неверный ход, и кто-то правит миром, а кто-то переставляет костяные фигурки. Шах, почтенный!

Юсуф вышел от торговца. Со стороны моря небо заволокли облака, толстые, как подушки, сверху розовые, снизу пурпурно-оранжевые. Небо потемнело, раскаты грома и вспышки молний все усиливались. Синяя тьма окутала горы. Пахта-сале словно растворился в сгустившейся синеве, только неохватный ствол баньяна указывал, куда идти. Зигзаги молний слепили. Купец закрыл рукавом глаза, и тотчас хлынул ливень. Река Сина забурилась, вспенилась, голые мальчишки бегали по лужам, ловя губами дождевые струи.

Юсуф добежал до навеса, но чалма и халат вымокли насквозь. Служанка подметала комнату, нахолившийся попугай сердито прыгал на жердочке. «Я с тобой не разговариваю, — всем своим видом показывала Красава. — Ты плохой, и служанка плохая, она меня не кормила».

— Ну и не разговаривай! Ишь надулся, как мышь на крупу.

Служанка изумленно смотрит на купца — кожа белая, как молоко, а у нее черная, как деготь. Наверное, у купца есть волшебные благовония, от которых кожа становится прекрасной, как лунный свет. И конь у него необычной пегой масти, и птица всюду сует нос, а потом жалуется хозяину.

Она уносит мокрую одежду, а приносит кусок зо-

лотистой ткани. Купец пробует обмотать ее вокруг пояса и ног, но ничего не получается. Смеясь, служанка несколькими движениями превращает материю на себе в длинную юбку-дхоти, золотистая ткань ловко охватывает гибкую фигуру, как бы освещая приветливое, смуглое лицо с алым пятнышком на лбу, густые черные волосы, пухлые смешливые губы.

Попугай слетел с жердочки, отвернувшись, прошел мимо блюда с вареным рисом, потом бочком-бочком, сердито ворча, подпрыгнул и схватил клювом рис.

— Ешь, Красава. Кончится дождь, пойдем дальше, в Джуннар. Здесь нужного товара нет, а там большой город, дорого дают за коней. Орехов тебе куплю.

Но дождь лил целую неделю. А путь предстоял неблизкий, верст сто пятьдесят — через бурливую Сину, через вздувшуюся от ливней Бхиму, смывшую висячие мосты. Не раз он переправлялся вплавь, крепко держась за гриву Сокола, и, обсыхая на ходу, шел дальше — переваливая Гатские горы, по жаркому нагорью с редкими полями, выжженными зноем. Хорошо еще, что в патха-сале путника кормили, а так пришлось бы совсем туго, — денег почти не осталось. И за все время только и вписал купец в тетрадь: «Из Чаула пошли сухим путем до Пали 8 дней, то индийские города; а от Пали до Умри 10 дней — это индийский город; а от Умри до Джуннара 6 дней. Куда бы я ни пошел, так за мной людей много — дивятся белому человеку...» И ничего о товаре, ради которого странствовал по свету вот уже три года.

Но Джуннар оказался меньше, чем предполагал хаджи. Крепость, действительно, была грозная, неприступная, на скале, к ней вела узкая дорога, охранявшаяся воинами со щитами, обнаженными саблями, тугими луками и колчанами, полными стрел с трехцветным опереньем — так легче их отыскивать на земле среди камней. Наместник области Асад-хан жил в крепости, а всеми делами города ведал кутовал — градоначальник, которому подчинялись двенадцать тысяч стражников. Он назначал торговых и ремесленных старшин, следил, чтоб ночью никто не выходил из городских ворот, не слонялся по улицам без дела; заботился о порядке и чистоте в городе, отыскивал воров и украденное, проверял длину аршинов и вес

гирь; запрещал продажу вина, если же вино делали тайно, он через соглядатаев искал и наказывал винодельцев. На эту должность назначали человека опытного, храброго, честного и с быстрым пониманием.

У городских ворот Юсуфу пришлось пережить, когда пройдут слоны. Спешившись, он с любопытством разглядывал гороподобных животных с огромными устрашающими бивнями. Поравнявшись с бассейном, слон опускал хобот и окатывал себя водой. Последнему слону не хватило воды, он заревел, топоча огромными ножищами. Испуганный Сокол присел, едва не сбив с ног хозяина, да Юсуф и сам отбежал подальше — шутка ли, если зверь-гора наступит на ногу!

Наконец торговцы, странники, нищие прошли ворота, ступив в город. Индусы называли его Жунангар — Старый город, персы переделали в Джуннар. Все здесь дышало стариной — сумрачные храмы с мерцающими огоньками светильников, огромные деревья, в тени которых торговцы разложили свой товар. Лениво брели коровы, останавливаясь, поедали целые корзины зелени, а торговцы почтительно ждали, когда животное насытится. Юсуфа это удивляло — коровам жилось куда легче, чем беднякам, мечтающим о горстке риса. Он видел исхудавших стариков, у которых не было сил подняться, они молча умирали. Видел прозрачных от голода детишек на кривых ножках и видел стаи обезьян, хозяйничавших в лавках, хватавших целые гроздья спелых бананов, сладкие дыни, спелые кокосовые орехи — их никто не прогонял, наоборот, им почтительно кланялись. Сколько голодных людей! Сколько сытых коров и обезьян!

Он и сам проголодался, в кошельке осталось только три серебряные монеты, а надо и себя кормить, и коня, и попугая. Как на беду, вступило в поясницу — продуло в горах, не мог даже молиться. Подойдя к водоему, увидел сидевших нищих — они жадно смотрели на лепешку в его руке.

— Кто испуает и вычистит коня, получит лепешку, — сказал хаджи.

— О господин, а купать всего коня? — Хаджи не понял. Заметив его недоумение, индус объяснил: — Только спину и бока мыть или копыта тоже? То, что

выше пояса, я могу мыть и чистить, а ниже пояса нельзя. Джати<sup>1</sup>. Ступай к нечистым.

Юсуф не первый раз слышал это слово — «джати», но не мог понять, что оно означает. Почему в жены семилетнему карапузу отдают красивую девушку? Джати. Почему брахман<sup>2</sup>, умирающий от жажды, скорее умрет, чем возьмет чашу с водой из рук подметальщика? Джати. Почему одних брадобрей только бреет, а другим еще обрезает ногти? Джати. Почему, вызвав трех свидетелей, брахману судья говорит: «Скажи», воину: «Скажи правду», сторожу: «Если будешь лгать, велю тебя бить палками»? Джати.

— А где нечистые? — спросил Юсуф.

Нищий показал на такого же, как он, морщинистого, беззубого, исхудавшего подметальщика.

— Подметальщик, искупай моего коня, я дам тебе лепешку — вкусная, горячая. — Правда, лепешка успела остыть, пока он говорил с нищим.

— Господин хочет, чтобы я искупал благородного коня спереди или сзади?

— Начинай откуда хочешь, только бы он был чистым.

— Тогда я вымою его от морды до седла...

— Да почему же не всего коня, ишачья голова! — не вытерпел купец.

— Мне нужна половина лепешки.

— Но ведь завтра ты снова захочешь есть? Вот и съешь еще пол-лепешки.

— Мне нужна половина лепешки.

Хаджи плюнул и, охая от боли в пояснице, сам стал мыть Сокола. Без сил опустился на землю, разломил лепешку, половину отдал подметальщику — тот испуганно попятился.

— О аллах, что за люди!

Не взял лепешку и нищий, словно купец протянул ему камень, а не хлеб. Проходивший мимо стражник засмеялся.

— Хаджи, видно, ты недавно пришел в Джуннар. Мы с тобой мусульмане, а эти собаки скорее издохнут, чем возьмут что-нибудь от нас. Они глупее баранов и упрямее ослов.

---

<sup>1</sup> Джати — каста.

<sup>2</sup> Брахман — высшая каста.



— Да, я пришел в город сегодня. Ищу, где мне остановиться на ночлег.

— Тут близко патха-сале, я покажу дорогу.

Ворота открыл сторож, позвал старосту — в белом дхоти, с разбитыми ступнями; староста присел на корточки, достал бумагу, медную чернильницу и тростниковое перо.

— Откуда и куда ты идешь, путник?

— Я купец, зовут меня хаджи Юсуф. Иду из Хоросана в Бидар.

— А меня зовут Кумар. Шанти! — Вошла девушка, поклонилась купцу и старосте. — Принеси гостю молока. Это моя дочь, почтенный купец, она убирает дом и исполнит все твои желания. А по какому делу ты идешь в Бидар?

— Дело наше известное: покупать и продавать.

— Где же твой товар?

— В стойле. Привел на продажу коня.

— Есть ли у тебя товарищи, купец?

— Только пегий конь да говорящая птица.

Староста старательно записывал, утром он должен был отнести бумагу во дворец градоначальника. Так делали на всех постоянных дворах, чтобы кутовал знал, кто, откуда и зачем пришел в Джуннар, нет ли среди прибывших людей подозрительных.

— С этим конем ты и пришел?

— Верно, староста. Можешь записать, что конь мой обгонит любого скакуна, он летит как птица, поэтому зовут его Соколом.

— Есть ли у тебя оружие?

Юсуф вынул из-за пояса кривой нож. Он знал, что староста на ночь отбирает у постояльцев оружие, а утром возвращает. Кумар внимательно осмотрел рукоятку из рога, острое лезвие.

— Хороший нож, настоящий булат.

— Нож добрый, а уж какой он, настоящий или не настоящий, аллах знает. Говорят, булат ковали ваши кузнецы, но теперь и они не умеют.

— Кто умел, тот умеет; кто не умел, не научится. Джати.

— Кумар, сто раз слышу это слово, а что оно значит, никак не пойму. Может, хоть ты скажешь?

— Ты чужеземец, хаджи... Хотя я задал много вопросов, но они ничего мне не сказали о тебе, и еще ты-

сяча вопросов ничего не скажет. А если бы передо мной сидел индус, достаточно ему было бы сказать: «я брахман» или «я махар<sup>1</sup>» — и все сказано. Брахман — святой человек, махар — гнусный, если хотя бы тень его коснется другого, тот считается грязным, не может войти в свой дом, пока не очистится. Джати! Джати — это все: жена, дом, еда, работа. Носильщик паланкина не будет носить тюки или корзины; продавец воды не торгует сладостями; булатник кует только оружие, но не серпы. Поэт почтеннее купца, серебряных дел мастер выше медника. Джати! Понял теперь?

— Ничего не понял. Вера у вас всех, что ли, разная?

— Джати — это люди одной крови.

Исходив весь город, Юсуф вернулся в патха-сале и долго не мог заснуть — кричали обезьяны. За тонкой стенкой кто-то ворочался, кашлял. Юсуф набросил халат, прошел в соседнюю каморку. На циновке лежал монах в суконной рясе, ветхой и многим потом пропитанной, черная борода свалаялась, дышит тяжело.

— На, попей.

— Поди прочь, пес басурманский! — Жилистый кулак неожиданно сильно толкнул склонившегося Юсуфа, так что чашка вылетела из рук, а сам хаджи едва устоял на ногах.

— Я пес?! Я не пес, я... — Хаджи зажал двумя руками рот, словно изо рта могло вырваться пламя и испепелить неверного.

Заслышав греческую речь, монах испуганно перекрестился. А купец засмеялся.

— Что, перепугался? Видно, ты из тех, кто напьется — с царем дерется, а проспится — свиньи боится. В другой раз придержи язык, а то не сносить тебе головы.

— Откуда ты так хорошо выучился нашему языку?

— Жизнь выучила. Бывал в Царьграде, жил у земляка возле Калигарийских ворот.

Купец осторожно подошел к дверям, приложил ухо, почудились шаги, но нет, тихо.

— Не один я знаю греческую речь, запомни.

---

<sup>1</sup> Махар — низшая каста.

— Прости, друг, бес меня попутал.

— Быстро же у тебя пес другом становится,— проворчал Юсуф.— На, попей воды. Лекаря тебе надо.

— Прости, коли обидел тебя... Не знаю твоего имени.

— Я хаджи Юсуф из Хоросана, купец. А тебя какая забота привела в Джуннар?

— Монах я, зовусь Нестором, а послала меня братия сыскать христиан в этой земле. Сказывают, есть, да не нашел и, видно, не найду.

— Ничего, вернешься к братии, ведь имя твое и означает по-гречески «вернувшийся на родину».

— Нет, не вернуться мне, купец Юсуф.

— Да ты посмотри на свои ручищи — сила у тебя подковы гнуть! Так толкнул меня, будто конь лягнул.

— Была силушка, да ушла. Может, слышал, как турки Царьград приступом взяли?

— Слышал. Тому уж лет двадцать минуло.

— Восемнадцать. Напал тогда на нас Мехмед с огромным войском. Сам император Константин с патриархом объезжали город, благословляя воинов на бой, но силы были неравные: у султана двести тыщ, а у нас только пять, да две тыщи генуэзцев, да армян семьсот. Пушки палили, колокола звонили, от криков и плача, кажется, небо с землей смешалось — уж таково тяжело было. Многие гибли от огня, задыхались от порохового смрада. Бились врукопашную на всех стенах со свету до темени, а утро начиналось — снова бились. Два месяца держали осаду.

А я пушки лил, но тут пришлось стать пушкарем, некому стало палить. А турки сделали две бомбарды ужасные: у одной ядро высотой до колена, у второй — до пояса. Каждую бомбарду шестьдесят быков тянуло. Как ударили, гром пошел, земля вздрогнула, стена зашаталась, а после второго выстрела обрушилась сажень на пять. За ночь мы пролом заделали, поставили новую стену, а утром турки снова пушку зарядили, но ядро прошло выше стены, только зубцы снесло. И тут я свою пушку запалил, попал в их бомбарду — разорвало у нее зелейник. Увидя это, султан разъярился и погнал своих на приступ. Убитые вали-

лись, как снопы, кровь лилась по стенам, рвы доверху наполнились мертвыми, а турки по ним карабкались, как по ступеням. И так бились не день, не месяц, а полгода. Уже и стен с башнями не осталось, на всех семи холмах лютовала битва, а самая страшная сеча у Золотых ворот — там сам император Константин устремился с мечом на врага и погиб со всей гвардией. А я, несчастный, был полонен и продан в Кафу. Злая моя судьба, Юсуф. Ты хоть и басурман, а дал напиться, а там купил меня купец-христианин да велел приковать к веслу на цепь, как сторожевого пса. Ох, били нас! Да, хвала господу, выкупил меня из лютой неволи старец Геласий, с ним я и ушел на гору Афон.

— Нестор, ты был пушечным мастером, знаешь, как плавить медь и железо, а скажи: правда ли, что есть тут оружейники, будто крепчайший булат куют? Или только говорят такое, чтоб с купцов втридорога взять?

— Есть мастера добрые, но секрет булата хранят в тайне. Да на что тебе?

— А просто так спросил. Видел, как сегодня знакомый купец покупал саблю у индуса, и подивился цене. Отвалишь горсть золота, а как узнать — булат или другая сталь?

— Берегись булата... — Монах закашлялся, тяжелый крест бился под рясой, как птица в силке, застонал. — О, господи, вторую ночь прилетает...

Хаджи тревожно оглянулся.

— Да нет здесь никого, чудится тебе.

Утром пошел на базар за лекарем, привел в патха-сале. Тот осмотрел Нестора, велел пить козье молоко, настой из трав. А во дворе сказал Юсуфу:

— Хаджи, эта болезнь от влажности и зноя, она часто бывает у христиан. Влажный воздух размягчает кожу и ослабляет тело, наводит на человека тоску. Отсюда и лихорадка, и головная боль, и обмороки. Этому больному нужна прохлада, северный ветер и высокое место.

— А теперь что делать?

— Пить лекарство.

Три дня Юсуф не отходил от Нестора, поил его молоком, отварами трав.

Но Нестор даже не узнавал его, что-то бормотал, смотрел в потолок, то мерз, то в жар его бросало.

— О, господи, опять она здесь!

— Да кто? Здесь только мы с тобой, нет никого.

— Опять... птица гукук.— И правда, где-то словно крылья прихлопывают.— На чей дом сядет, там человек умрет. А кто ее захочет убить, на того она огонь пускает.

Нестор задышался, бессвязный шепот шелестел, как сухие листья, Юсуф толкнул дверь — заперта. Налег плечом — не поддается. Темно, шорохи из всех углов. Гху-кху, гху-кху... не то стонет кто-то, не то ухает по-совиному. И кажется, возле самого лица мечется проклятая птица, задевая мягким крылом бороду. Купец закричал. Заскрежетал засов, он рванул дверь и отшатнулся: в лицо полыхнул смоляной огонь факелов.

## Глава 7

Навалились, заломили руки; потащили. Тряхнул купец крепкими плечами, сбросил стражников, но снова схватили за руки, за шею, поволокли во двор. Плеть ожгла щеку, плечи опутала веревка. Куда вели, не ведал, боль и гнев захлестнули сердце.

Так и не развязав, втокнули в темную смрадную нору, а он не мог понять, что же стряслось, в чем провинился? Щека вспухла, но боль прошла. «Ничего, утро вечера мудренее», — успокаивал себя хаджи Юсуф.

Когда два стражника вывели его из темницы, был слепящий жгучий полдень. Узника повели не к градоначальнику, а в крепость, во дворец наместника. Узкая дорога поднималась в гору; как нитка в игольное ушко, дорога вделась в тяжелые, окованные медными листами ворота. Бесконечно тянулись длинные переходы, мощеные дворы, сады с фонтанами, стрельчатые арки, выложенные лазурными изразцами, под арками прохладные комнаты в коврах — здесь посетители ждали выхода Асад-хана. Наконец миновали широкий двор, мощный белыми плитами и окру-

женный просторной галереей, вошли в квадратный зал; потолок из резного сандала опирался на четыре белоснежные колонны, стены расписаны переплетающимися стеблями и цветами, золотыми строками Корана. Вдоль стен, прорезанных острыми арками, тянулись низкие лежанки, покрытые пестрыми коврами.

На высокой лежанке, с двух сторон обвеваемый громадными опахалами, восседал Асад-хан — в блестящем золотым шитьем халате, толстых шерстяных носках. Смуглое лицо оторочено красной бородой и вислыми усами, а брови черные, углом. Сизый сабельный шрам рассек лоб и бровь. Цепкие пальцы держат сафьяновый мешочек.

— От вора не услышишь правду, но я готов тебя выслушать.

— Могучий хан, я не знаю, за что меня схватили.

Наместник хлопнул в ладони — ввели старосту. Кумар упал на колени и подполз к скамейке.

— О, всеильный хан, этот чужеземец отравил путника и ограбил.

— Ну, ты и теперь станешь врать, что ничего не знаешь? — Наместник взвесил на ладони мешочек. — Что в нем?

— Не знаю.

— Первый раз вижу вора, который не знает, что украл.

Асад-хан вытряхнул из мешочка пурпурные яхонты, травяные изумруды, синие сапфиры, алые рубины — самоцветы искрились, мерцали. Купец изумленно смотрел на сокровище: откуда оно у бедного монаха?

— Клянусь аллахом, я не крал — неверный сам отдал мне мешочек, чтоб я сохранил его.

— Разве ты ему брат или единоведец? Слыхано ли, чтоб кто-то дарил чужому такое богатство? Этому не поверит и ребенок. Если хочешь, чтоб смерть твоя была легкой, чистосердечно скажи, кто ты, что тебе нужно в Джуннаре, зачем ограбил чужеземца?

— Я хаджи Юсуф, бедный купец.

— Худая корова еще не газель. Стража, взять его!

Стражники схватили купца за локти. Его снова вели переходами, двориками. Возле высокой стены он увидел деревянную лохань, куда стражник вывалил

с пуд соли, залил горячей водой из котла, подвешенного над горящими дровами. Второй помешивал в лохани деревянной лопатой. Сидя на корточках, остальные ждали, когда густой рассол остынет, лениво жевали бетель, сплевывая красную слюну. Никто не обращал внимания на узника. Наконец, словно вспомнив о нем, стражники ловко опрокинули его навзничь, вложили в рот палку и втиснули затылком в лохань — горький теплый рассол хлынул в открытый рот, горло судорожно сжалось, нечем дышать, и купец, захлебываясь, глотал, глотал... Нестерпимо жгло живот, свет меркнул и снова брезжил в глазах, мутных от боли.

Выждав, когда жертва откроет глаза, один из мучителей поднес к изъеденным солью губам чашку с топленным овечьим салом. Юсуф отпил глоток, и его вырвало. Корчась от боли и отвращения, он выпил три полные чашки жира. Потом его заставили съесть жидкую пшеничную кашу, сваренную на топленном сале. Не помнил, как его приволокли в темницу.

На следующий день его снова повели в крепость. Проходя мимо конюшни, он увидел воина, чистившего Сокола скребницей. Конь поднял широколобую морду с белой проточиной, заржал, узнал в оборванном узнике хозяина.

— Сокол,— хотел позвать Юсуф, но из горла вырвалось только сипенье.

Асад-хан улыбался, словно хотел угостить купца халвой.

— Оказывается, ты еще украл и коня. Ты очень жадный человек, но я не сержусь. Я сержусь только на сильных врагов, а ты... — Наместник дунул на ладонь.— Я добрый, я не пожалел для тебя столько соли, а соль стоит дорого, поэтому будет справедливо, если ты заплатишь за нее. Я беру эти красивые камешки себе, и будем считать, что мы в расчете. А если ты примешь веру аллаха, я верну тебе коня и дам в придачу тысячу золотых. Не согласишься, потеряешь и коня, и голову. Не упускай выгоду, купец.

— Я хаджи Юсуф из Хоросана,— прохрипел купец.

— Мне нравится твое упрямство, ты так упорствуешь, будто поклялся не говорить правду. Возможно, ты действительно купец, в чем у меня сильное

сомнение, но только не из Хоросана. Ты грек, франк или генуэзец. Хочешь, я назначу тебя сборщиком налогов,— мне нужны такие хитрые и сильные, как ты. Бог презирает индусов. Унижать их — наш долг, ибо они непримиримые враги пророка; пророк завещал нам бить их, грабить и брать в рабство. Индусы не люди, а плательщики налогов. Если сборщик подати потребует от индуса серебро, тот должен с почтением дать моему слуге золото. Если сборщик бросит ему в лицо грязь, тот должен широко открыть рот. Ну, что, купец, будешь моим слугой, или хочешь подохнуть, как собака? Не слышу, что ты там бормочешь.

— Воля твоя, хан, но я честный купец и за всю жизнь не взял чужого медяка. Коня купил в Тароме за пятьсот дирхемов, кормил его год, сам досыта не ел. Ты можешь казнить меня, но разве моя смерть прибавит славы такому могучему владыке?

— Значит, ты хаджи Юсуф?

— Так, хан.

— Если ты хаджи, значит, ты был в Мекке? Через какие же ворота ты вошел в Қаабу, где находится священный черный камень?

— Через ворота Баб ас-Сафа, оттуда выходил пророк, чтоб сотворить молитву на горе Сафа.

Асад-хан задумчиво погладил пальцем шрам на лбу.

— А скажи, одна арка у тех ворот или несколько?

— Три арки, господин, я вошел в среднюю.

— Ты складно говоришь, купец, но я тебе не верю, носом чую запах лжи. Сегодня пятница — день молитвы, но через четыре дня я последний раз спрошу, кто ты, и тогда горе тебе, неверная собака! А как ты обошел священный камень — справа налево или слева направо?

— Слева направо — три раза бегом, четыре раза медленным шагом.

— И все-таки ты не мусульманин. А кто же тогда? Хаджи Юсуф не ответил.

## Глава 8

Сыро, жарко и темно, как в бане. Разожмешь кулак — пальцы не видно, сожмешь пальцы — кулак не



разглядишь. Ноют запястья, стертые веревками, нутро выгрызла соль. По углам шуршит, скребется, неужто и сюда, в подземелье, залетела птица гукук, кличет его смерть? Неужто умереть ему в заплесневелой яме или в лохани с рассолом, и никто не узнает его имени, из какой он земли-сторонушки, какого рода-племени.

Обернуться бы острокрылым соколом, взвиться под облака! А где же его пегий Сокол? Стоит в ханском стойле. Нет и Красавы. Эх, купец, купец, обобрали тебя до нитки, теперь и голову снимут с плеч. Эх, купец, два моря ты переплыл, а в лохани захлебнулся.

## Глава 9

Его толкали тупыми концами копий, а он стоял, ослепленный золотым светом полдня, оглушенный воплями несметных толп. Трубили слоны, визжали обезьяны, ревели верблюды, бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Слоны в алых пополах медленно ступали, мотая хоботами с тяжелыми железными цепями. Черные рабы вели рычащих тигров и гепардов, плясали гибкие танцовщицы, седобородые сановники в огромных тюрбанах покачивались в седлах, осыпанных самоцветами, литаврщики восседали на верблюдах, колыхались тяжелые знамена и страусовые опахала. Четыре белоснежных скакуна, покрытые парчовыми чепраками, везли золотой балдахин с зеленым шатром, увенчанным золотой маковкой. Тысячи людей пали на колени, встречая великого везира Махмуда, которому султан даровал титул «хаджи и-джихан».

Пышная процессия прошла, подметальщики собрали в корзины навоз, мятые цветы, взбрызнули водой пыль. Стража поволокла узника дальше, он брел, шатаясь из стороны в сторону.

На этот раз Асад-хан был не один: рядом с ним, но выше его восседал великий везир — старик с темным морщинистым лицом, в драгоценном халате, мерцающем золотым шитьем и алыми яхонтами. Наместник что-то почтительно шептал великому везиру, а тот молча смотрел на узника, перебирая коричневые

четки из персиковых косточек. Нос крупный, губы крупные под седыми закрученными усами, прищуренные зоркие глаза. Лицо Махмуда Гавана не выражало ни гнева, ни любопытства.

— Ну что, неверный, ты и великому везиру осмелишься лгать? — Асад-хан нахмурился.

— Нет, хан, скажу правду. Я не хаджи Юсуф, я грек, купец Никифор из Царьграда, а вера моя христианская. Ты совершаешь молитву, и я совершаю; ты пять молитв на дню читаешь,— я три; ты могучий наместник, я бедный чужеземец. И больше нет за мной вины.

— Как же ты посмел выдавать себя за мусульманина?

— Пошлины и налоги с иноверцев у вас берут большие, а у меня ничего не осталось. Все мое богатство — пегий конь и говорящая птица.

— Ты не мусульманин, это правда.— Довольный Асад-хан засмеялся.— Но ты и христианской веры не знаешь, богу своему не молишься, обычаев не соблюдаешь, и креста на тебе нет, как положено у неверных.

— Да, грешен я перед господом моим,— не знаю, когда рождество Христово, когда великий пост, не знаю ни среды, ни пятницы. Был у меня месяцеслов и псалтырь, да пограбили разбойники. И худо...

— Молчи, собака! Стража!

Но великий везир слабо шевельнул рукой, и стражники проворно расползлись, как раки.

— Ты узнаешь меня, Юсуф?

— Узнаю, почтенный хаджи Махмуд из Хоросана.

— Вижу, память у тебя хорошая. А помнишь, как я тебя спрашивал, какой товар ты ищешь? До сих пор не нашел того, что искал? А нашел смерть, жизнь твоя дрожит сейчас, как слеза на реснице. Ну, какой товар тебе надобен? Скажи, дам все, что попросишь.

Тихо, только постукивают четки в старческой руке.

— Великий везир, я искал место, где родятся алмазы.

— Ты знаешь, почему меня зовут Гаваном? Однажды, когда меня призвал султан, перед дворцом громко заревела корова. Один из придворных спросил: «Быть может, ученый министр объяснит, что говорит корова?» — «Корова говорит,— ответил я,— что

я из коровьего рода и не должен заговаривать с ослом». Наш повелитель развеселился и назвал меня Гаваном — Коровьим. Но неужели ты из рода ослов? Я ведь сам был купцом, а ты пытаешься уверить меня, что совершил трудный путь, чтоб посмотреть наши товары. Разве не я выбрал тебе коня? Кстати, сколько золота ты получил за него?

— Великий везир, конь на моей конюшне,— поспешно ответил наместник.— Когда этого неверного схватили, я велел позаботиться о скакуне.

— Ты всегда славился великодушием, Асад-хан. Вели вернуть коня этому несчастному, он от страха потерял рассудок. Грек, что ты искал в нашей державе?

— О, великий везир, я искал в твоей земле место, где родятся самоцветы, хотел разузнать, как их добывают, как гранят и сверлят, как придают им блеск?

— Я так и думал. Сколько ни отгоняй мошек от светильника, они летят на огонь и сгорают. Но я не хочу твоей смерти. Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он ее. Что толку сидеть в пустыне, разложив дорогую ткань и держа в руках аршин? Ты побывал во многих землях, видел и запомнил многое... — Махмуд Гаван закрыл глаза, подкручивая седые усы.— Ты смелый человек, и мне не хотелось бы отпускать тебя без подарка.

Гаван что-то шепнул Асад-хану, тот передал придворному, тот начальнику дворцовой стражи, и тотчас семь рабов внесли семь атласных подушек — красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю, фиолетовую. словно вспыхнула семицветная радуга. На каждой подушке сверкал клинок.

— Ну, купец, выбирай подарок.

Никифор по очереди вынимал сабли из ножен — добрая сталь, но булатных было только два клинка из шести. Он потянул рукоять седьмой сабли — на темном вороненом поле вспыхнула золотая изморозь узора. Захотелось расцеловать желанную саблю, но в тот же миг он виском почувствовал, как напрягся, отвердел взгляд великого везира. И равнодушно вложил бесценный клинок в алые сафьяновые ножны.

Махмуд Гаван и Асад-хан переглянулись.

— Все сабли хороши, не могу выбрать,— сказал купец.

— Хорошо, я сам выберу тебе клинок.— Великий везир взял саблю с фиолетовой подушки.— И еще получишь тысячу золотых... если окажешься понятливым. Подойди сюда.

В стрельчатой нише стояли три сундука — черного, красного и розового дерева. Большой, средний и маленький.

— Как ты думаешь, что я храню в них? Самоцветы, золото, пряности? Нет, здесь хранятся имена моих врагов. В большом сундуке — самые сильные враги, свирепые, как бенгальские тигры; в среднем — злые и хитрые, как обезьяны; в маленьком — жалкие и слабые, как мыши.— Махмуд Гаван откинул крышки сундуков: малый и средний были пусты, в большом лежал свиток, скрепленный алой печатью.— Когда я стал великим везиром, все сундуки были полны, сейчас пусты. О мышах и обезьянах не стоит вспоминать, но о свирепых врагах забывать не следует даже во сне. День и ночь мимо моего дворца идут войска — с войны и на войну. Я разрушил стены Кандапалли и Варангала, я разорил дотла крепости Кхелну и Сангамешвар, я привел к покорности пристанище пиратов Гоа, я заставил платить дань султана Телинганы, но он дерзнул поднять ощеренную морду — и я вырву его тигриные усы. Правитель Хандеша восстал, раджа Ориссы осадил нашу крепость Раджамундри — я растопчу их, как слон. Но есть враг, который лишил меня покоя... — Гаван сломал печать, развернул свиток.— Это султан Виджаянагара, будь проклято его имя! Так вот, о тысяче золотых... Ты пойдешь в Виджаянагар, узнаешь, прочны ли стены крепостей, сколько в каждой крепости боевых слонов, конницы и пеших воинов. Тебе нечего бояться — ты чужеземец, а султан Виджаянагара любит торговых людей из дальних стран, он любопытен, как обезьяна. А ты будь любопытен, как сто обезьян, и крепко запомни все, что увидишь. Асад-хан подберет надежных людей в помощь. Ну, что скажешь, грек? Дело выгодное: пятьсот золотых получишь сейчас, пятьсот — потом.

Асад-хан уже держал на ладонях пузатый мешо-

чек. Купец тихо бормотал, не то молясь, не то высчитывая что-то.

— Боишься продешевить? — усмехнулся Асад-хан.

— Нет, дело не в цене — цена щедрая. Но когда стражники вели меня во дворец, слепой старец на базаре рассказывал, как Бодхисатта принял облик юноши и пришел к царю. Он пришел к царю и сказал ему: «О великий царь! Ведомы мне три мирных и богатых города, где в изобилии слоны, лошади, колесницы и воины, в изобилии золото и самоцветы. Если желаешь, я завоюю их для тебя». — «Когда же в поход?» — воскликнул царь. «Завтра».

Наутро царь повелел бить в литавры и снаряжать войско в поход. Призвав советников, он сказал им: «Вчера некий юноша обещал завоевать для меня три города. Живо приведите его!»

Советники бросились искать юношу, обшарили все улицы, но не нашли. Сокрушаясь, что упустил великие владения, царь тяжело заболел, и лекари не могли его исцелить. На третий или четвертый день узнал об этом Бодхисатта и снова пришел к царю, на сей раз приняв облик лекаря. «Я исцелю тебя, государь, скажи мне только, в чем причина твоего недуга: съел ты что-нибудь или выпил, увидел нечто или услышал?» — «Болезнь моя от услышанного. Явился ко мне юноша и пообещал завоевать три богатых города. Я же, обрадовавшись, не дал ему ни жилья, ни денег. Наверное, он отправился к другому царю. А я, измученный мыслью, что упустил огромные владения, заболел».

«Великий царь, — ответил Бодхисатта, — настоем из кореньев тебя не вылечить, тебя исцелит лишь настоящей знания. Допустим, ты обрел еще три царства и стал править четыремя, но ты же не станешь разом носить четыре шапки, пить из четырех золотых чаш, возлежать на четырех лежанках?!»

Услышав эти слова, царь перестал терзаться и тотчас исцелился от болезни.

— Грек, зачем ты рассказал нам эту глупую басню? — удивился Асад-хан. — Не вилай, а прямо отвечай великому везиру.

— Я бедный купец, прибыль моя мала, зато и убытки невелики. Хан, пусть все останется как есть: у тебя золото в мешке, у меня голова на плечах. Про-

шу тебя, верни мне пегого коня и отпусти с миром.

Наместник сжал рукоять кинжала, но великий везир положил руку на его кулак.

— Эй, принеси перо и бумагу. Пиши: «Купец Никифор из Царьграда». А теперь брось бумажку в маленький сундук. Эти сундуки, грек, я всегда вожу с собой, чтоб не забыть тех, кто мне мешает. А теперь иди куда хочешь. Не забудь саблю, она тебе понадобится.

## Глава 10

Нищему собраться — только подпоясаться. А купец Никифор уже подпоясан, сабля острая на поясе, конь в поводу — вернул Сокола наместник, не обманул. Теперь только забрать Красаву, и прощай, Джуннар!

Привязав шелковые поводья к медному кольцу конюязи, купец снял мягкие сапоги и в носках прошел в патха-сале. Позади дома, в тени манго сидела на корточках Шанти, чистила песком кувшин. В иссиня-черных волосах белый цветок лотоса, на запястьях звенят золотые браслеты. Увидев постояльца, девушка вскрикнула: халат разодран, бритая голова без чалмы. Подбежала к Юсуфу, коснулась пальцами его ног, заплакала.

— Не плачь, Шанти, ты не виновата. Душа твоя чиста, как цветок лотоса.

А плечо уже царапает коготками Красава, распустила перья, щебечет: «Кр-расава! Кр-расава! Шанти хор-рошая!»

— А, помирились? Вот и славно. Ну, Красава, со мной пойдешь или здесь останешься? Дорога у нас долгая.

— Юсуф...

— Я не Юсуф.

— Все равно, возьми меня с собой.

— Ах, Шанти, разве ты конь или птица? У тебя есть отец...

— Мой отец стал причиной твоих мучений, я знаю. В бороде твоей седые волосы, раньше их не было. Скажи, отчего у тебя такая белая кожа, каки-

ми благовониями ты ее натираешь, чтоб она не была темной? Ах, была бы я такая беленькая!

Никифор засмеялся.

— Да разве до того мне, чтоб тело разными притираниями умащивать?! Такой уж родился. У тебя кожа золотистая, как медь, у других черная, как сажа, видел я и желтых людей, только вот не видел с песьими головами или хвостами, одноглазых и одноногих.

— Куда же ты теперь пойдешь?

— Сам не знаю.— Никифор развязал узелок, достал пурпурно-золотистое сари из тончайшего, как паутинка, бенаресского шелка, такого тонкого, что его можно протянуть в кольцо.— Прими от меня подарок.

Девушка покраснела, опустила глаза. Потом схватила сари и убежала в дом. Расправив длинную ткань, обвила сари вокруг пояса справа налево, заложила ало-золотой шелк в красивые складки, пропустила длинный конец под правой рукой, перебросила через левое плечо на спину. Теперь из-под сари виднелись только маленькие босые ступни. О таком наряде Шанти давно мечтала, шелк так красиво облегал тело, тонкую талию и округлые бедра! От радости ее глаза стали еще крупнее и прекраснее. Проворно достав кувшинчик с краской, Шанти очертила щиколотки киноварью. Расчесала длинные густые волосы, смазала их кокосовым маслом, уложила на затылке в восхитительный узел, заколола гребнем. Подкрасила кумкум — пятнышко на лбу. Быстро сняла золотые браслеты с запястий и, схватив светильник, побежала к гостю. Он изумленно смотрел на девушку, словно увидел ее впервые.

— Вот, возьми.— Шанти протянула Никифору золотые браслеты.

— Что ты! Ведь они — твое приданое. Нет, Шанти, твоя забота мне дороже золота.— Бережно сжав пальцы девушки, надел браслеты на ее запястья.

— Постой! Перед дальней дорогой надо сесть под ветвями манго и загадать желание. Мы называем его «дерево желаний» — что задумаешь, все сбудется.

Аромат спелых плодов смешался с запахом истолченного сандала — Шанти мизинцем левой руки взяла капельку душистого порошка, капельку масла из светильника, нарисовала над переносицей Никифора

пятнышко. Опять сбегала в дом, присела перед Никифором, надела ему на шею шелковый шнурок с костяной фигуркой: толстый четырехрукий младенец с головой слона.

— Это Ганеша — покровитель купцов и странников. Теперь тебе никакая беда не страшна, никакая сила тебя не осилит.

— Не осилит, — повторил купец. — Сила сильна, да не вечна. А твой дар обережет меня в пути, и желание я задумал. Будь счастлива, красавица. Прощай.

Никифор сложил ладони, коснулся пальцами склоненного чела.

## Глава 11

Шел купец в Бидар, ведя коня в поводу и не веря, что свободен. Надолго ли? Не простят ему Махмуд Гаван и Асад-хан. Ах, как хорошо жить на земле! Он словно впервые вдохнул полной грудью запах цветов и трав, взглянул на небо. Все несчастья остаются на земле, а в поднебесной выси простор и красота. Нет на небе голодных, нищих, калек — на земле они лежат и умирают, пепел сожженных мертвецов и желтые цветы плывут по рекам. А мимо спешат караваны, груженные товарами, скачут гонцы, прыгают обезьяны, лениво бредут буйволы, женщины на берегу пруда колотят скрученное белье о плоские камни, девочки-матери носят младенцев за спиной. Зеваки окружили заклинателя змей, садху — святые кланяются серым коровам, гладят костлявые крестцы, прикладывают иссохшие ладони к раскрашенным лбам. Увидев возле лавки верблюда, навьюченного тяжелыми брусками соли, Никифор отвернулся — вдоволь попотчевал его солью Асад-хан, на всю жизнь отбил охоту от соленого.

Верхом на гнедом муле проехала персиянка, украдкой подняла чадру, улыбнулась купцу: красивая как луна, свежая как арбуз. Жена эмира или хана, которых в Индии больше, чем обезьян на пальмах, и у каждого свое войско — у Асад-хана и Азам-хана, Мелик Хасана и Фатхуллы Имад-ул-Мулька: сотни боевых слонов с окованными бивнями, тысячи всадников, десятки тысяч пеших воинов. Воинство надо



сытно кормить, чтоб не роптало, всем дать наживу. Что можно взять с бедняков, то взяли сборщики налогов,— значит, надо идти войной на соседние державы, по-воровски сбивать замки с чужих амбаров, а замки эти непростые — крепкие крепости с высокими башнями, за каждым каменным зубцом лучники пускают стрелы, сбрасывают камни, льют кипящую смолу. Но разве удержишь вора от воровства, султанов от войны?

Слетаются стервятники в долину Райчура, морские волны смывают с Канканского побережья мертвецов, священная река Годавари стала красной от крови. Вот почему султану Мухаммед-шаху III нужны бесчисленные табуны коней, вот почему так щедро платят в Джуннаре и Бидаре за резвого жеребца — сто золотых монет, и пятьсот, и тысячу, а жизнь человеческая не стоит медного гроша, дешевле горсти риса, черствой лепешки, глотка воды. Богаче всех теперь работорговцы, тысячи рабов видел купец на невольничьих рынках Чаула и Дабула, Джуннара и Кулонгира, Гулбарги и Бидара. Разный товар он повидал за годы странствий, сам покупал и продавал меха, соль, ткани, пряности, оружие. Видел — драгоценные яхонты и смарагды взвешивали на весах пудами, как дрова; видел — драгоценную златотканую кисею продавали на вес золота. Но как назначить цену человеку, сотворенному по образу и подобию господу? Вот толстая персиянка отсчитала пять серебряных монет и купила стриженного черноглазого мальчика, а несчастная мать не смеет даже прижать к груди голову сына. Проданной девушке накинули на шею веревку и повели за свирепым усатым персом, а старики никому не нужны — сидят на солнцепеке, пока смерть не закроет им глаза.

В Бидаре продают виджаянагарцев, в Виджаянагаре — бидарцев, а султаны сидят в золотых дворцах и слушают, как славят их мудрость сладкоречивые поэты.

Рано утром вышел из патха-сале купец Никифор, ведя в поводу Сокола. У глиняного забора сидел иссохший старик, разложив на земле пучки редиски. Коза тянулась к зеленой ботве, но старик отгонял ее. Коза блеет, старик ругается, люди спешат на базар. Крепко держит купец крученые шелковые пово-

дья. На плече его говорящая птица чистит клювом изумрудные перья, а сердце купца словно жерновом придавили — нет сил вздохнуть, изболелась душа. Жеребец мягкими губами хватает за рукав, тихо ржет, словно хочет что-то сказать. Хозяин ласково гладит гибкую оленью шею, белую проточину на золотистом лбу.

Уже год они вместе, переплыли океан, одолели высокие горы, прошли пустыни и долины, видели много городов, а теперь пора расставаться.

Подходили к Никифору, щупали спину жеребца, сильные сухие ноги, заглядывали под хвост, нюхали крепкие копыта, спрашивали цену, называли свою, но купец медлил. Отдать Сокола воину — вонзятся в могучую грудь стрелы и копыта; отдать гонцу — исхлещет бока сыромятная плеть; отдать вельможе — запрут пегого в стойло, выводя под дорогим седлом только по праздникам. Много покупателей, а продать некому.

Подошли старик и мужчина, оба в белых набедренных повязках, опоясанных тройным красным шнуром, с посохами, достигающими до лба. Мужчина снял с плеч шкуру антилопы, расстелил в тени огромной акации, почтительно усадил старика. Подошел к коню, потрепал золотисто-рыжую гриву.

— Я ищу пегого коня, чтобы одарить наставника Сатьяпала.

— Не слишком ли щедрый подарок? — усмехнулся Никифор.

— Нет предмета на этой земле, отдав который можно освободиться от долга учителю, который научил тебя хотя бы одной букве.

Мужчина хотел сказать что-то еще, но тут подошел его наставник.

— Умение ученика и есть награда учителю. Ковкость соединяет металлы, цель соединяет зверей и птиц, знание роднит людей. Человеку непростительно незнание. Вот ты, купец, думаешь, что твоя сабля — истинный булат.

— Конечно! Я же заплатил за нее...

— Лучше помолчи, чужеземец. А ты что скажешь, Нарандаса?

Никифор вынул клинок из ножен, подал мужчине. Тот внимательно осмотрел сталь.

— Купец ничего не заплатил за саблю. Ковал ее оружейник Кришнабхакта из Гулбарги, купил торговец Махадхана из Каликута, перепродал правителю Малик Хасану, тот преподнес великому везиру Махмуду Гавану, а великий везир одарил тебя этим клинком.

— Вер-рно, вер-рно, везир-р подар-рил,— встрепенулась Красава.

Толпа изумленно зашумела.

— По собственной воле попадает в клетку попугай, цапля же не знает неволи. Молчание — путь ко всем благам.

— Мудрые слова, почтенный учитель,— согласился Никифор.— Твой ученик прав, ты учил не напрасно, я действительно получил клинок в дар от великого везира.

— Можно найти людей, готовых дарить золото, рабов и землю, но трудно найти человека, проникнутого состраданием ко всему живому.

— Вижу, учитель Сатьяпал, ты человек мудрый, но я так и не понял, чему ты учишь своих учеников?

— Отличать хорошее от дурного, без этого любое знание во вред. Двадцать лет я учил Нарандасу знанию и четыре года — умению.

— Сколько же ты хочешь за жеребца? — В голосе Нарандасы звучало нетерпение,— видно, он долго искал пегого коня.

Сокол был действительно красив; золотисто-рыжий с молочными потеками, без единой черной шерстинки, с огненной гривой и розовыми губами, с блеском в горячих фиолетовых глазах; от легкого прикосновения ладони он вздрагивал, вскидывал точеную голову, готовый унести всадника на край света. Но в Бидарском султанате верхом дозволялось ездить только мусульманам — индусам и иноземцам разрешали идти рядом с конем.

— Я передумал продавать коня,— вдруг сказал Никифор.

— Подожди, подожди, ты даже цену не назвал,— Нарандаса схватил купца за руку.

— Цена этому пегому — пять тысяч золотых.

Толпа ахнула — столько не стоят даже два взрослых слона! Руки Нарандасы опустились.

— Что, дорого? Вот учил тебя учитель двадцать

лет, а теперь я задам тебе задачу. Продавал купец коня и просил за него тысячу золотых. А кто-то сказал: «Дорого, сбавь цену». — «Хорошо, — ответил купец, — если велика цена, то бери коня даром, а заплати только за гвозди в подковах. А гвоздей во всякой подкове шесть, и дашь ты мне за первый гвоздь медяк, за второй — два медяка, за третий — четыре, за четвертый — восемь...» Уразумел? А теперь скажи, кто выгадал — купец или покупатель?

— Конечно, купец, — засмеялся Нарандаса. — Столько медяков и верблюдов не увезет.

— Хорошо учил тебя учитель. — Никифор взял коня под уздцы, но Нарандаса не отступал.

— Купец, скажи настоящую цену этому коню.

— Когда ты назовешь свое ремесло, я назову цену коня. — Купец не улыбался. Короткая вьющаяся борода смягчала сухоскулое лицо, но синие глаза смотрели твердо.

— Хорошо, — ответил за ученика Сатьяпал. — Приводи коня в Парвату, там все узнаешь.

Конечно, Сокола можно было продать и здесь, на базаре, но слова старика пришлось купцу по душе. Слышал он, Парвата — город священный для индусов, как для мусульман Мекка, для христиан Иерусалим, и пять дней в году там устраивают торг великий. Может, в Парвате он наконец найдет товар, который ищет и никак не найдет в Индии?

Возвращаясь в патха-сале, Никифор увидел иссохшего старика — за весь день он не продал ни одного пучка редиски. Все так же отгонял козу, смотрел тусклыми глазами на пожухлую ботву. Старый крестьянин не мог сам съесть свой крохотный урожай и не сумел продать его. Какая богатая земля, но как бедны ее люди! Здесь нельзя обидеть ни корову, ни обезьяну, ни змею — они священны для индусов, но бедняка обижает каждый.

Грек вложил в руку старика две медные монетки, взял редиску.

Ночью его разбудил глухой крик: гху-кху, гху-кху. Ладони вспотели от страха — разом вспомнились все рассказы о страшной птице гукук, но кругом была темень, масло в светильнике сгорело, слышался мягкий шелест крыльев, словно в темноте кружили летучие мыши. Взмахи невидимых мерзких крыльев

шевелили волосы. Никифор осторожно вытянул руки, но вдруг услышал крик, от которого испуганно присел и закрыл ладонями голову — яростный клекот, пронзительный писк, хлопанье крыльев. Ком растопорщенных перьев ударил его в грудь, забился на полу. Дрожащей рукой он нашарил в жаровне малиновый уголек, долил масла в светильник и в слабом свете увидел черную, как ворон, зловещую птицу гукук, а рядом на земляном полу изумрудно-желтого попугая. Так вот кто спас его от смерти — Красава! Высокий хохолок поник, острые когти вонзились в черную грудь зловещей птицы, кривой клюв окровавлен. Кто знает, как залетела в патха-сале гукук — судьба ей указала дорогу или слуги великого везира? Нельзя медлить! Махмуд Гаван, как раненый слон, никогда не забывал и не прощал обид.

Обернув плотным лиловым шелком заветную тетрадь, купец спрятал ее на груди. Он не стал ждать, когда староста вернет ему саблю, отобранную на ночь, и осторожно выбрался во двор. Жеребец спал стоя, похрапывая во сне; здоровые лошади ложатся редко, хотя и среди них есть лежебоки. Почувяв шаги хозяина, пегий встряхнулся, уши торчком, шея напружинена как тетива, мощная грудь выпячена, маленькие копыта бьют землю. Сняв с колышка сбрую, потник и седло, купец собрал коня, ласково погладил: ну, Сокол, выручай!

## Глава 12

Весь день гнал всадник коня по пыльной дороге. Земля иссохла, в несжатом рисе шуршат змеи, поля заполонил дикий сахарный тростник. Клубы пыли, мерцающая, устремлялись к слепящему белесому небу.

А Никифор все гнал коня, так что ветер рвал полы халата, — по бурой, красной, черной земле, мимо голых скал Деканского нагорья. Пятый месяц засуха. Истощенные, словно обугленные люди молча сидели у низких желтых лачуг. Кровли из пальмовых листьев высохли, обветшали.

Всадник спешил — пора напоить коня. Колодец глубокий. Мерно сгибаются спины женщин, скрипит ворот, ведро за ведром поднимая наверх. Заметив

всадника, женщины и дети побежали к хижинам, бросив кувшины. Купец спешил, выбил о ладонь запыленную шапку, отряхнул халат. Деревня будто вымерла, только жалобно мычат тощие коровы и огромная змея свернулась на плоском камне у колодца. Еле бредет старуха с вязанкой сухой травы, низко опустила голову, накрытую платком, ничего не видит. Купец поклонился женщине.

— Мир тебе, добрая женщина. Давай помогу.

Женщина испуганно взглянула из-под накидки — таких белокожих, синеглазых никогда не видала. Наверное, новый сборщик налогов? Но разве те помогают кому-нибудь, разве язык их повернется сказать доброе слово? Слуга наместника обругал бы старуху, да еще отнял бы вязанку травы.

— Далеко ли до Парваты?

— Далеко, от нас до реки Кришны семь ков, а там и Парвата.

Семь ков — семьдесят верст. Прошло уже три недели, как Никифор вывел коня из Гумбат-дарваза — крепостных ворот Бидара. Кто знает, скоро ли доберется до места, указанного Сатьяпалом.

— Испей воды, путник.

— Спасибо, добрая женщина. Конь притомился, да и самому хорошо испить свежей водицы.

Никифор потянулся к ведру, но старуха испуганно схватила его за руку, повела к другому колодцу. У каждой касты свой колодец. Если подметальщик, умирая от жажды, выпьет воду, предназначенную брахману, его убьют. Джати. Проклятое джати!

Вот и колодец нечистых. Скрипит ворот, льется вода в долбленную колоду, Сокол жадно пьет, раздувая потные бока. Пока он пил, старуха вынесла из хижины горсточку вареного риса и чашку молока — может быть, последнее пропитание, оставшееся в доме. Низко поклонившись крестьянке, купец поел, выпил молока, потуже затянул пояс.

А через час в деревню ворвались три всадника в белых тюрбанах, на кожаных поясах сабли, за плечами тугие луки, к седлам приторочены колчаны и арканы. Плетями выгнали жителей, грозно спрашивая, кто видел синеглазого чужеземца на пегом коне. Но крестьяне молчали, молчала и старая Камала. Высыпав старосте плетей, стражники кинулись в раз-

ные стороны — к Райчуру, Парвате и Голконде, отыскивая следы пегого жеребца.

До берега Кришны оставалось тридцать верст, когда стражник, направивший вороного коня в сторону Парваты, наконец настиг того, за кем гнался от самого Бидара, — чужеземец сидел на корточках у крошечного костерка, ломая тонкие сухие ветки. Стражник осторожно попятил коня, вынул из колчана стрелу с трехцветным оперением, наложил на тетиву. Стрела ударила в грудь Никифора; удар был так силен, что опрокинул его на спину, он увидел над собой черное небо и сверкающие звезды — Плеяды и Орион вошли в зорю, а Большая Медведица стояла головою на восток. И увидел он древко стрелы с желтым, красным, черным оперением, но боли не чувствовал. В ночной тишине раздался стук копыт, Никифор нащупал рукоять ножа, но топот отдалялся... Тогда он осторожно повернулся на бок, встал на колени, не сводя глаз с оперения, силился вытащить древко, но не мог. Ножом прорезал халат и достал заветную тетрадь с вонзившейся стрелой.

Пусть тысяча стрел выпущена в человека — он не умрет, если не пришел его час. Но если его час настал, он может погибнуть от былинки. Толстая тетрадь в зеленом сафьяновом переплете, обернутая в лиловый шелк, спасла его, — железный наконечник застрял в ней, как в дереве. Уже пятый год грек записывал все, что видел в странствии, названия рек и городов, сведения о правителях и крепостях, обычаях, еде и праздниках индусов, время дождей, сева и жатвы, названия и цену товаров.

В Бидаре жизнь ему спасла говорящая птица Красава, здесь — тетрадь. Долго ли еще ему суждено избегать гибели, удастся ли вернуться домой?

Он бросил сломанную стрелу в догорающий костер, снял путы с Сокола. Ночная роса окропила вьющуюся бороду, чувствовалось дыхание большой реки; жалобно кричали обезьяны, шелестели в траве змеи, в слабом свете рождавшегося дня всадник видел, как дорогу пересекали когтистые отпечатки тигриных лап и частые крестики птичьих следов. Изредка треск в зарослях карликовых бананов грозно предупреждал о поступи владыки джунглей — слона, тогда

умолкали обезьяны и птицы, конь дрожал, упершись всеми четырьмя копытами.

Днем он увидел реку. Скрипели колеса повозок, длинные караваны спешили в Парвату, толпы людей шли с севера, юга, востока и запада. Все чаще деревни, здесь вдоволь воды, рис уже убран с полей, а стерня густая, сочная. Смуглые девушки в цветистых дхоти несут на голове тяжелые кувшины, начищенные песком до блеска; на веселых ногах звенят браслеты.

— Далеко ли до Парваты, красавицы?

Девушки опустили зардевшиеся лица, только самая смелая засмеялась, медный кувшин на голове качнулся, но она легко повела тонкой шеей, и кувшин замер.

— Близо, путник, скоро увидишь священную Парвату.

Бородатые святые — садху с раскрашенными лицами шли, опираясь на посохи, и громко пели. Коровы подбирали кожуру бананов и сахарного тростника. Тучные волы громко стучались вызолоченными громадными рогами, бесчисленные бубенцы на воловьих шеях звенели, заглушая песни садху. Со всей Индии спешили паломники на южный берег Кришны, в храм Шрипарвату — хранилище священного символа Шивы, одного из трех верховных богов, чтоб встретить здесь праздник Шиваратри. В эту ночь индусы, почитающие Шиву, соблюдают строгий пост, совершают омовение и приносят в дар богу, сиянием равному тысяче солнц, листья дерева бел.

Громада храма поразила купца Никифора — он увидел целый город, заселенный богами, священными животными, освещенный огнями бесчисленных светильников, его оглушили крики, звон бубенцов и женских браслетов, молитвы тысяч паломников. Храм окружала высокая стена из громадных, гладкотесаных серых камней. В воротах жрецы-брахманы взимали по серебряной монете со всех входящих в Шрипарвату, здесь же цирюльники брили наголо мужчин; женщины остригали густые черные волосы и только после этого босыми вступали в священный город. Сказители вышивают цветистой речью сказания о Шиве, владыке обезьян Ханумане, священном быке Нанди и слонголовом Ганеше. Бесчисленные каменные из-



ваяния сияли позолотой, были осыпаны душистыми цветами. Стены храмов покрыты искусной резьбой, каменные барельефы повествуют о богах еще красочнее, чем слова. Завороженно смотрел на каменное чудо Никифор — такого он не видел нигде. Так, босой, с запрокинутой, как у слепца, головой он незаметно вышел к пруду, окруженному тенистым садом, где жили прирученные обезьяны, павлины и змеи. Услышав тихое предостерегающее шипение, опустил глаза и обмер — прямо перед ним взвилась темно-коричневая кобра, раздувая желтый капюшон, стояла чуть покачиваясь, поглядывая блестящими холодными глазками. Затаив дыхание, он отступил на шаг, еще, а кобра все покачивалась, пока человек не спрятался за стволами мимоз.

Недалеко, на маленькой поляне, под цветущим кустом алого жасмина слепой старец нараспев рассказывал о Дочери гор прекрасной Парвати, любимой грозного Шиву. Подошел и Никифор, заслушался.

Прекрасная Парвати жаждала ребенка, но Шива не помышлял о потомстве. Долго печалилась богиня, и горе ее смягчило сердце супруга. «Если уж ты так тоскуешь о сыне, я тебе его дам.— Шива свернул полу одеяния богини и подал ей в руки.— Вот тебе сын, Парвати, целуй его, сколько хочешь».— «Как может этот кусок ткани замснить мне сына? Не смейся надо мной, Шива». Но когда она так говорила, случайно прижала свернутую полу к груди, и ткань мгновенно ожила, дитя вздохнуло и закричало, зовя мать. Она же ласково склонилась над ним и дала ему грудь.

Все боги пришли поздравить Шиву и Парвати с новорожденным, принесли щедрые дары, хваля красоту младенца. Только владыка Шани не пожелал взглянуть на младенца, ибо взор его нес гибель всему, что увидит. Но Парвати повелела Шани взглянуть на дитя, веря, что никто не может повредить ее ребенку. Едва Шани устремил взор на сына Парвати, голова младенца упала на землю. Обезумевшая мать горько заплакала. Тронутый ее горем Шива стал утешать супругу: «Не плачь, прекрасная Парвати! Ничто не может сравниться с горем матери, потерявшей сына, но я верну его тебе. Приставь ему голову». Парвати приставила голову к телу, но голова

вновь упала. Тогда раздался голос с неба: «О Шива, голова твоего сына загублена дурным глазом, он уже не сможет жить с нею. Ты держишь его голову лицом к северу; возьми же голову у кого-нибудь, кто спит лицом к северу, и она станет головой твоего сына».

Услышав голос, Шива послал верного слугу Нандина на поиски того, кто спит лицом к северу. После долгих поисков Нандин увидел слона Айравату, возлежавшего головой к северу, и отсек мечом голову слона. А Шива приставил ее к телу сына, и дитя ожило, оно имело голову слона, короткое тело и толстый живот, за это его прозвали Гхатодара — Толсто-брюхий. Но Шива поставил его во главе всех ган — своих слуг и спутников, поэтому сын Парвати более известен под именем Ганеша — покровителя купцов и путешественников. Богиня мудрости Сарасвати принесла ему в дар перо и чернила, и Ганеша стал богом учености.

Купец потрогал спрятанный на груди подарок Шанти — костяную фигурку Ганеша. Почему дочь старосты дала ему на прощанье этот амулет? Потому что однажды видела, как он пером пишет в тетради, или чтобы пожелать удачи в торговле и странствии?

Многое из того, что рассказывал сказитель, Никифор не понял, но так выразительна была его речь, то стихавшая до шепота, то обретавшая мощь громовых раскатов, так плавны и стремительны были движения коричневых рук, такой печали и нежности полны живые глаза, что сказание о Парвати словно вливалось в раскрытый рот купца то сладким молоком, то студеной водой, то пьянящим напитком перебродившего риса.

Он был одним из сотни людей, тесно обступивших сказителя. Многие держали в руках листья, цветы и плоды дерева билва, кокосовые орехи, окрашенные киноварью. Здесь были погонщики слонов и ловцы павлинов, продавцы благовоний, резчики камня, повара, пильщики бревен, брадобреи, рыбаки, стеклодувы. Никифор чувствовал себя одним из них, под нестерпимо белым небом, отраженным вместе с лотосами в прозрачно-зеленой глади пруда, и все вокруг стало ему близким — и небо, и вода, красная зем-

ля, взбугрившаяся над толстыми корнями баньянов, люди, цветы и птицы.

В одном из храмов он увидел огромную фигуру танцующего Шивы, увешанную золотыми и цветочными гирляндами, в другом — Шиву, сидящего на цветке лотоса, в третьем — Шиву с тремя голубыми лицами. Искусные мастера возвели эти храмы; кажется, нет таких цветов, плодов, птиц и зверей, которые они с любовью и старанием не высекли из камня. Каменный владыка обезьян Хануман с длинным хвостом, с копьём в левой руке напомнил статую императора Юстиниана в Царьграде; слогоголовый Ганеша похож на обиженного толстого младенца; прекрасная Парвати казалась сестрой юной Шанти.

Никифор вспомнил горы, равнины и джунгли, через которые он шел сюда, полноводные реки и грохочущие водопады, нищие деревни и рисовые поля, вспомнил многолюдные города и мощные крепости, священные места Индии: маленький пруд, заросший лилиями, с удивительным золотистым отблеском воды — в эти воды погрузилась верная Сита; видел он и лесную тропинку, где оставил следы царь Рама — муж Ситы. И ему захотелось рассказать этим людям о своей родине, о морозах и снегах, о весенней капели и семицветной радуге...

Он не заметил, как снова вернулся к пруду. Белые лотосы отражались в тихой воде. Кто-то осторожно тронул купца, он обернулся — перед ним стоял Нарандаса. Ни о чем не спрашивая, купец пошел к огромному быку Нанди, высеченному из черного гранита, — недалеко от него он оставил коня, поручив его заботам продавца чапати — пресных лепешек. Купил две лепешки — себе и коню, гладил пегого по крутой золотистой шее — кто знает, может быть, последний раз видит Сокола.

Манговая роща разделила два холма; тень манго вредна для посевов, но плоды его сладки. За рощей двор, окруженный постройками. Перед самой большой хижинкой Нарандаса и купец остановились. Слышались удары молота. Нарандаса показал посохом.

— Слышишь? Сатьяпал кует булат. Этому он и учил меня. А теперь возьми золото и дай мне поводья.

— Нет. — Купец отвел руку с тяжелым кожаным

мешочком.—Хочу поговорить с твоим наставником.

Никто, кроме мастера и подмастерьев, не мог войти в кузницу. Приступая к работе, кузнец давал строгий обет воздержания от мяса и рыбы, отдаления от жены, приносил жертвы богам пламени, земли, железа, воды и дерева, совершал ежедневно омовения и молитвы,—только чистота тела и души могут помочь выковать булат.

Легкий ровный ветер обдувал лицо Никифора. Наконец смолкли удары молота, из хижины вышел Сатьяпал. Солнце осветило три белые полосы на лбу, пушистую седую бороду, праздничное белое дхоти. Улыбка мастера говорила о чувстве собственного достоинства и твердости духа, о знании сокровенных тайн.

— Мир тебе, булатник Сатьяпал.—Купец сложил ладони, коснулся ими лба.—Я согласен передать твоему ученику поводья пегого жеребца, который обгоняет ловчих птиц. Но мне не надо золота, мне нужно железо.

— Я знал это, поэтому позвал тебя в Парвату. Чандра!

Из хижины вышел юноша-молотобоец, пот струился по его мускулистой груди. В каждой руке Чандра держал по сабельному лезвию,—одного взгляда на них было достаточно, чтобы узнать узорчатую сталь. Но Никифор покачал головой. Сатьяпал что-то сказал юноше—Чандра унес сабли и принес прямой обоюдоострый меч, вспыхнувший золотым плетением узора. И снова купец покачал головой.

— Нет, мастер, я сам должен увидеть, как железо становится булатом.

Оружейник уже не улыбался. Глаза их встретились, как кремь и кресало. Это длилось несколько мгновений. Нарандаса и Чандра встревоженно смотрели на учителя.

— Что ж, если хочешь увидеть—смотри, но ни о чем не спрашивай; если произнесешь хотя бы слово, отдашь коня, не получив взамен даже ржавого гвоздя. Ни одного слова! Согласен?

Согласен ли он? Пять лет он осторожно выспрашивал дорогу сюда, а теперь, когда достиг цели, согласен ли он молчать? Да он будет нем, как рыба!

Сатьяпал велел ему снять халат, рубаху, сапоги,

омыть тело у родника. Ледяная вода обожгла тело. Нарандаса принес два куска белой ткани, одним велел обернуть вокруг бедер, вторым завязал глаза купцу и взял его за руку. По тому, как тело охватил сухой жар, купец понял, что они вошли в кузницу, пахло окалиной и древесным углем.

— Возьми молот.— Пальцы нащупали гладкую рукоять.— Бей по наковальне и повторяй за мной: «Клянусь молотом и наковальней, если я пришел сюда с дурными помыслами, или замыслил зло, или нарушу обет молчания, пусть Индра поразит меня громом».

С него сняли повязку. Никифор вытер пот со лба, ноги вдруг ослабели,— чтобы не упасть, он схватился за наковальню. Неужели он наконец нашел то, что искал все эти годы?!

Было так тихо, что он слышал шорох остывающих углей, воркотню голубей во дворе, тягучий скрип колодезного ворота.

### Глава 13

Как и во всех кузницах, здесь была наковальня и молоты, мехи и горн, куски железа и толстой проволоки, длинные клещи, бородки, зубила, гладилки, земляной пол и закопченный потолок. Но Никифор увидел и то, чего никогда не видел раньше,— толстые железные лепешки, корзины с опилками, золой и черным, тяжелым, как чугуном, песком. Был еще белый порошок, Сатьяпал хранил его в маленьком мешочке.

Отрубив толстый прут в локоть длиной, мастер обложил его железными полосами, щедро присыпал черным песком, опилками и стал нагревать в горне. Чандра качал мехи. Железо стало темно-желтым, потом коричнево-красным. Черный порошок растекся, как патока, соединяя полосы с прутком. Когда железо стало фиолетовым, Сатьяпал достал из мешочка щепоть белого порошка, прошептал заклинание и посыпал поковку, порошок тотчас вскипел, смешался с расплавленным черным песком. Нарандаса выхватил клещами поковку и бросил в колоду с водой — кузню окутал белый пар, а когда его вытянуло сквозняком, Никифор увидел, что железо покрыто нежно-коричне-

вой блестящей коркой, как стеклом. Молот дробил стекло, и железо было уже не черное, а серое. Могучий юноша словно крестил железо молотом, словно растягивал его вдоль и поперек, бил без усталости, с правого и левого плеча, нанося удары не прямо, а как-то вкось, до тех пор, пока трехслойная поковка не стала одним куском железа.

На следующий день его снова нагрели. Железо постепенно светлело, к полудню налилось темно-красным закатным светом, потом засияло ослепительно, как солнце. Чандра зубилом рассек поковку вдоль, одну половину опустил в лохань с водой, другую согнул пополам и частыми ударами молота превратил в четырехгранный прут.

День за днем нагревали, ковали железо,— так женщины месят тесто. При каждом сгибании число слоев железа увеличивалось вдвое; когда купец насчитал триста двадцать слоев, на железе впервые проступил узор, как на струганой сосновой доске. После каждой проковки узор проступал все яснее — это и был самый лучший булат, который на всем Востоке называли «Кирк нардубан» — «Сорок ступеней», ибо на метровом черном клинке с золотистым отливом ясно виден узор из сорока колец с поперечными прядями. И может быть, он, Никифор из Царьграда, был первым чужеземцем, кто увидел, как распускается огненный цветок булатной стали.

Глаза его привыкли к сумраку кузницы, научились различать цвета нагретой стали — темно-желтый, фиолетовый, темно-синий, серый, вишневый, малиновый, желтый, светло-желтый, бело-матовый. А Сатьяпал различал в каждом из этих цветов десятки оттенков, недоступных глазу Никифора.

Когда поковка обрела форму сабельного клинка, мастер сам встал у горна. Внимательно следя за свечением железа, поочередно прикладывал к раскаленному клинку круглые тонкие палочки, мгновенно загоравшиеся, как свечи,— и вдруг бросал клинок в воду. Причем различные части клинка нагревались по-разному: у рукояти — до зеленого цвета, середина — до фиолетового, острие — до синего, лезвие — до желтого.

За кузницей в землю были врыты четыре столба, на высоте поднятой руки соединенные веревкой, обра-

зовавшей квадрат. Раз в неделю Сатъяпал поднимал руку, лоя направление ветра и показывал, куда вешать раскаленную поковку — на южную сторону или северную, западную или восточную. Иногда ему был нужен южный ветер, иногда западный, а почему так, Никифор не понимал, спросить же ни о чем не мог, молчал.

Никифор сидел на вершине холма. Этот тихий час крестьяне называют «временем пыли»: коровы и буйволы возвращаются с пастбы, поднимая облака пыли. Стадо лениво бредет к пруду. Крестьянин оперся на мотыгу, ветер тревожит колосья ячменя. Поля боронят под сахарный тростник. Ни одного дерева, только в деревне раскинули ветви баньян и пипала, с ветки на ветку перелетают голуби, горлицы, воробьи. В тишине слышны голоса женщин, собравшихся у колодца. Из дворов поднимаются дымки сжигаемого навоза, наперегонки бегут дети, встречая отца, устало идущего с поля.

Достав заветную тетрадь, Никифор пишет свинцовой палочкой одному ему понятные значки: как выбирают железо, как нагревают и куют, и посыпают, в какой воде отпускают — все в этой тетради, пробитой стрелой. Пишет не только о железе, о людях тоже.

«Индийцы совсем не едят мяса: ни яловичины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиной у них очень много. Едят же они два раза в день, а ночью не едят; ни вина, ни сыты не пьют. С басурманами не пьют и не едят. А еда у них плохая, и друг с другом не пьют и не едят, даже с женой. Едят рис да кичири с маслом, да травы разные, а варят их с маслом и молоком. А едят все правой рукой, левую же ни за что не возьмутся; ножа не держат, а ложки не знают...»

Снова смотрит на дымки горящего кизяка, а в глазах оживает погребальный костер, на котором сожгли вчера умершего старосту деревни. И выводит свинцовая палочка: «А кто у них умрет, и тех жгут, а пепел сыплют в воду».

И снова тайными значками — о железе, углях и огне, о круглых палочках, струганных из разных пород дерева, о белом порошке, на вкус кислом, как лимон, а вот запах никак не передашь.

Уже почти три месяца он здесь. Больше всего мучило молчание, немота. Хотелось кричать; казалось, он разучился говорить, родная речь и слова чужих языков гремели в голове, как сухие горошины в пустой тыкве, он с трудом разделял их, путался. Ладони огрубели, волосы выгорели от огня, щеки ввалились, скулы стянуло. Умываясь в роднике, он подолгу смотрел в гладкую чашу воды, глядя на себя, как на чужого. Трогал завитки бороды, глубокие морщины, прорезавшие лоб, упрямо сдвинутые брови — он или не он?

Спустившись с холма, шел через манговую рощу, вдыхая аромат спелых золотистых плодов — слегка приплюснутых, сочных, приторно-сладких. Дерево желаний... Вот и сбылось его желание.

Однажды Сатьяпал запряг в повозку буйволов, усадил рядом купца, сказал: «Запоминай». Они ехали по дороге, глубоко изрезанной огромными колесами, — через рощу, мимо южного холма, деревни, маленьких полей.

— Запомнил? А теперь седлай коня, поскачешь во весь опор той же дорогой! Подожди.

У кузницы Нарандаса размешивал в глиняном черепке жидкую глину. Чандра обмотал правую руку Никифора чистой тряпицей, перевязал сыромятным ремешком, велел обмазать жидкой глиной, да еще поверх обвязал мокрой тряпицей.

Сатьяпал долго не выходил из кузницы. Конь нетерпеливо переступал копытами, фыркал — застоялся Сокол! Никифора тоже охватило нетерпение, он все смотрел на тростниковую циновку, завесившую вход. Сатьяпал выбежал, держа клещами пламенеющий, как заря, клинок.

— Скачи! Не опускай клинок!

Никифор схватил клинок обмотанной рукой, Чандра стеганул жеребца колючей веткой, конь оскалился от боли, рванулся. Ветер срывал с клинка искры. Пегий летел во весь опор, легко миновал подъем, скрылся между холмами, от топота падали сквозь густую листву золотистые плоды. Вылетел из рощи и, заваливаясь набок, очертил широкую дугу, завешенную пылью. У одинокого баньяна, в дуплах которого жили змеи, всадник вздыбил коня и повернул назад,



гоня во весь опор. Одной рукой было непросто остановить разгоряченного Сокола. Но удержал.

— Ну, чужеземец, я свое слово сдержал — выковал тебе клинок.

Пегий прыдал ушами — видно, понимал, что расстается с хозяином, ластился к Никифору, дышал в щеку. Тот обнял Сокола, поцеловал белую проточину во лбу и передал шелковые поводья Нарандасе. Губы коня задрожали, он шел за Нарандасой, опустив морду, ни разу не оглянувшись на хозяина.

— Подними саблю и дай мне, — велел Сатьяпал.

Никифор схватил серый клинок — и лицо его стало таким же серым от боли, но он не вскрикнул, не разжал пальцы. Сатьяпал взял горячее железо легко, как деревянную палочку, вложил в проволочную петлю, повесил к веревке между столбами.

— Ты выдержал испытание молчанием, не нарушил клятву. Отныне ты брат мне, Нарандасе и Чандре. Каждому клинку дается имя, этот будет назван Бхай-ари — Братство.

Чандра принес из хижины плошку с белой душистой кашицей, Сатьяпал мизинцем левой руки начертил на лбу Никифора три продольные черты. Когда-то Шанти, прощаясь, нарисовала ему над переносицей кум-кум — красное пятнышко, и ему захотелось увидеть девушку — гибкую, стройную, как колос проса. Но еще сильнее хотелось оказаться там, откуда он начал путь, не ведая, каким он будет долгим и далеким. Он посмотрел на вспухшую багровую ладонь, где железо навсегда выжгло таинственный узор булата, — неужели из-за этого стоило вынести столько страданий?

— Не печалься, брат. Нет лекарства от болезни, самим себе причиненной. Жди всего, что приносит время, как земледелец ждет урожая.

Сатьяпал пошел к роднику, Никифор остался один. Пыль щекотала босые ноги, чирикали воробьи. Почему они не ходят, как другие птицы, почему все время прыгают? А почему одни люди всю жизнь сидят дома, а другие без усталости идут по дорогам?

Он вошел в кузницу. Качнул мехи — синее пламя пробежало по углям. Глаза привыкли смотреть на огонь, он чувствовал какое-то смутное, тревожащее родство с раскаленным железом. С закопченной куз-

ней и с манговой рощей, с деревушкой за холмом, где дети бегут встречать отца, устало идущего с поля. Со сказочными храмами Парвати и водами Кришны, на берег которой приходят матери и, молясь о детях, пускают по воде ореховые скорлупки с зажженными огоньками. Он принял эту землю в свою душу, взамен оставив здесь часть своей души. И не булат был главным сокровищем этой страны, нет, не булат! И не алмазы Райчура, черный и красный перец Малабара, тончайшие шелка Бенареса,— нет, а красота и доброта людей, которых он встретил в городах, деревнях, храмах, на разноцветных дорогах Индии.

## Глава 14

Дряхлая ворона на верхушке елки зажмурилась, ослепленная ярким зимним солнцем. Воздух за ночь промерз, мороз выстудил из него запахи палой листвы и черной воды, стоявшей в речных прорубях.

Под розвальнями крепко хрустел снег, низкорослые мохнатые лошади с бега вынесли сани на замерзшую речку. Заснеженный лес подступил к самому берегу. С пушечным гулом лопались сосны, скрипели обмороженные елки, от скрипа становилось жутко — словно раненые, брошенные на поле битвы, проклинали трусливых товарищей.

Передние сани наискось прочертили переметенный снегом лед, въезжали на противоположный берег, а хвост обоза только еще вытягивался из леса. Но ничего этого не видел человек, укрытый тулупом, из-под которого торчали сыромятные сапоги-калиги. Смуглое сухоскулое лицо словно заморозком тронуло. Никто уж не помнил, бухарец он или ордынец, где пристал к обозу — в Луцке Великом или Минске. Молчит или бубнит по-своему. Вот и сейчас слышит за спиной возница Ждан бормотанье: «Олло рагым, олло керим, олло рагымелло...» — и, выпростав пальцы из рукавицы, торопливо крестится. Да уж скоро — рядился Ждан везти хворого до Смоленска, а там пускай ищет других доброхотов.

Ельник по обе стороны зимника бугрился запорошенными пнями, порубили бор смолокуры на деготь и смолу. По правому берегу лес монастырский — с

рыбными тонями, бобровыми гонами и пчелиными бортями. Но медом да рыбкой сыт не будешь, вот и валят лес мужики, корчуют пни, распахивают землю. Хоть помирай, а полоску сей. Не запашешь год-другой, снова пашня зарастет кустарем, а потом и рощей в жердь, в оглоблю и в бревно. Ныне в цене не глухомань, а земля, что обжита и вспахана. Стучат топоры, венец за венцом встает изба да рядом двор — то и называется починки, а два-три двора — уже деревня.

Чует лошадь жильё, тряхнула заиндеветшей мордой, наддала. Где жильё, там тепло. И Ждан веселей глядит, деревенька ему знакомая — Зосимово Селище. Вот она, по самые крыши снегу намело, дым над крышами кудрявится. Не бедна и не мала деревня: крыши тесовые, дворы огорожены не плетнем, а тыном, с амбарами, хлевами, баньками, даже своя кузня есть.

К кузнице и правит Ждан, к куму Федяшке, вот и гостинец ему под рогожей — мешок мороженых судаков. Савраска фыркает, возница похлопывает рукавицами — ну, добрались до жилья. Пока другие ямщики гомонят, цепляются оглоблями, бранятся, Ждан подал сани к крайней избе, крепко стукнул кнутовищем в дверь. Наконец вышел заспанный хозяин.

— Ты, что ли, кум?

— Я и есть. На-ко, Федяшка, принимай судаков.

— А это кто?

— А леший знает.

Федяш взял из-под рогожи судаков, глянул на истомившееся лицо чужака, рыжую бороду в тугих завитках, как кольчужное плетенье.

— В избу надо, ишь зубами стучит.

— Давно ты, Федяшка, такой жалостливый стал, уже не после ордынской неволи? Мало, видать, тебя там били, коли готов нехрестя на загорбке тащить.

— Он-то нехресть, да мы крещеные, — прогудел кузнец. Взял рыжебородого на руки, как ребенка, снес в избу, положил на широкую лавку возле печи.

Ждан и сам окоченел за дальнюю дорогу, жался к печке то спиной, то боком, глядя, как кума Настена собирает на стол. Вот чертова баба, и не глянула на судаков! Как ни приедешь к ним, все одним пот-

чует — редька пластами, пареная репа, хлеб да ржаной кисель. Хоть бы пирог когда испекла. Настена тоже поглядывает на чужака, ворчит на мужа:

— Еще бы лешего в избу привел! И так не деревня — разоренный Можай.

— Кто ж вас, кума, разоряет?

— А все. Как при игумене Зосиме отписал друцкий князь монастырю угодыя, так и мы тут, лет уж с полтретьятцать<sup>1</sup>. Князья-то бросили княжение, подались от литвинов на Москву, а служки их лютуют, хотят сбить нас с земли.

— Пить...

— Ишь, как припекло, так по-нашему заговорил.— Ждан усмехнулся.

Настена зачерпнула берестяным корцом в бадейке, приподняла голову больного.

— Ну, чего зенки вытаращил, бусурман?

— Не бусурман я... крещеный.

От неожиданности баба расплескала квас, встала столбом, глядит, как по впалым вискам человека бегут слезы.

— Отец, поди врет? — растерянно спросила.

— Да ты дай ему напиток, опосля спрашивай.— Федяш выхватил у жены корец, набрал квасу, напоил больного.— Кто ж ты будешь, мил человек? По одежке чисто бусурман, а то крещеным сказываешься?

— Купец я... Афанасий...

Он так давно не называл себя этим именем, что ему самому оно показалось чужим. Был он хоросанцем хаджи Юсуфом, был Никифором из Царьграда... Свыкся с чужой одеждой, чужой верой, чужими именами, даже в мыслях не веля себе вспоминать тверского гостя Афанасия Никитина. А вот сказал одно лишь слово, и будто нигде он не скитался, а просто поглядел в цветные окошки...

— Княжит ли великий князь?

— Великих князей много: литовский, тверской, рязанский, а великий государь ноне один — Иван Васильевич.

— Тот, что на Москве?

— Вестимо, на Москве. Чудно ты говоришь, хоть и по-нашему.

---

<sup>1</sup> 25 лет.

— Не сердчай, хозяин. Надо мне в Тверь спешить, не мешкая.

— В Тверь уговору не было,—встрял возница Ждан.—Рядились до Смоленска, а там ищи попутных.

Хозяйка позвала за стол. Усадили и незваного гостя. Молча хлебали постные щи, дули на пшениную кашу. Купец не ел, а ржаного квасу пил много.

— Дяденька, а вы кузнец? — С палатей свесилась вихрастая голова Федяшкиного первенца.— У папани тоже рука жжена. Он знаете какой сильный, против никто не устоит, прошлый год медведя взял рогатиной. А тут воевал с разбойниками, одного сбил с седла, сидит теперь в Тимохиной бане.

Кузнец щелкнул сына по затылку, чтоб лишнего не болтал, но кум уже уши наострил.

— Ну, сказывай, Федяш, с кем воевал?

— А друцких князей служилый человек Юрка с братом Елкой да Сеня Плакса,—ответила за мужа Настена.

— Озорничают,—подтвердил Федяш.—Поставят нас против боярских детей, и мы против них биться лезем. Третьего дня пограбили нас, соседу Тимохе руку порубили, да мы в топоры, ихнего холопа в полон взяли. Уж послали челом бить в монастырь на Юрку, чтоб угомонили его, злодея. Известно, смерду везде беда. Бояре схватятся, у нас слезы катятся; князья бьются, из нас кровь льются.

— Ну, ну, Федяшка, укороти язык,—пристрожил кума Ждан.—Ты... тово... знаешь, что за такие речи?!

— Ты свою кобылу кнутом пужай, а я пуганый.

— Значит, свои же забижат вас? — Купец обтер ладонью губы.—Сколько держав прошел, а нигде не текут молочные реки в кисельных берегах, везде сильному хорошо, слабому худо. А сынок у тебя востроглаз, хозяин. Как звать-то?

— А вот оттаскать за вихры, так узнает,—рассердился Федяш.

— Данилка я.

Мальчик проворно слез с печи, одернул длинную холщовую рубаху, сел на край лавки, рядом с гостем, тот обнял его за плечо, прижал к себе.

— Нет, Данилка, не кузнец я, хотя руку в кузне сжег. Далеко ходил.

— А куда?

— На кудыкину гору,— приснули с палатей меньшие братцы — Карп, Докучай, Жданка и Осташ.

— Вот я вас, пострелы! — погрозила мать.

Дети затаились, только шуршат соломой, как мыши на повети.

— Нет, чада, подале я был.

— В Царьграде, что ли? — спросил Ждан.

— Подале.

— Неужто на гору Афон ходил?

— И того дальше.

Ждан опешил.

— Да подале и земле конец, окиян-море синее.

— И за окияном земля есть — Индия! Варно там, как в протопленной печи, а люди ходят все голые: голова не покрыта, груди голы, мужи и женки все черны. Дивятся белому человеку. А мяса вовсе не едят, против нашей еда их несытная — рис да травы разные, а едят все правою рукою, левою же ни за что не возьмутся.

Кумовья раскрыли рты, не веря, правду ли говорит гость или сказку рассказывает.

— А коли купец, где ж твой товар? — Ждан засмеялся. Сам он служил ездовым у купца Леонтия Бабкина, державшего в Смоленске рыбный торг, зимой водил обозы, летом струги по Днепру.

— Добыл я и товар Руси, только оценить его горазд не всякий. Вот малец уразумел, недаром кузнецкий сын.— Афанасий взъерошил русые волосы мальчика.— Подрастешь, приходи ко мне в Тверь, научу тебя ковать крепчайшее железо — узорчато как атлас, гибко как лозина, а называется булат. И будешь ты первый булатник на Руси — Данилка Федяшин!

— Умудряет бог слепца, а черт кузнеца,— засмеялся Ждан.— Не слушай его, крестник. Лучше торговлишкой промышлять: и сыт будешь подле хозяина, и денежка к рукам пристанет.

— Постой, кум. Дивно ты говоришь, купец! Был я в ордынском полоне, в Сарае и Азаке, оружейники у поганных все наши, и против нас их мастера негожи.

— Эх, хозяин, была у меня сабля булатная, да выгребли все, что мелочь добренькая. Не приведи

господь помереть на чужбине... Чужая сторона что весна без цветов, что лес без птиц.

Афанасий умолк. Видно, разговор утомил его, голова поникла, рука упала с Данилкиного плеча.

— Умаялся, сердешный.— Настена утерла концом платка мокрые глаза.

— Кабы через его маету моей спине кнута не отведать,— разозлился Ждан.— Еще поглядим, что за птица — ворон али синица. Чего он сейчас лалакает да зубами скрипит, будто его на дыбу вздыбили? Может, он послух ордынский или беглый какой, чего у него рука-то жжена, если купец? Ну-ка, Федяш, подсоби.

Ждан нахлобучил на сомлевшего гостя шапку, натянул на ноги сыромятные калиги, взял под мышки.

— Он же хворый, куда ты его на мороз? — заступилась Настена.— Ой, Жданушка, а я тебе кадь рыжиков насолила, совсем забыла.

— Ну-ка, Данилка, запряги кобылку! Да рыжики возьми, на передок положи.

— Погодь, кум.— Кузнец крепко положил руку на плечо Ждана.— Куда ты его на ночь глядя?

— А в монастырь свезу, пушай игумен с ним решит, а мне не по уму.

— А коль не по уму, так отступись. Слышал же, в Тверь ему, по государеву делу.

— Что ж делать? — Возница растерянно топтался. От одной мысли, что придется ответ держать перед властью, холодом ожгло спину.

— Пушай отлежится на печи, а там видно будет.

Тихо на дворе. Спросонья замычала корова, на соседском дворе взбрехнул пес, и снова тихо, только кобылка овсом хрупают да веревки о рогожу трутся. Настена согнала детей с печи, настелила им на полу старых кожухов.

Прижались друг к дружке дети, спят. Спит на протопленных полатях и купец. Впервые за долгий-долгий путь спал спокойно. Снилось ему Тверь, виделась светлая горница крепчайшего воеводы Бориса Захарыча Бороздина.

## Глава 15

— В тяжкий путь посылаю тебя, Афанасий... — Хоть нет в горнице сторонних, а сдавливает воевода гулкий голос, привыкший водить тверские полки. — Сказывателей о тех чудных землях много, а самовидцев никого, никто туда досель не хаживал. Добудешь — высоко взлетит Тверь, выше Москвы. Оружие надобно доброе: панцири, щиты, сабли. Мечом теперь не навоюешь — тяжел и ненадежен в бою, бьет сабля наше железо, как кречет перепелку, булатный же доспех не берет даже топор. Сам знаешь, сколько золота платим басурманам за каждый булат, никакой казны не хватит. Всего и есть у нас девять сабель да великого князя Бориса Александровича осталась булатная рогатина.

Сабли были тут же, на широком дубовом столе. Бороздин поочередно вынимал клинки из ножен, внимательно смотрел на свету, откладывая направо и налево.

— Вот, гляди. Нет, сюда встань, чтоб свет падал.

Одни клинки не имели отлива, другие отливали красноватым и золотистым цветом, словно еще не остыли от пламени, узор по ним бежал светло-серый и блестящий, светлее самой стали.

— Запоминай узоры — это главное, как лицо для человека. Вот прямой узор. А тут струйчатый. Запоминай. А здесь что видишь?

Афанасий долго вглядывался в узор, чуть отворачивал клинок, ловя на свет, щерился.

— Тут, Борис Захарьич, то ли пряди видно, то ли сеть вроде рыбацкой.

— Верно зришь. То добрый булат. А вот... — Воевода дохнул на сверкающий клинок, выпуклый узор затуманился и прояснился. — Самый лучший булат, нет ему ровни: сталь черная, отлив золотистый, узор как спутанная пряжа.

Бороздин положил клинок на голову, пригнул к бороду. Распрямил, щелкнул ногтем по острию, послушал чистый, долгий звон.

— Ищи булат по цвету, узору, звону, гибкости. Потом уж проверяй на остроту и крепость.

Поискал по горнице взглядом и, не найдя нужно-



го, разжал с запястья чеканный бронзовый браслет, положил на столышницу — четырехугольный табурет, легко кинул саблю левой рукой в правую. Молнией сверкнул клинок и надвое рассек браслет.

Изумленный Афанасий взял обе половинки, гладкие на срезе, составил половинки — не видать зазора, разжал пальцы — и полукружья звякнули о половицы.

— Да ты на клинок смотри! Каким местом я ударил?

Взгляд привычно искал выкрошины, но все острие было чистым, только в двух местах разгляделись два светлых пятнышка с льяное семечко, но и они на глазах потемнели, слились с темной сталью.

Воевода достал из-за алого кушака синий комочек, расправил, потрянул — облачко легчайшей кисеи плавно распустилось в воздухе. Взял у Афанасия клинок, упер острием в стол, кинул голубую кисею на обух сабли, дунул — легчайший платок скользнул по лезвию и опал, разрезанный надвое.

— Что рот открыл, Афанасий? Не видал такого дива? Помни: у лучшего булата сталь черна, узор крупный, с золотистым отливом; такой клинок гнется в дугу и распрямляется в струну, рубит железо не выкрашиваясь. Крепко запомни, Афанасий. Спать будешь — помни, а мучить станут — забудь. Окромя тебя, никто не сладит это дело, ты чужие языки знаешь, веру и обычаи ведаешь — то наука добрая. Воинами княжество обороняется, а торговыми людьми крепится. А ты ныне и воин, и купец. Задал я тебе загадку трудную: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Тяжко будет, терпи. Томить станут, молчи, не о себе думай — о земле нашей.

— Ништо, Борис Захарыч, — к редкой загадке отгадка не придумана.

По обычаю, присели перед дальней дорогой, помолчали. Воевода встал, обнял купца.

— Ну, Афанасий, с богом. Крепко надеюсь свидеться с тобой.

...Сколько же лет минуло с того дня? Шесть. Сколько раз за эти годы где-нибудь в Исфахане или Ормузе закрывал он очи и, словно с высокого холма, видел родную Тверь, блещущие золотом купола пресветлого Спаса, бревенчатые стены кремля, тихую Тьмаку. «О светло светлая и красно украшенная зем-

ля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами круглыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими,— всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!»

Не выскажешь лучше! Еще отроком, прочитав «Слово о погибели Русской земли», крепко запомнил слова горючие о княжеских сварах и усобицах, о погибели родимой земли от поганых. Запомнил сызмальства, а понял-то теперь, за тридевять земель от родины, где и доньше одно на уме у князей да воевод: чтоб Тверь выше Москвы взлетела, Новгород набил мощну ту же Пскова, Рязань кичилась перед Суздалем. И пока свои чинят друг другу утеснение, бьют русских то татары, то немцы, то литва. Почему булат крепок? Потому что из железных полос сварен, сотни их перекручены и кованы в один клинок. Когда князья поймут, что только единением упрочится Русь, тогда ей никакой враг не страшен.

Господи, твоя воля! Сподобил ты меня, недостойного, познать тайну великую, так помоги отдать ее тому, кто о всей Руси печалится, о единстве ее ратует.

...Закрыл лицо руками, и горячо стало рукам, словно огненная капель по пальцам побежала. Бывало, в марте заиграет солнце, тает снег на крыше, с края желоба, выложенного из коры, тоненько течет, горя на солнце, снеговая вода, точит высокий сугроб возле крыльца. Льется витой струйкой, а к вечеру истончается в капель, частую-частую, как жемчуг с порванных бус.

«Эх, Борис Захарьич, где ж тут свидеться! Крепко ты на меня понадеялся, а я лежу на печи, и дела не сделал, и себя погубил. Отняли у меня поганые булат! А тайные бумаги сам пожег, чтоб в Трабзоне ихнему паше не достались. Искали у меня тайных грамот от Хасан-бека, ибо пришел я в Трабзон из Белобаранной орды, а у турок с ними война, и крепко меня допытывали обо всем. Пришел в Кафу — и там меня на цепь сажали, мучили, да выручил купчина Гридя Жук, не дал сгинуть без вести, ему и передал тетради, бо не ведал живу быть — то ли за-

хворал, то ли опоили меня нехристи зельем, и теперь дышу через великую силу, кровью кашляю.

Горе мне, окаянному, потому что от пути истинного заблудился и другого не знаю. Господи боже, творец неба и земли, не отврати лица от рабища твоего, находящегося в скорби. Господи, призри и помилуй меня, потому что я твое создание; настави меня, господи, на путь твой правый. Богородица пречистая, спаси меня. Прожил я, грешный, свои дни во зле, но веры христианской не оставил».

Афанасий наяву видел дом, поставленный отцом Никитой на берегу Тьмаки, крыльцо с пузатыми резными балясинами, каждую половицу в горнице, решетчатое слюдяное окно, видел поставец с сальными свечами (восковые жгли на праздники), осветившими налой — столик с наклонной доской для чтения и письма, печь, тепло дышащую в спину, как корова.

Отец Никита был крутого нрава, не терпел слова поперек. Афанасий, взяв силушку и статью отцовскую, норовом вышел в мать: брал не силой, но умом, не спешил говорить, а торопился думать.

Вспомнилось, как поразил его, мальчика, краснобродый перс, торговавший шалими. Дивили не пестрядные узорчатые шали, а непонятная речь — стоят кругом люди, но понять не могут, а вот Кузьма Попов с купцом заговорил. Осия азбуку, выучившись счету, Афанасий упробил отца купить бумагу, сам сшил тетради, писал в них чужеземные слова. До этого водил бронзовым писалом по вошаным дощечкам; ошибся — загладил цифру или букву округлой лопаткой, снова води по воску острием. Но для затейного им дощечки не годились. Для каждой речи завел Афанасий особую тетрадку: для татар, персов, литовцев, греков. Увидит на торжище купца — сурожанина, ганзейца или ордынца, репьем к нему пристанет, спрашивает, как по-ихнему сказать «хлеб», «вода», «соль», «рука», «голова», как сосчитать от одного до десяти, есть ли буквы и как пишутся. Один прогонит, другой объяснит, третий своей рукой слова напишет. Постепенно гул чужой речи обрел мелодию, у каждого языка она была своя. Однажды мальчик неожиданно для самого себя сказал ордынцу, что у коня ослабла подпруга. Раскосый всадник в лисьем малахае спешился и подтянул подпругу. Это был сча-

стливый день — татарская речь словно ожила в нем, язык и гортань сами произносили слова. Теперь он каждый день ходил к казанскому татарину, торговавшему сафьяном, бегал ему за кумысом и лепешками, смотрел, как он ест, молится, встречает земляков. Возвращаясь домой, он тоже садился на пятки, говорил по-татарски. Мать улыбалась, склонившись над рукодельем, наливала в кружку пахучий малиновый квас: испей, Афонюшка.

Он и сейчас чувствовал на губах вкус кваса. И тяжелую отцовскую ладонь чувствовал на плече; отец часто приговаривал: «На Руси не все караси — есть и ерши».

Велика Тверь, только Великий Новгород, Псков да Москва богаче ее. Широко раскинулась по левому берегу Волги, далеко горит золотой шлем Спаса Златоверхого. Храм обступили палаты великого князя Михаила Борисовича, крепкие амбары с княжеским добром, конюшни, псарни, соколятни, подворье владыки — епископа Геннадия Кожи, усадьба воеводы Бориса Захарьича да брата его Семена Захарьича, хоромы бояр, посольские дворы, церкви, караульни, острог, медоварни, резные терема и глухие заборы. Одной стороной кремль выходил на Волгу, другой — на Тьмаку, с третьей — южной — отделен от посада глубоким рвом. Посад еще больше притягивал Афанасия, чем кремль, — здесь самое бойкое место в городе. Неумолчная разноголосица, топот коней, скрип немазанных колес, ругань и божба, клики княжьих бирючей, нищие слезливо тянут «Лазаря», с шутками и прибаутками торгуют коробейники. Сиделец заламывает за товар втридорога, а покупатель дает вчетверо меньше, кричат, хлопают оземь шапкой, расходятся — сходятся, бьют по рукам. А то вдруг вынесут на торжище покойника, которого и похоронить-то некому; сердобольные прохожие кладут на край гроба деньгу-две, кто сколько может. Не смущаясь покойником, тут же поют веселые погудки скоморохи; пустоплясы дрыгают ногами, стоя на руках; ученый медведь показывает, как ребята горох воруют. Шумит, гудит торжище, растекается толпа по широким улицам — Никольской, Вознесенской, Успенской, Спасской, с улиц в ряды-переулки — Кузнецкий, Ямской, Калашный, Сермяжный, Кожевенный, Иконный, Ору-

жейный, Чупрунный... Зимой снегу наметет выше оконных ставней, осенью грязь непролазная, летом пыль столбом. В жару, когда страшнее всего деревянному городу пожар, на посаде до хрипа кричат бирючи: «Заказано накрепко, чтоб изб и мылен никто не топил, вечером поздно с огнем не ходил и не сидел. А для хлебного печения и где есть варить — поделайте печи в огородах, подальше от хором; от ветру печи огородите и дубьями ушитите гораздо».

Афанасий помнил три страшных пожара, когда «погоре полграда» — в 1443, 1449 и 1465 годах, последний случился всего за год до начала его хождения.

Стоит ли Тверь, хранит ли ее святой Спас от пожара, мора и врагов? Стоит ли на берегу Тьмаки родительский дом с косячатыми окнами, на ночь затворенными расписными ставнями? Стоит ли в горенке дубовый стол с холщовым подскатертником, поверх которого матушка стелила льняную скатерть, скликая домочадцев на трапезу. Ели молча, хлебали варево из общей миски, неся под ложкой ломоть хлеба, чтоб не закапать скатерть; жареное и вареное брали с блюд руками, по средам и пятницам не ели мясного и молочного, только рыбное, великим же постом грешно было есть даже рыбу — одну репу да капусту.

Слышит Афанасий стук ухвата, видит отчий дом. Видит Волгу и Тверцу, кремль, купола всех ста пятидесяти церквей, — и словно птицей вьется над Тверью...

Для многих тверичей и Торжок был краем земли, но Афанасия влекли дальние дороги. Лет с одиннадцати отец стал брать его в отъезжие торги — в Калязин, Углич, Кострому, Нижний Новгород, Смоленск.

А когда Афанасию минуло пятнадцать лет, родитель отправил его одного в Астрахань за солью. За одно то лето Афанасий возмужал не по годам, научился и парус ставить, и верблюда вьючить, и по суткам с коня не слезать. По-татарски он говорил как татарин, хорошо понимал греческую речь, мог объясняться с персом и литовцем. После Астрахани пошел в Азак и Сарай, Царьград и Сурож. Ширился простор, раздавался круг земной, и не было ему конца и края.

## Глава 16

Данилка с Докучаем озябли — ходили в лес драть бересту. Жданка и Карп режут берестовины на ровные куски, варят их в котле, отчего они делаются мягкими, неломкими, потом складывают, придавливают дубовой плахой, на которой сидит довольный Осташ — меньшей из сыновей Федяша и Настены. Всем нашлась работа. А сам Афанасий царапает медным писалом, каждое слово повторяя вслух, словно сказку сказывая притихшим ребятам.

— За молитву святых отцов наших, господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня, раба своего грешного Афанасия Никитина сына.

— Дяденька Афанасий, а что такое грех? — спрашивает Докучай.

Данилка тычет брата локтем в бок, чтоб не мешал, но купец откладывает писало, плотнее запахивает кожух.

— Грех? А вина перед богом, стыд перед людьми. Грех: мать с отцом не слушаться, слабых обижать, не трудиться.

— А вы тятю своего не слушались? — срывается петушиный голосок Карпа.

Вместе с братцами смеется и купец, но кашляет, никак не может отдышаться. Данилка проворно зачерпнул корцом квас.

— Спасибо, Данилка. А прошу я прощения, милые, за все, что ныне вспоминаю с укоризной самому себе. Грешный путь широк, да обратно тесен, боком не протиснешься. Всяко было в моей жизни... А теперь, детки, молчок. Сорок анбаров сухих тараканов, сорок кадушек моченых лягушек, кошка драна, хвост облез — кто промолвит, тот и съест.

Дети молчат. Осташ на дубовой плахе пыхтит, чтоб слово не вылетело. Оглаживает бороду купец, поводит плечами — зябко ему, хотя натоплено в избе. Лучина весело потрескивает, освещая буквы на бересте.

— Написал я грешное свое хождение за три моря: первое море Дербентское, второе море Индийское, третье море Черное. Пошел я от святого Спаса Златоверхого, с его милостию, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Геннадия Тверского

и от Бориса Захарьича на низ, Волгою. Придя в Казань и благословясь у игумена Макария, пошел на Углич, с Углича на Кострому, к князю Александру с другой грамотой великого князя, и отпустил меня свободно. Также свободно пропустили меня и на Плес в Нижний Новгород.

Василий Папин тогда уже проехал, а я ждал еще в Новгороде две недели татарского посла Хасан-бека. Он ехал от великого князя Ивана с кречетами, а их у него было девяносто. И поехал я с ним на низ Волгою.

Проехали свободно Казань, Орду, Услан, Сарай, Берекезан. И въехали мы в Бузань-реку...

— А Бузань-река больше Днепра?

— Первым молвил, первым молвил! — накинулись братцы на Жданку. — Кошка драна, хвост облез — кто промолвит, тот и съест!

— А я репу буду есть, — похвалился Осташ.

— Да уймись вы, окаянные! — грозитя Настена, ей самой интересно, что пишет купец. Сидит на лавке, прядет пряжу. Левою рукой вытягивает волокно из кудели, правой крутит веретено. Лен потрескивает, толстая нить навивается на юркое веретенце.

— Ничего, хозяйюшка, пусть спрашивают. Бузань-река поуже Днепра, а глубину не ведаю. Тихая река, плывешь на струе, слышно, как сом хвостиком шлепает, соловей в черемухе свистит... А собралось нас, тверских гостей, да московских, да бухарских, двадцать два купца. Шли на низ и въехали в Бузань-реку. Тут повстречались нам три татарина и набрехали, будто стережет нас хан Касим с большим войском. Посол им дал по однорядке да по куску полотна, чтоб незаметно провели нас мимо Астрахани, а те лихие людишки гостинцы взяли да нас же обманули, дали тайно весть Касиму. Идем на парусах, месяц — светлехонько, а нам с берега разбойники кричат «качма!» — «не бегите!», а сами конных вдогонку берегом пустили, из луков стрелы пускают. Летим на всех парусах, да сели на мель, и тут догнали нас разбойники, товар пограбили, а четырех купцов в полон взяли. Пошли мы от того проклятого места, насилу добрались до Дербента-города и, заплакав, разошлись

кто куда: кто вернулся на Русь, кто в Шемаху пошел, а я в город Баку, где из земли горит огонь неугасимый.

Умолк купец — нерадостно вспоминать, как черпал нефть из колодца, как был бит нещадно, когда обрывалось худое ведро. Дрожит в глазах горящая лучина, словно тот огонь неугасимый, которому молятся огнепоклонники в войлочных колпаках. Чуть вскопают землю, поднесут факел — земля тотчас полыхнет. Дивно это! И можно тот огонь переносить с места на место: копают яму глубиной в аршин, над ней держат козий мех — тулуг; когда надуется, крепко завязывают горловину меха и везут куда надо, а там втыкают в тулуг железную трубку, подносят к ней свечу, и огненная струя бьет из меха.

Много вычерпал нефти Афанасий. В Баку он впервые и увидел индусов, приплывших поклониться огню. Лица черные, речь птичья, обычаи непонятные. Когда умер один из них, не предали покойника земле, а развели огромный костер и сожгли на нем мертвого, как полено. Кто знает, сговорись он тогда с темнокожими людьми сесть на их корабль, может, его путь в Индию оказался бы не так далек. А пришлось туда три года добираться...

Многое забылось с той поры, в иное самому теперь не верится. Крута гора забывчива. А медное писало знай царапает бересту, словно петух клюет пшено, и вместо зернышка остается буквица. Будь бумага, проворней пошло бы дело, да где ж взять? Только в монастыре. Эх, что теперь... Такая истома, что на печь сам влезть не может, рука еле писало держит, кровью кашляет. И тяжело на душе: княжью волю не исполнил, саблю не сберег, записки про хитрости булатные своей рукой пожег, а тетради отдал купцу Гриде. Из всех утрат больше всего печалили тетради. Господи, сколько претерпеть довелось, пока встретился ему булатник Сатьяпал — не пяток минут пришлось играть в молчанку, как Федяшиным сорванцам, а три месяца молчать!

Он разжал правую ладонь с выжженным узором. Опасно хватать горячее железо. Но еще опаснее, когда схватит рукоять сабли недоум, алчущий крови и добычи. Вот Федяш сказывал, что забирает дере-



веньку лихой человек Юрка. И так везде: боярин злобится на боярина, князь идет на князя. Прошлое лето крепко побил царь Иван новгородцев на Шелони, а до того подмял под себя, как медведь, Вологду, Серпухов, Ярославль, да и Тверь почувствовала тяжелую руку Москвы. Нет мира на земле: тридцать лет воюют царства Бахмани и Виджаянагар. Видел он, как из ворот Бидара двинулось двухсоттысячное войско великого везира Махмуда Гавана. Двадцать дней штурмовали они Виджаянагар, с боем взяли первую стену, вторую, а всего их было семь. Пять тысяч отборных воинов полегло на штурме, но и виджаянагарцам солоно пришлось — побили их бессечно да в полон взяли двадцать тысяч и продавали на базарах задешево: взрослого за десять денежек, женку — за пять, малых ребят — за две.

Видел он, как схватились две туркменские орды — «Белобаранная» и «Чернобаранная», оставляя после себя разрушенные города, которые он, идя в Индию, еще застал в цветении садов. Когда-то в Исфагане дервиш сказал ему: «Если бы воды Хорезма, землю Исфагана и воздух Герата собрать в одно место — там не умер бы человек». Но воды Хорезма окрасила кровь, землю Исфагана засыпал серый пепел, а воздух Герата, пряный от кипарисовых садов и зарослей шафрана, смердел непогребенными мертвецами. Разве забудешь это? Разве забыть ему Эрзинджан — город без людей? Через него прошли полчища «белобаранного» Узун-Гассана, потом войско турецкого султана Мухаммеда II, ни одного жителя там не осталось, лишь старый священник-армянин не захотел покинуть город, сидел на пороге храма с книгой в руках. Не пощадили старика. О, господи, рыба рыбой сыта, а человек человеком! Эрзинджан — снег, черный от копоти и красный от крови, яблони, горестно воздевшие обугленные ветви-руки, изломанные конскими копытами драгоценные чаши, изрубленные книги.

Нет мира на земле. Много люди баяли, а горя не убавили. Православные бьют православных, мусульмане режут мусульман, индусы топчут слонами индусов, и вера с верою не ест, не пьет, не женится и за людей не считает. А правую веру один бог ведает. Но разве тесно людям на земле, ведь земля велика и

обильна — теперь-то Афанасий знает! В Баку черпают нефть. У великой горы Демавенд, где снег даже летом не тает, добывают серу и свинец. В Ормузе рождается жемчуг, а в Райчуре — самоцветы дивные. В Тароме финики продают пуд за четыре алтына, скот ими кормят. В Кашане ткут столько шелка и бумазеи, что в один день можно навьючить тканями сто караванов. В Тавризе выдывают лучшую шерсть, парчу, ковры, шали, сафьян. В Грузинской земле на все большое обилие. И Турецкая земля добром богата. Валашская тако ж обильна, дешево там съестное. И в Подолии тучны нивы, велики стада. Но нет на этом свете земли, подобно Русской, хотя бояре ее не добры, и справедливости мало в ней. Да будет она богом хранима. Да станет Русская земля благоустроенная, и да будет в ней справедливость.

## Глава 17

В сретенскую<sup>1</sup> оттепель Афанасию стало совсем худо, целыми днями лежал на печи под старым Федяшиным кожухом и только пить просил. Сухоскулое лицо потемнело, словно от угара, рыжую бороду совсем побила седина.

Как-то, поправляя сбившийся кожух, Настена увидела на широкой костистой груди гостя медный образок Николы-чудотворца, а рядом талисман на крученой шелковой нитке — костяного толстого младенца со слоновьей головой, один бивень отломан. Испугалась, побежала в кузню, стала просить мужа увести постояльца.

Федяш и без жены думал, как быть. Странника приютить — дело доброе, да залежался гость на печи, чахнет. И без него в избе семь ртов, как ни раскинь умом, а хлеба до весны не хватит, снова идти в монастырь за рожью, а там уговор известен: бери два куля, отдай три. Придется ехать в обитель и постояльца туда везти. Может, молитвой да травами выхоят его монахи.

---

<sup>1</sup> Сретение — 2 февраля.

Почесал кузнец затылок, снял прожженный фар-  
тук.

- Отец, ты куда? — насторожилась Настена.
- Бурушку запрягать.
- Тятя, и я с тобой, — попросил Данилка.
- И я, и я, — наперегонки кричат остальные.
- Дома сидите. Данилка, возьми хомут.

День солнечный, искристый. Синие тени оттепель-  
ного дня бегут рядом с Бурушкой вдоль тропки, про-  
топанной в снегу. На высоком холме монастырь,  
крепко огороженный стеной. Над стеной и голыми  
вязами привстал белокаменный собор, купол храма  
серебрится осиновою дранкой, в проемах звонницы  
медные колокола, звон слышен далеко окрест. Открыл  
глаза Афанасий — над головой небо высокое, голу-  
бое. «Федяш, далеко ли Русская земля?» Но голос  
был так слаб, что Федяш не расслышал. Не заметил  
даже, как следом нагоняет сани тройка, легко мча  
возок. Насилу успел посторонить розвальни, мельком  
увидел горбоносое лицо, округло подровненную бо-  
роду, огневой распах лисьей шубы.

— Тятя, это боярин? — испуганно спросил Данил-  
ка.

Ни он, ни отец его, ни Афанасий не знали, что ми-  
мо них проспешил на Смоленск и дальше, на Москву,  
Василий Мамырев, недавно пожалованный государем  
Иваном Васильевичем из подьячих в дьяки.

Не знал и дьяк, что ему первому доведется про-  
честь тетради Афанасия Никитина, привезенные из  
Кафы купцом Гридей Жуком. Много дивясь любозна-  
тельству и мужеству тверского гостя, Мамырев своей  
искусною рукою прилежно переписет тетради.

Весть о таинственном страннике, достигшем Ин-  
дии, взбудоражила Москву и Тверь, Киев и Вильнюс,  
Рим и Дижон; его искали соглядатаи Узун-Гассана,  
султана Мухамеда II, государя Ивана Васильевича,  
Казимира IV, папы Сикста, хана Большой Орды Ах-  
мата, бургундского герцога Карла Смелого. Но Афа-  
насий-Юсуф-Никифор исчез... Со слов летописца  
известно: «А сказывают, что, деи, Смоленска не до-

шед умер. А писание то своею рукою написал, и жи его руки те тетради привезли гости к Мамыреву Василию, к дияку великого князя на Москву».

Перечтем и мы дивное писание его руки и помянем добрым словом тверского гостя Афанасия Никитина сына — он первым прошел неведомый великий путь.

1985

## НАРЕК



Господи, грешен я  
Всеми грехами природы своей,  
Но как посланец мира сего  
Молю за всех людей.

*ГРИГОР НАРЕКАЦИ<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Все стихи Григора Нарекаци переведены мною по литературному подстрочному переводу Л. Ханларян и М. Дарбинян. Приношу им сердечную признательность за помощь.

## 1. Постриг

Голос звучал в верхнем углу кельи, он пел не псалом, а что-то ангельское, дивное; если бы узкий ердык крыши посеребрил лунный свет, послушник поверил бы, что так звучит свет, нежно звенят звезды, но в келье было темно, как бывает только зимней ночью. Высокий свод, стылые камни стен с отсыревшими швами извести, земляной пол, прикрытый рогожей, низкая дверь, твердое сиденье, чтоб и сидеть, и спать четыре ночных часа, — и нежный серебристый звук в полукружье свода, над кудрявой головой послушника.

Под ветхой рясой выпирали ключицы, запавшие щеки курчавились первой бородкой — мягкой, с искорками рыжины, золотисто-карие глаза широко открыты, от сросшихся бровей лоб кажется низким, босые ноги еще не огрубели от камней, и мог бы он показаться слишком юным, нежным, если б не мощная шея, крепкая спина.

Григор замер, боясь спугнуть голос, достойный кого-то высшего, а не простого смертного. За что ему, послушнику Григору, такая благодать? Или не благодать вовсе, а новое испытание?

У каждого есть тайны, они суть человека: у великих — великие, у малых — малые, и кто знает, что лучше, ибо сама жизнь человеческая есть тайна; как замок нельзя открыть чужим ключом, так и самого себя откроешь, только прожив жизнь.

За долгие недели поста тело словно истаяло, но было нетрудно, даже радостно: он чувствовал в себе бестелесность, легкость; казалось, подними руки — и волна воздуха от взмаха широких рукавов рясы вознесет над землей. Последнюю неделю он отказался даже от воды и хлеба, запах пищи вызывал отвращение. От долгого стояния онемели ноги, хотел преклонить колени и не мог, не чувствовал опоры под ногами, словно и впрямь вознесся.

Много силы было в этом юноше. Летом Григор, поспорив с сотником князя Гургена, пронес от ворот монастыря до церкви Богородицы каменную плиту для солнечных часов, которую с трудом взвалили ему на спину четыре воина, вместе с сотником сопровождавшие князя. Когда они отпустили руки, такая тяжесть сдавила, сплющила юношу, что показалось —

он по колени увяз в земле, и все-таки донес камень. А теперь его переполняла легкость, невесомее той, которую почувствовал, сбросив чудовищную ношу; в этой легкости — он верил — ему явлен тайный знак посвящения.

— Владыка, отдай мне послушника, мне нужны сильные воины.

— Он воин Господа, — кротко ответил князю игумен Анания, но Григор видел, что вардапет<sup>1</sup> рассержен.

Но разве Анания учил их только арифметике, грамматике, музыке, разве не он открыл своим ученикам Фукидида, называя его отцом военной истории, Плутарха, «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, но прежде всего труд Егише «О Вардане и армянской войне»? Слушая учителя, Григор сердцем и душой стремился на Аварарайское поле, где шестидесятитысячное армянское воинство пало в битве против двухсот тысяч персов, своей гибелью спасая Родину. Когда земля содрогнулась от топота боевых слонов Мушкана Нисалавурта и настал час последний, страшный, святой князь Вардан встал на стремях, и над полем армянской судьбы грянул его клич: «Смерть неосознанная — смерть. Смерть осознанная — бессмертие».

Не сам Григор избрал свой путь — католикос Анания Мокаци призвал его, когда он был еще ребенком, но готов ли он теперь исполнить волю патриарха, или есть другое поприще для него, одаренного телесной мощью и силой разума, страстями и волей? В любом городе, в любой из семидесяти крепостей он нашел бы поприще; Васпураканское царство молодо, ему нужны воины, ученые, зодчие, послы, финансисты, переводчики — увы, прежде всего с арабского, ибо половина мира со страхом взирала на столицу ислама Багдад.

В 849 году халиф ал-Мутаввакил назначил наместником Армении эмира Абусеида, повелев ему наказывать непокорных князей и собрать дань, но напрасно ждал золота — в Васпуракане войско Абусеида было разгромлено восставшими; на помощь эмиру двинул

---

<sup>1</sup> Вардапет — высшая богословская степень, дается только монахам.

полки его брат Юсуф, в Хлате он вероломно пленил князя Баграта Багратуни и, быстро продвигаясь на запад, надеялся, перезимовав в Муше, предать лезвию меча непокорных. Однако армяне его опередили — они первыми напали на армию, рассредоточенную на Мушской равнине, самого Юсуфа сбросили с купола церкви, что, впрочем, мало кого опечалило в Багдаде, зато стало поводом для нового, еще более страшного нашествия. Халиф, забыв до поры о восстании зинджей — черных рабов, вывезенных с Мадагаскара, о кознях шиитских вождей, высланных в Мекку, о бунте менял (такого отродясь не было, ибо эти дети наживы имеют выгоду при всех правителях), спешно снарядил на помощь опозоренным эмирам полководца Бугу. Но этому псу войны тесной показалась Армения, он двинул конницу на Тифлис, забыв, что за спиной оставляет не только мертвецов; непокорные князья Арцруни по горстке собрали храбрецов и настигли корпус Буги, к тому времени испытывший жестокие удары грузин.

Три поражения подряд — Абусеида, Юсуфа, Буги — привели халифа в ярость: неслыханно! Армия опозорила зеленое знамя ислама, вся надежда на чиновников, они жирны и трусливы, но тростниковые перья порой сильнее войска. Недаром же великий визир Али ибн ал-Фурат наставлял подчиненных: «Править государством — это в сущности искусство фокусника: если хорошо и уверенно проделывать фокусы, они становятся политикой». Не без содействия ал-Фурата в 908 году царем Армении и союзником халифа был поставлен владетель Васпуракана князь Гагик Арцруни, — секрет фокуса заключался в том, что, будучи не в силах сломить сопротивление армян, великий визир воспользовался давними распрями между могущественными родами Арцруни и Багратуни, и пока при дворе царя Гагика пировали, арабы осадили крепость Капуйт, где укрылся царь Смбат Багратуни. Поняв, что станет причиной тысячи смертей, государь вышел к врагам и был распят на кресте, как Христос, а царь Гагик, видевший ужасную казнь Смбата, стал Иудой.

Так, в крови и слезах, раздираемая врагами и враждой, земля армянская разрешилась Васпураканским царством. Оно было старше послушника Григора, ро-



весником его отца — епископа Хосрова Андзеваци, но младше игумена Нарекского монастыря вардапета Аналии. Да, державе нужны пахари, воины, мастеровые. И монахи — заступники земли армянской перед Господом. Мир греховен, воздвигнут на крови и грязи, замешен на низменных страстях, ничему не научили его развалины развратного Содома, нечестивой Гоморры, надменного Тира, горделивого Вавилона.

Почему же этот юноша уверен, что не умножит напрасные моления и выведет мир из тьмы, что руки его никогда не обагрят кровь? Неужели надеется стать избраннее избранных, праведнее праведников? Но пусть даже свершится чудо, разве возможно спасти мир раз и навсегда, если и Христос не спас его? К счастью или к несчастью, человек рождается таким, каков он есть, и если Григор жаждал принять постриг, следуя примеру отца и братьев, такое желание естественно, простительны и малое смирение, и гордыня, но поразительно величие цели в столь юном возрасте.

Дубовый колокол пробил шесть часов, возвестив начало нового дня, глухие удары, как камни, привязанные к стопам, опустили послушника на землю, колени подломились, он упал лицом вниз, не почувствовав боли, и сладостна была молитва окровавленными губами. Скоро уже возложат на него вегар — кlobук, вычеркнут его имя из числа живых...

Тесно в храме святой Сандухт, полон монастырский двор, пахари здесь, кузнецы, каменотесы, странники, что издалека пришли поклониться мощам девы-мученицы, воины Ванской цитадели и Востанской крепости, бегают по двору дети, монахи продают крестики, четки, благословляют на жертвенном камне ягнят, петухов, голубей.

Горят свечи, освещая празднично убранный храм, парчовые ризы, багряные, фиолетовые, лиловые облачения епископа и архимандритов, вардапетские мантии, слоновую кость и рыбий зуб на вершине посохов, усыпанных самоцветами.

На алтарь по мраморным ступеням взошли послушники — Ухтанес, Григор, Вачаган, за ними, опираясь на посох, епископ рштуникский Матевос, священники в полотняных стихарях, расшитых по бокам и спинам

крестами. Настоятель Анания поцеловал громадную Библию в кованом серебряном окладе, и все молящиеся опустились на колени, словно огненное дыхание склонило траву, только ласточка стремительно чертила золотистый свет под куполом. Отроки в белых одеждах вышли из ризницы, на вытянутых руках — фелони, вегары, посохи, пояса. Епископ Хосров смотрит на сына, а два старших, Ованес и Саак, стоят рядом с отцом, оба в черных переливчатых фелонях поверх ряс, островерхих вегарах, как воины в железных шлемах, лица суровы. Саак ниже отца и брата, но звериная мощь таится в тяжелых плечах, короткопалых руках, заросших волосами, в дерзком взгляде, даже смуглостью лица он выделяется среди бледных, одутловатых иереев. Три реки стремятся из Эдема: Тигр, Ефрат, Аракс. А владыке андзевацикскому жена родила трех сыновей; Ованесом он назвал своего первенца, от еврейского Иоханаан, что значит «богоданный», второго Саак — от Исаак, а это «радость», младшего Григором, от греческого Григориос — «бодрствующий», и все они посланы ему богом на радость: Ованес одарил родителя золотой покорностью сердца, Саак — несгибаемым истиннолюбием, Григор — драгоценными дарами разума. Вот они, дети его желанные, его жертва Господу.

А Григор не видел ни отца, ни братьев — смотрел на северный придел, на каменную купель, где младенцем принял крещение. Недолго радовалась ему мать, бедная... А ныне отрекается он от отца, братьев. Жаль стало ему самого себя и все, что оставлял он в мире, страшился и торопил торжественный час пострига; как человек, решивший покинуть родительский дом, торопится, чтоб скорее скрылся из глаз кров отчий, гнездо, его взрастившее, так и он спешил к новой жизни, думая, что все впереди, а позади только блики солнца на морской волне, старая ветвистая шелковица, тепло матери, что-то зыбкое, далекое...

Лиловая завеса алтаря с громадным златовышитым крестом раздвинулась, открыв придел, окутанный синей ладанной дымкой. Ярко разгорелись свечи. Высокий свод удесятерил силу голосов, правый и левый хоры, сойдясь пред алтарем, пели псалмы.

— Сын мой, готов ли принять ярмо Господне?

— Готов, святой владыка.— Прямо и бестрепетно смотрит Ухтанес в глаза епископа Матевоса.

— Исповедуешь ли православную веру по исповеданию нашего великого первосвященника?

— Истинно исповедую. Верую в Отца, и Сына, и святого Духа, в святую и равнопрославленную Троицу без начала и конца, вечную и беспредельную, совершенную, невозрастающую и неубывающую. Верую и во все сущее из ничего, происшедшее из той же Троицы, в Адама, созданного по образу Божьему, и самовольными преступлениями обреченного на смерть, и опять обновленного тем же Творцом, промыслом одного лишь Единородного, волею Отца и Духа. Верую в Воскресение. Верую в справедливость правосудия, которое в дни Суда каждому воздаст по заслугам, и в воздаяния вечной жизнью и мучениями.

— Веруешь, что Господь наш пребывал во чреве Девы девять месяцев и еще пять дней по первородству, и родился как человек, Бог вочеловечившийся; что восьмидневным был он обрезан, сорокадневным вступил в храм, по исполнении тридцати лет пришел на Иордан, явив славу Отца своего?

— Верую.

— Веруешь, что Христос явил миру силу своей божественности, изгоняя бесов, исцеляя хворых, возвращая зрение слепым, воскрешая мертвых, пройдя по морю, аки посуху, насытив многих малой толикой хлеба, изменяя по воле своей свойства творений: обращая воду в вино и глину в свет?

— Верую.

— Веруешь, что Спаситель был пригвожден к кресту, дабы освободить нас от уз и даровать нам древо жизни взамен древа смерти; что самовластно умер Он человеческим смертным естеством и остался жив божеским бессмертным естеством?

— Верую.

— Веруешь, что Христос, сойдя во гроб умершим телом и живым божеством, воскресши на третий день, воссел одесную небесного Отца?

— Верую.

— Приемлешь ли Священное писание?

— Приемлю.

— Исповедуешь ли таинства Святой церкви?

— Истинно исповедую.

— Предаешь ли проклятию врагов православия, еретиков, язычников, колдунов и всех разделителей сына Божия от сына Марии?

— Предаю.

— Прими же, сын мой, ярмо Господне, ибо Господне ярмо мягко и бремя его нетяжело.— Матевос взял с лиловой подушечки ножницы, выстриг прядку волос послушника.— Постригается ныне раб божий Ухтанес...

Епископ возложил руки на склоненную голову новопостриженного; вышитый золотой нитью омофор, перекрестивший грудь и спину владыки, ниспадал длинными концами на ноги, твердое шитье царапнуло крутой лоб инока, но даже вонзившиеся тернии не умалили бы его радость, когда Матевос возложил на него вегар.

Григор стоял вторым. Во рту пересохло, он испугался, что не сможет вымолвить ни слова, еще страшнее была мысль, достоин ли он иноческого сана? Он искал отца, но митра епископа заслонила взгляд. Матевос ласково улыбался, глядя бороду — белую, душистую от благовоний, как ветвь цветущего абрикоса, — наверное, летом пчелы жужжат в ней, путая бороду с цветами.

...Летом пчелы гудели в зарослях ирисов. Отцвел виноград, свежа узорчатая зелень листьев, шелковицы усыпаны сладкими белыми ягодами. И шорник-сосед трясет ветви, а дочь ловит губами ягоды, как дождь, смеется, щеки Григора горят, он не может оторвать глаз от сладких губ девочки. «Гико, лови!» Сколько ему лет? Шесть.

— А Такуи самая красивая? — Отец улыбается, выбирая ягоды, запутавшиеся в рыжих кудрях сына.— А почему она бегаёт босиком?

— Красивое имя дал ей отец, и сама она красивая, но они бедные люди. Я уже стал тревожиться, что ты не спрашиваешь об этом... или не замечаешь людей, или они тебе безразличны. Почему они бедные, сынок? Потому что одним дано много, другим мало, а если все разделить поровну, у тебя будет одна сандалия и у Такуи одна. А если ты будешь бегать босиком, ты можешь заболеть, пропустишь занятия с наставником Ананией. Господь ведаёт, зачем он создал богатых и бедных, но я рад, что ты спросил об этом,— значит,

ты никогда не будешь считать себя лучше несчастных, обездоленных, и поймешь, что Господь по неизреченной милости своей в этой жизни дал тебе больше, чем им, но когда ты станешь священником, врачом или воином, отдай народу всю свою жизнь, только так сможешь отплатить свой долг — Родина тебе ничем не обязана, но ты ей обязан всем!

Вот и настал день, когда спросится с него долг обездоленным, горюющим. Но чем оплатить его? Григор ужаснулся своей нищеты и немощи, кровь отхлынула от щек, задрожали огоньки свечей. Как легко быть ребенком, когда тебя все любят, и как тяжело любить всех!

— Сын мой, готов ли принять ярмо Господне?

— Святой владыка, торопил я этот час, а теперь страшусь.

— Не бойся, сын мой: брань коротка, но славен венец; труд на время, отдых на века.— Глаза епископа лучатся, как аметист на правом мизинце.

— Не брань и труд меня страшат. Как возлюбить всем сердцем ближнего?

— Вопрос сей не тобой задан и не отцами нашими. Вспомни, как приступил к Господу законник: «Учитель, какая заповедь первая в законе?» Господь ответил: «Возлюби господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всей крепостью твоей, и всей мыслью твоею». Сия есть первая и великая заповедь. Вторая же подобна ей; возлюби ближнего своего как самого себя. Без научения стяжается эта любовь, разве учит нас кто-нибудь любить отца и мать, свет и тепло? Доброго естественно желаем сами, способность сия посеяна в нас изначально, а нам остается ее прилежно возделывать, воспитывать и в совершенство приводить. И помни, что силою любви исполняются все заповеди. Теперь оставь смущение и отвечай, как должно.

Даже сквозь подошвы Григор чувствовал гладкотесаные плиты; не будь сандалий, вжался бы горящими ступнями в камень, как в глину, оплавил его — такое пламя бушевало в сердце! Разве епископу рштуникскому он сейчас дает ответ? Не ему, даже не Господу, без воли которого ничего не совершается, но этим людям, ибо если не им, то кому нужны его молитвы, подвиг и несение креста?

Владыка ждал, тяжело ему было драгоценное облачение, во время проповеди он сидел в кресле, а сейчас утомился, часто дышал, и не понимал, почему упорствует в молчании послушник, ведь известно ему, что спросят и что отвечать. Епископ вздрогнул от неожиданности — с такой силой зазвенел голос Григора.

— Народ армянский, услышь голос сына твоего. Все сотворил Господь: и небеса, и землю, и человека — истинно верую во все сущее, в святую Троицу, в Спасителя — победителя смерти и ада, в торжество бессмертия и воскресения, ныне пред вами чистосердечно подтверждаю это и надеюсь, многое мне за это простится. Но никогда я не мог понять, чему на земле радоваться человеку, кого укорять за беззаконие и горе, если один Творец и Судия над младенцами и старцами, мужами и женами, имущими и нищими, безродными и родовитыми, отверженными и чтимыми, заблудшими и первоидушими...

Епископ Матевос, преодолевая ломоту в голених, укоряюще смотрел на архимандрита Ананию, — он наставник сего послушника, с него и спрос: что это творится в храме, постриг или проповедь, где смирение, где послушание?! Игумен опустил глаза и склонил голову, успокаивая владыку, заодно и епископа Хосрова, бледное лицо которого пошло пятнами.

— Не тревожься, владыка Хосров: он сын твой, и слова его искренние, из глубин сердца.

— Но разве каждый из вас не знает злодеев, мнящих себя непогрешимыми? — вопрошал Григор. — Разве не видел сердце чистых, которые мучаются и винят себя? Но если быть на земле грешником или святым — вопрос совести каждого из нас, то как же стать нам братьями, едино понимать добро и зло? Быть человеком в том великом смысле, как заповедано Христом, мы сможем не каждый по себе, а сообща, ибо одна вера у нас, одна земля, одна кровь, один язык, и все мы дети одного Отца и Матери-Армении. Пусть истинного человека сейчас нет ни в ком, нигде, но он есть в каждом из нас. Я малая частичка ваша, плоть от плоти вашей, так же как вы, мучаюсь своим несовершенством, но ныне с любовью к вам принимаю ярмо Господне, дабы любить вас, сколько жизни моей хватит.

— Постригается ныне раб божий Григор... Склонись ниже, высок ты, сын мой.— Епископ выстриг рыжую прядь.— Помни же, что ты сказал. Твои слова, тебе и нести их до самой смерти.

Из троих юношей, стоявших перед ним, епископ знал только Вачагана. В Варагский монастырь, где владыка был настоятелем, пришел оборванный мальчик, чтобы стать монахом. Напрасно Матевос увещевал его, что он слишком мал,— мальчик упрямо повторял свое, да и некуда ему было возвращаться: отца убили, мать умерла, сестра утром выгнала пастись овец и не вернулась. Так и остался Ваче в обители, подметал церковь, носил воду, служал и монахам, и странникам. Настоятель полюбил его, а когда Ваче подрос, послал его к игумену Анании учиться церковным распевам, которыми славились нарекские монахи, особенно сам архимандрит, повсюду известный не только как философ и поэт, но и как музыкант, прекрасно играющий на уде — четырехструнной армянской лютне. Радостно было теперь услышать епископу от самого Анании, что его воспитанник превзошел учителя в игре на уде, Матевос решил сразу после пострига взять Вачагана к себе в Востан.

— Сынок, вот и настал день, которого ты ждал. Готов ли принять ярмо Господне?

— Нет, святой владыка.

Рядом с рослыми Ухтанесом и Григором щуплый Вачаган казался подростком, был ниже даже епископа Матевоса, а владыка питал слабость к маленьким, считая высоких и сильных приметной целью для стрел сатаны. И сейчас он ласково улыбался послушнику, не расслышав шепота, но монахи обмерли, как громом пораженные тремя тихими словами.

— Исповедуешь ли православную веру по исповеданию нашего великого первосвященника?

— Истинно исповедую, святой владыка, но прости меня, ради Христа,— не могу я принять постриг.

Ваче встал на колени, опустив голову, словно под меч.

— Сынок, опомнись, что ты говоришь!..

Епископ попятился — за всю долгую жизнь никогда не слышал он таких страшных слов, никто не обманывал его так жестоко, как маленький Ваче. Что за день злосчастный, что за гордыня и прельщение?!

Вардапеты гневно сжали посохи, даже резные змеи наверхней зашипели, норовя ужалить строптивного; гнев распалал монахов, нетерпеливо смотрели на игумена — он-то что молчит, почему не проклянет отступника? Анания и сам с трудом обуздал гнев, голос его прозвучал твердо, но безгневно:

— Как Христос прощал, так и мы простим сего послушника. Что так тяжело дышите? Или непосильно для ваших душ прощение, или вы сами без греха? Так вразумите меня, грешного.— Архимандрит обвел взглядом вардапетов.— А ты ответь, сын мой: что заставляет тебя учинять непотребное на алтаре, жестоко уязвлять нас огорчением?

— Прости, владыка, виновен я перед тобой, ведь ты питал меня своей мудростью и надеялся на меня, тяжко повинен и перед вами, строгие монахи, что хочу быть не братом вам, но отцом моих детей. До последнего часа боролся я с желанием, но оно сильнее меня — больше жизни вечной я хочу детей.

— Дитя мое, а разве они все... разве они не дети мои?

— Святой владыка, хочу, чтоб дети мои называли меня не святым отцом — просто отцом. Ночью я видел их во сне и бежал от них, а они звали меня — две девочки и мальчик...

Лицо послушника взмокло от пота, пальцы дрожали, будто он гладил ребячьи головки, и готов был скорее умереть, чем отречься от них. Верующие с жадным любопытством смотрели на алтарь, вытягивали шеи, силясь услышать, что там говорят, торопливо перешептывались; торжественный чин, вершившийся с таким благолепием, остановился, словно сцепились передками две телеги, никак не разъедутся. Епископ рштуникский понял, что опасно затягивать препирание с послушником. Он обнял Ваче, поднял с колен.

— Сынок, ты знаешь, как я люблю тебя, хотя и печалюсь. Видимо, решил ты стать музыкантом, вот и игумен тебя хвалит.

— Нет, святой владыка, я хочу быть воином того полководца, который освободит мой родной Сасун от врагов. Если бы ты знал, как я хочу сжать рукоять клинка, сражаться за родину!



— Были и иноки-ратоборцы, и не укоряю я тебя,— благословляю.

В трапезной все чинно, по заведенному порядку, сели на каменные скамьи по обе стороны громадного, во всю длину трапезной, дубового стола. Каменные столбы лишь отмечали границу двух квадратных сводчатых залов, ничем не заслоняя взор; массивные своды арок, низко упертых в широкие выступы полуколонн, сведены вершинами к двум восьмигранным ердыкам. Стемнело, но факелы еще не запалили.

— Ухтанес и Григор, на эту неделю примите послушание — ухаживать за старцами немощными, умывать ноги странникам, приходящим в обитель. Остальные получают работы от старших. Вы, гричи<sup>1</sup>, после трапезы возьмите в келарне чернильных орешков для чернил и по связке тростника на перья. А теперь, владыка Матевос, скажи нам пастырское поучение, а мы преклоним слух.

Епископ откашлялся,— иноки, торопливо доскребавшие в мисках кислое молоко с накрошенным хлебом, положили ложки с неудовольствием — постна пища, а есть хочется, особенно молодым.

— Дети мои, знаю, что не нуждаетесь в моих поучениях, ибо научаетесь Писанием, но, как рабы, получив повеление Господа делиться пищей, дают ее не только голодным, но и сытым, так и я подаю мое слово всем сослужителям, как немудрым, так и умудренным. Об одном прошу вас всех: не угасите лампаду вашей веры, не охлаждайте огонь любви равнодушием — Господь возжег его и желал, чтобы он пламенел на земле. Пусть не превратят вас земные желания в соляной столп, как жену Лота, которая стала негодной ни для приправы пищи, потому что была камнем, ни для постройки, потому что была солью. Так же и тот из вас, кто, оставив мир, желает земных благ, тот и Богу бесполезен как инок, и в миру не нужен как мирянин. И хотя трудно всем уподобиться Христу, то есть отречься от всего ради любви христианской, однако не невозможно, ибо кто хочет, тот может — сие доказано многими опытами исполнения подвига во все времена.

<sup>1</sup> Г р и ч — писец, переписчик, а часто и украшатель рукописи, подвижник книги (*арм.*).

— Владыка, в такой светлый день и ты не оставь нас наставлением,— сказал Анания епископу Хосрову.— Давно не слышали твоих душеполезных слов.

Владыка андзевацикский хотел увидеть сыновей, но они сидели далеко, на самом конце стола, да и как их узнать среди братии, если все сидят, надвинув на глаза вегары, чтоб один брат не видел, как ест другой. Сам Хосров принял постриг, когда у него были Ованес, Саак, Григор, после смерти возлюбленной жены, которую и теперь каждый день поминал в молитвах. Нет, ничего не оставил он в мире, о чем можно печалиться и сожалеть,— сыновья его, как прежде, его дети любимые, он же им отец и пастырь. Радовался он, что, избрав тяжкий путь, они не утрашились, как Вачаган, хотя в маленьком послушнике Хосров не заметил страха, а много он видел монахов, влачивших крест с отвращением, лживых, похотливых, наушников, грешивших тайно и явно, потом ползающих на коленях, вымаливая прощение,— такие действительно бесполезны и церкви, и миру. Нет, маленький послушник не из них, есть в нем искренность и отвага, ибо так, одному против всех, отстоять свою правду трудно, даже опасно.

— Братия, сейчас думал я об иноках новоначальных, вот и они поднялись на страшную, утаенную от людских глаз битву со злом, и стало нас больше. Но все ли мы оказались стойки, не посрамил ли кто наше оружие — святое наше одеяние? По разным склонностям душевным мы влечемся к послушанию. Одни избегают зла, страшась адских мук,— эти как рабы, трепещущие господина; другие ищут прибыли за послушание — такие подобны наемникам, воюющим за мзду, а не по совести; третьи же по влечению сердца возлюбили Господа — они-то и есть лучшие из нас по бесстрашию и бескорыстию своему.

После трапезы епископ Матевос удалился в отведенный ему покой соснуть часок перед дорогой, а Хосров и Анания уединились в архимандритской келье, она помещалась отдельно от других, над матенадараном<sup>1</sup>, в нее вела узкая каменная лестница, тайно выложенная в стене,— здесь при опасности можно было

---

<sup>1</sup> М а т е н а д а р а н — хранилище рукописных книг (арм.).

схоронить книги, самое ценное имущество обители. Оба радовались, что могут провести время в тихой беседе, последние годы они встречались редко — Нарек далеко от Андзевацика, а их соединяла не только сердечная приязнь, но и родство — Анания доводился дядей покойной жене Хосрова. Говорили обо всем: о государе и католикосе, о смуте нынешних времен — тондракитах<sup>1</sup>, об «Истории дома Арцруни», недавно написанной Товмой Арцруни, и других достойных книгах.

— Анания, позволь и мне вручить мой малый труд.— Хосров открыл принесенный ларец из золотистого ореха, достал маленькую книгу в переплете вишневой кожи, с серебряными застежками-замочками.— Этот «Шаракноц» Хоренаци<sup>2</sup> я старательно составил и переписал. Здесь все шараканы на Рождество и многие песнопения, какие смог отыскать в матенадаранах Андзевацика.

— Щедрый дар нашей обители, благодарю тебя, Хосров.— Игумен бережно листал изукрашенные, искусной рукой переписанные песнопения.— А скажи, правда ли, что католикос решил перенести патриарший престол из Ахтамара в Аргин? Скверный городишко, пустой.

— Нарек ближе к Ахтамару, тебе лучше знать волю святейшего. Другие у меня заботы, Анания: наместник требует даров, низкие ропщут, и многие монахи враждуют с мирянами. Мир в нашей земле, но надолго ли?

— Государь укрепляет города, ты видел Востанскую крепость, весь берег с моря защищен неприступными стенами.

— Стены проломить трудно, но открыть ворота изнутри легко,— Хосров отстегнул застежки книги.— Вот так. Стоит эмиру потянуть клинок из ножен, и мы сами торопимся с дарами, враги привыкли, что наша страна, как кладовая без сторожа,— бери что хочешь. Но ведь не бессильны мы, не трусливы, чтоб

---

<sup>1</sup> Тондракиты — еретическое и антифеодалное движение в Армении (IX—XI вв.), названо по с. Тондрак, его вождем был Смбат из Зарехавана.

<sup>2</sup> Мовсес Хоренаци — крупнейший армянский историк V в.

покупать мир золотом. Вот нас считают во всем мире торговцами, ибо во всех странах наши купцы продают и покупают, а ведь мы народ пахарей, каменотесов, книжников, умеем и постоять за себя, но сами себя обессиливаем распрями, смутами, предательством. Вера наша свята, да, мы высокомерны, отъединили себя от христианских государств.

— Боже, спаси и помилуй народ армянский.

Встав на колени, горячо молились Хосров и Анания.

— Прощай, Анания. Позволь мне проститься с детьми, теперь не скоро увидимся, скучаю без них, ведь один Саак со мной. Будь строг с Григором — он, как младенец, хочет все переделать по-своему, будто до него ничего не было.

— Он сын твой.

— Потому и прошу.

Во дворе уже седлали мулов, ждали Хосрова, а он стоял с сыновьями, посох его отбрасывал тень, как палочка солнечных часов.

— Ну, дети, дайте я вас благословлю. Без устали несите свой крест. Уход из мира — еще не обретение благодати, но лишь перемирие человека с миром, Богом и самим собой. Трудно одолеть мир, ведь ристалище наше — вся земля, сушая под небесами.

Пастух торопливо согнал овец с дороги, пропуская всадников.

## 2. Старый грич Егише

Приближается утро, но еще ночь. Григор открыл глаза: Егише, невнятно бормоча, шарит рукой по полу, наверное, опять ищет сучок — несколько раз Григор нарочно вытаскивал его из двери, прятал, а старый грич сокрушался, винил бесов. Не найдя пропавший сучок, монах покачал головой, перекрестил дырку.

— Вставай, сын мой, помолимся. Думаешь — бессердечный этот Егише, только заснул, опять молиться и трудиться. Эх, Григор, да разве я не был молодым? Это сейчас состарился, пятнадцать лет в этой келье переписываю книги, а в твои годы... глядел вслед чужой жене и как сытый конь храпел — прости, Госпо-

ди, за грехи мои. С утра до темна пахал, и сил во мне не убывало, а спал еще покрепче тебя,— известно, какой сон у пахаря: захочет спать, на бороне уснет; бывало, укроюсь овчиной, и такая благодать, словно не земля меня держит, а мать во чреве носит. Ох, сын мой, долог день сеятеля, так долог, что солнце успевает встать и закатиться, а человек родиться и умереть. Рано встает крестьянин, а монах еще раньше, ты теперь сам знаешь, каково наше житье, хотя щечки у тебя румяные, дай бог тебе здоровья. Славы Господа внятно, с умилением, а на меня не смотри, ничего хорошего не узришь — зубы редкие, борода мочалом, нос крючком. Христос не уставал молить Отца небесного за нас; не подобает и нам взывать к нему равнодушно. По обету нашему должны мы бодрствовать, пояса не распоясывать, все дни и ночи ждать Спасителя, дабы не нашел дверь запертой, ибо ему угодны бдящие, а не сонливые. Ну, вот, а теперь потрудимся с радостью, ибо ни что попало переписываем, а труды душепитательные.

— Егише, сколько же ты книг переписал?

— Семьдесят две. Но никогда рука моя так не радовалась, как теперь, когда переписываю «Житие Маштоца»<sup>1</sup>, только печалюсь, что не могу столько раз его переписать, чтобы хранилось не только в обителях, но в каждом доме. Думал, ты продолжишь мои труды, но нет в тебе прилежания, хотя ты грамотен, знаки препинания где надо ставишь, и рука у тебя твердая. Не любишь ты книгу, сын мой, и горько мне, твоему наставнику. Ленив ты переписывать чужое, зато к своему заботлив, большой это грех. Думаешь, до тебя никто из братии не имел дар слова? Но на таких архимандрит Анания налагал молчание — целительно оно для тех, кого обуревают страсти. А ты как думал? Тщеславие исцеляют смирением, сон безмерный — бдением, лень — работой, непристойное едение — постом, а суесловие — молчанием.

— Спасибо за наставление, брат Егише. Если бы ты еще научил меня не думать, не чувствовать, не видеть!

---

<sup>1</sup> Месроп Маштоц (362—440) — создатель армянской письменности. «Житие Маштоца» написано его учеником Корюном.

— Так... Ну, тогда посмотри, что ты написал. Где это ты вычитал, в каком псалме?

Как великое таинство,  
Сложили люди трепетную песнь о Деве.  
Она — зеленеющий кипарис,  
Кувшин тростниковый...

— Не сердись, брат Егише, рука сама написала, сам не видел как.

— Похоже, ты как тот Погос или Петрос, не помню уж... тот и страницу не мог переписать, чтоб от себя не прибавить. Переписывал как-то «Грамматику» Дионисия, то место, где даны правила спряжения и примеры к ним: «Я кую, ты куешь, он кует...», и вместо того, чтобы прилежно переписать до конца, этот Погос или Петрос приписал: «О, брат читатель, я уже устал ковать; если хочешь, дальше куй сам». Вижу, как раздирает тебя смех, а он показывает человека строптивного. Природа вложила смелость в сердце, дабы оно давало силу дланям; жадность в желудок; вспыльчивость в печень, а жестокость в желчный пузырь; ненависть в селезенку; пронизательность и мудрость — в почки; влюбчивость и смешливость — в легкие, дабы они, сильно раздувшись от смеха и радости, впускали в голову дым. Рот-то крести, когда смеешься, а то и не заметишь, как бесов напустишь, они только и ждут нашего веселья.

— Уж не в дырку ли от сучка пролезут?

— Ох, сын мой, накличешь ты беду.— Грич испуганно перекрестил дверь.— И куда бесы дели этот сучок?

— Поищи под рогожей, Егише.

Грич приподнял рогожу — точно, здесь сучок. Вставил его на место, сердито пристукнул кулаком.

— Умен ты, сын мой, а вот расскажу тебе притчу. Летел орел по небу, и поразила его стрела. Удивился он: «Кто это сделал?» И увидел стрелу, а на ней свое перо и говорит: «Горе мне, ибо вот — от меня же причина моей смерти».

— Брат Егише, неужели ты думаешь, что бесы ищут лазейку? Ведь ловушка невидима, и лукавый незрим.

— Не пристало мне говорить с тобой о врагах че-

ловеческих, слаб я и сатаны боюсь. Но игумен наш вразумит тебя.

После заутрени настоятель оставил Григора. Подождав, пока монахи разойдутся по кельям, Анания вышел из церкви. Моросил теплый дождь. Игумен поднял маленькое взлохмаченное гнездо, наверное, сбило со стрехи дождем или ветром; птенцы подросли, улетели, а гнездо опустело, оно лежало на широкой ладони игумена легкое, прочно сплетенное из травинки и листьев,— дом птицы.

— Слышал ли, сын мой, как жаворонок низринулся с неба и, упав на землю, вытянул лапки к небу, чтоб удержать его? Другие птицы подняли его на смех: ума ты палата! как же лапками-соломинками небо удержишь? Ответила птичка: «Что смогу, то сделаю».

Анания осторожно положил гнездышко в стреху, постоял, решая, в какую сторону идти, и свернул на мокрую дорожку — к кельям.

В первой жили старец Закаре и хлебопек Корюн. Григор впервые видел старца — иссохший, седенький, он бессильно обвис на подплечинах сиденья и часто моргал. Слабо пошевелился, пытаясь встать, но Анания сам обнял его, поцеловал.

— Вот, братия, это наш брат Григор — не боится сатаны, смеется над теми, кто страшится бесов. Не успел принять постриг, а уже мнит себя отшельником, скоро, наверное, дождемся и чудес.

— Прости, владыка, я не отшельник, а монах новоначальный. Простите, братия.

Григор низко поклонился каждому. По-птичьи вытянув шею, Закаре смотрел на инока, но слепнувшие глаза различали только свет и тьму, а ему и этого было довольно.

— Дай мне руку, лао<sup>1</sup>.— Сильная горячая рука согрела зябнувшие ладони старца.— Мы с тобой странники молитвы, я прошел путь, а тебе долго идти. Иди и не бойся, ибо могуч Господь, не попустит искушения свыше сил. Не устрашайся, хотя бы падал каждый день, и не отходи от молитвы; стой мужественно, и ангел, тебя охраняющий, охранит тебя от зла. Но если увидишь юношу, по своей воле восходящего на небо,

---

<sup>1</sup> Л а о — сынок (арм.).

удержи его за ногу и сбрось оттуда, ибо ему это полезно.

— Владыка, если брат Григор смеется над старым Егише, пошли его ко мне на пекарню, не до смеха ему станет, когда семь потов с него сойдет. А хлеб свят и доброму учит.

— Спасибо за совет, брат Корюн. Ты ведь помнишь старца Наапета, прозванного Воспнакером, ибо семнадцать лет он питался замоченной чечевицей, не знал вкуса хлеба, но чиста была его душа, хотя время было злое. А сейчас время благоприятное для знания, но учителя мягки, а ученики тверды. Расскажу тебе, Григор, о моем учителе Исраэле — он неустанно учил и просвещал всех, верующих и неверующих, добрых и злых, был совершенным философом не по многознанию, а по непорочному образу жизни. И так умел он в нас, учениках своих, возжечь страсть к истине, что в каждом кипела душа, желание превзойти знанием другого, и каждый проявлял такое послушание своему наставнику, что когда за малую провинность он говорил ученику «замолчи», тот умолкал на год, весь обращаясь в слух.

Из первой кельи перешли во вторую, третью... и так обошли все сорок, и у всех Григор просил прощение; хотя близко друг от друга кельи, но долгим показался ему путь, как по горячим углям шел он вслед за игуменом.

— Тяжело, сын мой? Это гордыня тебя к земле гнетет, а стыд выпрямляет. Спросил однажды историк Егише князя Вардана, страшился ли он чего-нибудь? «Сраму боялся», — ответил полководец. Стыда боялся, позора, бесчестья, — ведь нет человека, которому не страшны укоры совести и осуждение людское. А ты выучил все грехи и наказания грешной душе, а имя сущему не ведаешь, постное ешь, да скоромное отрывиваешь. И хуже того — стыдишься своего стыда! Смеешься над братом Егише и не понимаешь, что, охраняя келью от бесов, он тебя оберегает, любит тебя...

— Попей воды, сын мой, и станем переписывать: я «Житие Маштоца», ты Псалтырь. Пиши усердно и веролюбиво, как будто книгу своей жизни переписываешь, ибо в псалмах спасение твоей души; есть ли



такое, чему не научат они человека, будь то любовь, послушание, терпение или иное известное нам благо? В них откровение таинств, надежда на воскресение, страх наказания, а Господь, сын мой, наказывает не как наш игумен. Увы, грешен раб божий, что тут поделаешь, и кто прожил день без греха, поистине святой.

— А как же святые угодники, брат Егише?

— И они грешили, но яростнее нас искореняли из себя дурное. Вспомни мученика Иова — перемолол его Господь страданием, как зерно жерновами, только и оставил душу горькую. Грехи наши суть дождевые облака, а проливаются слезами.

Испытал я, в каком бедствии обретаются люди, и дивился, что не удручают их беды обступившие, не ужасают войны. Старший мой брат Езник взял меня к себе ишавуром — погонщиком ослов, и стал я вместе с ним водить караваны. Слышал, как верблюду сказали: «Поздравляем, тебя сам царь зовет!» — «Знаю, — ответил верблюд. — Пошлет в Кохб за солью или в Шарур за рисом». Так и меня: то в Шарур пошлют, то в Кохб, то в Балк и Ташир за медью, то в Шатах за свинцом и железом. Всю Армению прошел, назови любое место — я там был, а вот ума не накопил. Радовался, что купцы меня за стол сажают, а того не понимал, что они товаром рискуют, а я головой. Так и случилось: на пути из Арчеша в Исфакан напали на нас арабы, разграбили товар, а нас продали вместе с верблюдами и ослами. И попал я, Григор, на край света — в Мааррет, к торговцу финиками, целыми днями тянул воду из колодца, а сам умирал от жажды. Через год отдал он меня за долги судье Абу Мухаммаду, здесь и отыскал меня брат Езник через купцов-сирийцев, давал судье за меня двадцать золотых, но тот не взял, потому что единственный сын его Ахмад привязался ко мне, как к своей кормилице. Поистине, ребенок удивительный, ибо в уме не уступал взрослым, но так случилось, что заболел он оспой и окривел на левый глаз, а бельмо на правом сделало его слепцом. И отпустил меня судья, — ведь и среди мусульман есть добрые люди, а среди христиан злые.

Эх, Григор, где меня только не носило! Был я на горе Мориа, которую почитают христиане, иудеи, му-

сультане, потому что там шел Спаситель на Голгофу; горько плакал я на горе Мориа и обещал, что больше никому не причиню зла, и если обидел тебя, сын мой, прости гриха Егише. Тяжкие испытания достались мне за грехи, хотя не по своей воле я долго обретался среди нечестивых,—вложил меня сатана в пращу и метал из стороны в сторону, но подспела Божья помощь и вернула душу мою покаянию. Бога ради, кто не ходил на чужбину, пусть и не ходит! Слабый человек меняет место, а сильный — самого себя.

— Значит, силен человек, брат Егише?

— Оглянись вокруг — и увидишь. Вот книга... — Грич бережно взял с подставки Псалтырь, поцеловал.— Каждый лист в ней чудо! Прекрасны луга ее страниц, дивны своды хорана<sup>1</sup>, благоухают виноградники узоров, пламенеют увитые цветами буквицы, из чистого золота первые строки псалмов. Закрой глаза, перелистай... слышишь, звенит пергамент. Это козлийный, белый как снег, выделал его кроткий инок Манасе.

— По прозвищу Кертох?

— Да, Сдирателем его прозвали, но не за то, что сдирает шкуру с телят и баранов,— в молодости он был горяч. Однажды его бык потравил чужое поле, и сосед не отдавал быка. Рассердился Манасе и с такой силой ударил обидчика, что всю кожу со лба задрал ему на затылок — вот и прозвали его Кертохом. Никто у нас не выделяет такой тонкий пергамент. А кожу на переплет окрасил, смешав желтую краску с красной, Хачик, ученик Манасе, ну, о нем пока рано говорить, хотя и старателем. А вот хоран! Взгляни на краску, как они ярки и чисты! Готовят их из камней и земли, цветов, коры, древесного сока, а позолоту из золотой пыльцы, смешанной с медом или клеем, но царица красок вордан-кармир — армянский пурпур. Как рөмеи оберегают секрет греческого огня, так мы храним тайну негаснущего пурпура, в нашей обители она ведома лишь старцу Закаре, он в свой срок передаст ее достойному.

— Егише, а кто же так расцветил хоран: своды с

---

<sup>1</sup> Хоран — алтарь (арм.). Так же называется миниатюра на первой странице нового текста рукописи, обычно изображает богато орнаментированный свод, опирающийся на колонны; хоран как бы алтарь книги.

арками, гранаты плодоносные и грозди виноградные, куропаток с павлинами?

— Не узнаешь руку брата твоего Ованеса? Его это рука. Верно праотцы наши одно слово дали «краске» и «лекарству», разве не исцеляет душу красота, разве не врачуют раны охра и лазурь, золото и пурпур? Есть люди недобрые, рядом с ними цветы вянут, а другой взглянет — камень зазеленеет. Вот Ованес такой, доброе сердце у него. Одну страницу мы с тобой увидели, и радость у нас, а ведь много в псалтыри листов.

— А главного ты мне не сказал — кто так искусно его переписал?

Егише промолчал, но Григор и сам понял.

— Признаюсь тебе, сын мой, много раз меня охватывало отчаяние, но выведу строку — и светло мне. Рука, державшая перо, со временем истлеет в гробу, но написанное живет вечно. Вот и подумай: силен или слаб человек? Вспомнишь мои слова, когда меня не будет, скажешь: был такой вредный старичок, все ворчал, поучал и много досаждал мне. Верю, верю, Григор, что и добром помянешь старого греча Егише. Много радости в жизни! Читаю житие Маштоца и ликую, что сподобился переписывать его. Этот список пишу для жителей Вана. О, ванечи почтенные и все, кто прочтет эту книгу, — молю вас: читайте ее, как молитву; храните, как сокровище; попадет она в плен, верните домой; не кладите вблизи очага — иссохнет; оберегайте от сырости, а то покоробится; не загибайте листы, не закапайте маслом, не слюнявьте пальцы; во время войны берегите «Житие», в дни мира читайте, а не храните под замком, ибо закрытые книги суть идолы; не отказывайте никому, кто захочет прочитать или переписать эту книгу, ибо увековечивать деяния святых мужей и передавать память о них потомкам — дело, исполненное великой пользы, ведь предания о подвигах минувших рожают героев нынешних.

Егише помолился, взял линейку и стал свинцовым кружочком линовать пергамент.

— Ох, Григор! Быстро слижи кляксу, а высохнет, зачисть это место пемзой. Губка не всегда под рукой, да и размазывает еще больше. Брось-ка в чернильницу моток шерстяных ниток, тогда и упадет она, не

прольется. Каждое умение состоит из маленьких хитростей, они же даются долгим опытом. Так-то, сын мой. Жаль, в тягость тебе переписывание. «Темные брови сведены...» О, Господи! Из-за твоей песни и я посадил кляксу, не помню уж, когда слизывал последний раз, забыл вкус чернил. Читай уж лучше сам.

Первый раз Григор читал вслух то, что вывел в тишине вот этой рукой, словно распахнул клетку и выпустил птицу — лети! Даже показалось, — золотыми искорками слова взлетели к ердыку.

Как великое таинство,  
Сложили люди трепетную песнь о Деве.  
Она — зеленеющий кипарис,  
Кувшин тростниковый.  
Руки ее — охапки фиалок,  
Темные брови сведены, как своды  
Над синими звездными очами —  
Жгучими, как пламя.

Инок читал громко, голос его дрожал, а старый грич Егише смотрел, как вспыхивают пылинки в косом луче света.

— Владыка, явился по твоему зову.

— Являются только черти грешникам, а инок, когда призывает его игумен, смиренно приходит.

Игумен нашел среди бумаг нужный лист, отставил далеко, словно отдавая Григору, и тот узнал свой таг, — место, зачищенное пемзой, просвечивало. Аняния стоял прямо, откинув голову в черной суконной шапочке, изжелта-бледное лицо выражало не то удивление, не то досаду.

— Итак, торопишься? Не переписывать — писать. Не провидел я этот день, но много раз велел вам читать Иисуса Сираха, вот и теперь повторю: «Наложи дверь и замок на уста свои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая держала бы твои уста». А ты что делаешь? Слово многосмысленно, каждый волен понимать его по-своему. — Игумен взял перо. — *Грич* означает и «перо», и «переписчика», оба слова одноименны, оба в разборе по частям речи толкуют одинаково — по роду и виду, по форме и числу, по падежам и ви-

дам подлежащих, и оба составляют в сложные слова из двух корней.

А что значит «писать»? Свое отдать другим. Когда люди приходят в дом, где оплакивают умершего, у всякого поневоле щемит сердце и слезы бегут из глаз; а когда идут на свадьбу, где веселятся шуты и плясуны, все гости начинают радоваться и смеяться. Если хочешь, чтоб другие откликались на твои слова, сделай свое сердце домом плача и веселья, но тогда тебе нечего делать в обители, ступай с миром.

Спиной Григор чувствовал холод стены, мурашки побежали по коже.

— Писателя мы называем *грох*, но в языческие времена так называли того, кто вписывал почивших в Книгу мертвых, был он сродни Харону греков, потому и сейчас в народе говорят «Грох тебя побори!» Был Грох ангелом смерти и привратником преисподней, а стал... ну, ладно. И здесь от одного корня произросло слово безнадежное и обнадеживающее, как от одного отца рождены Авель и Каин.

Ты думал, что, приняв постриг, принял и путь свой? Нет, ты еще и шагу не ступил — ноги твои дрожат, дух в смятении. Орел набирает высоту кругами, а падает как камень. Человек же взбирается куда медленнее, а падает куда быстрее. Знаешь ли слова, которые возвышают человека и удерживают от падения? Завтра я вишь ся к брату Корюну, отныне будешь с ним трудиться. Научишься печь лаваш, будет и тебе, и всем нам польза, а слово — оно как хлеб, нужны и ему пот обильный, закваска, сильный жар.

Сухой кизяк ломается легко, падает в тоныр, много надо огня, чтоб раскалить вмазанную в землю печь, гудит пламя, дым ест глаза, цепляется за деревянные прокопченные балки, чуть поворошишь в тоныре — огненными пчелами взлетают искры, ряса обжигает тело, борода потрескивает.

— Брат Григор, как ты терпишь? — Корюн настезь распахнул дверь, подставив ветру потное лицо. — Сколько лет пеку лаваш, а к дыму не привыкну, кашель душит. Просился у игумена в рыбаки, не пускает, а я море люблю. Послал бы хоть соль выпаривать на берегу. Вот солона вода морская, иные и запаха ее

не переносят, а я век бы ее пил, такая радость мне от моря!

Корюн откинул с квашни рядно, отщипнул тесто — подошло. Григор придвинул низкий столик, присыпал его мукой, стал нарезать тесто на ровные куски, обваливать и скалкой раскатывать, а брат Корюн обмел печь веником — сразу раскраснелся тоныр, малиновым жаром горят угли, самое время лаваш печь. На коленях у хлебопека щит, сплетенный из прутьев, крепко обтянут холстиной, туго подбит сеном, и, как у боевого щита, пришиты сыромятные ремни, чтоб крепко сидел на руке. Григор бросает раскатанное тесто Корюну, тот перебрасывает с руки на руку, растягивает, истончает, одним движением натягивает на выпуклый щит, макнул палец в чашку, перекрестил хлеб и — шлеп! — припечатал к малиновой стенке. Сразу запузырилось тесто, насквозь пропеклось, только успевай выдерживать и, не порвав, класть на рогожу. Не зевай, пекарь!

Пот капает на тесто. Холодный зимний свет не остужает горячее лицо. Некогда утереться, еле поспевает Григор за монахом, а тот знай кидает тесто с руки на руку, крестит водой да пришлепывает.

Колокол пробил три часа, но от печи не отойдешь, пока не кончится все тесто, кроме куска с кулак — это тхмур-закваска, старое тесто, которое замешают в новом. Мальчиком видел Григор, как католикос освящал в Ахтамарском соборе громадный золотой сосуд с миром — варят миро раз в пять лет для всех армян, из сорока пяти трав и душистого клея, в кипящем масле, благоухающем бальзамом, сам патриарх в присутствии двенадцати епископов освящает благовоние и вливает в золотой котел старое миро, хранящее в себе частичку того, первоосвященного еще Христом и принесенного в Армению апостолом Варфоломеем. Во всем новом частичка первосущего, растворено оно, как соль в море, как память в человеке. Время старит новое, и оно же обновляет прошлое.

— Брат Корюн, а где взяли закваску, когда пекли первый лаваш в нашей обители?

— Принесли с собой, из Андука. А тоныр этот сложил старец Наапет, святой был человек — хлеб пек, а сам не вкушал.

— Помню я старца Наапета.

— Э, что ты помнишь! Ты тогда ребенком был, а

мы с ним пришли из Андукской обители, да там четыре года в одной келье жили. Вардапет Петрос тогда был игуменом, радуйся, что не от него послушание приемлешь! Это сейчас он состарился, смягчился, а тогда как кремень был. Но уж и бесы его боялись! Помню, крепко меня одолел враг человеческий: только глаза закрою, откуда ни возьмись — тут они, бесы, щипают, таскают за волосы, а то приподнимут стену и пищат: «Сюда волоките, придавим его до смерти!» Что делать? Пошел я к игумену просить другую келью, а он и слушать не стал. «Почему брата Наапета сатана не одолел? Ступай и не выходи из кельи, чтоб бесы не похвалялись властью над тобой». Пять дней и ночей я слезно молился, а в шестую ночь сладко выпался. Да вот брат Егише идет с обедни, он знает. Эй, Егише, иди погрейся, попарь косточки.

— Благослови вас бог, братия. Хлебом-то как пахнет, райский дух.

— Помнишь ты, как бесы меня в Андуке одолели?

— Как не помнить, развелось их тогда, как блох.

— Ну, от блох избавиться легко: возьми кровь козла, налей в миску и поставь рядом с собой — они все туда с рясы попрыгают.

— Пробовал я, брат Корюн, не прыгают. Вот рясу над огнем калить, помогает. Не пойму, как терпят блох мученики, что власяницы носят.

— Носить власяницу куда легче, чем плести, — колюч конский волос и уязвляет хуже терний. Целый год я их плел, руки стер в кровь, преломлю хлеб — окровавлю, щепоть соли возьму — и от боли взвою. Поверишь, Григор, похлебку лакал прямо из миски, по-собачьи, ни до чего дотронуться не мог. И сжалился надо мной игумен — велел мне плести рогожи, нежнее пуха показались они мне после власяниц, от радости сплел две, а не одну рогожу.

Корюн подровнял лаваш, сложенный на чистом холсте.

— На-ко, брат Егише, вкуси горяченького, благослови инока Григора и меня, греховодника старого.

— Воздастся вам за труды, свят хлеб и благословен трудящийся в поте лица. А что же ты, брат Корюн, не рассказываешь дальше про рогожи?

— А что дальше? Плел да плел.

— Конечно, много лет прошло, немудрено запом-

товать. Сплел ты две рогожи и выложил перед кельей, чтобы игумен заметил твое прилежание. А тогда, Григор, как и теперь, над каждым послушником был старший — у гричей, веревочников, пекарей, ткачей, огородников, и каждый труд определялся строгими правилами: старший назначает меру работе, и сделать надо, сколько велено, не больше и не меньше. Мало сделал, значит, ленился, а перестарался — выказал свое тщеславие. Ну вот, увидел игумен рогожи перед дверью и велел брату Корюну их принести, когда все соберутся на молитву. И поучает нас: «Смотрите, всю ночь брат Корюн корпел того ради, чтобы отдать весь труд врагу спасения и ничего не оставил для души своей, ибо одно у него было на уме — тщеславие!» Потом в трапезной велел ему весь обед стоять с рогожами, и наложил на него послушание, не помню уж какое...

— Так я тебе и поверил! Все ты помнишь, чернильница! Да, попутал бес, возгордился я перед братией, за что и принял наказание: велел мне настоятель целый год не выходить из кельи и каждый день плести по две рогожи. И вот вышел я на свет после заточения, и заплакал от радости: солнышко светит, птицы поют, виноград цветет!

Жар ровно истекал из горловины печи, угли подернуло пеплом, теперь до утра не остынут; не гаснет огонь в тонеуре, дремлет. Вот и иноки, сидящие на каменном порошке, клонят головы, сморила их усталость. Пуст заснеженный двор, только монах пройдет по нужде, а так все заняты трудами: пишат, обдирают ячмень, варят краски, кладут свечи, ухаживают за немощными и больными. Много трудов в обители.

Ровесники мы — Нарек и я, думал Григор, почему же обитель кажется древней? Потому что сложена из древнего камня? Нет. Но столько слышали эти камни молитв и плача, столько здесь догорело свечей и надежд... Потому вечными кажутся стены, тяжкие своды, высокий купол с черно-желтым крестом вокруг замкового камня. Нет, не из камня сложен храм — из прошлого и настоящего, из вечного молчания усопших, из счастья жениха и невесты, идущих под венец, из лепета младенцев, принявших крещение в купели, из молитв праведников и грехов грешников. Новые жизни умножают время, не переполняя его, но обнов-



ляя, как последний день календаря завершает старый год и начинает новый, как тхмур квасит новое тесто. А сколько веков замешено в закваске-тхмуре? Столько, сколько стбит Армения! Уже и воды той не осталось, в которой когда-то замешали муку, и древнего огня, на котором испекли лаваш, но вечны вода, огонь, хлеб. Много ли, изгнанник, унесешь с собой земли и неба? Разве что в песне... И то, если враги не вырвут твой язык или сам не забудешь на чужбине речь отца и матери. А кусочек теста, завернутый в тряпицу,— он с тобой, найдется где-нибудь горсть муки, немного воды и очаг, а солью станут твои слезы, брат-скиталец...

Егише пошел в келарню за чернильными орешками и тростником. Корюн увязал лаваш в холстину, хотел помочь Григору, но он легко взвалил ношу, улыбнулся монаху. После жары приятен был холод и мерцающий в сумерках снег, еще не протоптанный от пекарни к трапезной.

Зеленое воскресенье. Золотой полдень. Силнее небо стоит высоко над Васпураканом. Цветущие абрикосы, кусты кизила в желтеньких цветочках, как странники, идут к монастырю по южному склону холма. Высоко вознесся монастырь над речкой Нарек, селеньями, полями. Крестьянин, припозднившийся к обедне, тянет на веревке барана с черным пятном на морде, блеет баран, уперся копытцами, горошины помета сыплются на дорогу. Трепыхаются безголовые петухи, кровь часто капает, разбиваясь о камни, ржавые от крови, крупинки соли белеют в заломленных крыльях. Солнце освещает островерхие граненые купола, красная черепица крепко вдавлена в известковый раствор и прибита гвоздями, но внутри храм сумрачен, холодны камни. И все равно — весна! Радостно в такую пору трудиться до изнеможения, молиться до горячих слез, смотреть ночами на утреннюю звезду Арусяк: от востока ввысь движется она с восходом, вожделенная надежда утра, и когда разгорается изумрудным огнем, небо подобно златострунной арфе.

В такую ночь Григор неожиданно столкнулся с настоятелем. Уже четыре месяца длилось его послуша-

ние в пекарне, и ни разу игумен не призвал его, не сказал ни слова. Вот и сейчас, наверное, молча пройдет мимо. Но Анания остановился.

— Григор? А разрешил тебе брат Корюн выйти из кельи?

— Прости, владыка, виноват я.

— Не ты виноват, — весна и твоя молодость. Даже я сегодня писал стихи.

Не по добродетелям моим,  
А великим милосердием Твоим  
Смилуйся, Создатель, надо мною,  
Одари меня духовною весною,  
Изгони грехов моих морозы,  
Теплые, как дождь, даруй мне слезы,  
Дай любовь, чей подвиг так велик —  
Высекает из скалы родник.

Проводи меня, — захотелось выйти из кельи, побыть в саду. Все цветет, а пахнет только фиалка. Получил я вчера письмо от Ухтанеса из Себастии, пишет он: «Я даже не надеялся, что ты доверишь мне в удел историю». Да, Ухтанесу поручаю написать историю нашей страны, ибо душа его крепка, не обронит он истину наземь. Прошное не пепел — пламя! Вспомни, за что боги разгневались на Прометея? Он похитил огонь и принес людям в полом тростнике. Но разве тростник, напитанный чернилами, меньше изменил жизнь, чем огонь? Огонь обжег человека, как сосуд, сделал сильным, но разумом этот сосуд наполнило лишь Слово. Поэтому многие страшатся истории, живут с закрытыми глазами. Тяжкое бремя я возложил на Ухтанеса... А брата твоего Ованеса хочу видеть игуменом нашей обители, он крепок в вере и братолюбии. Думаю и о тебе... но страшусь за твою участь. Печально, когда человек слабее своего таланта. Сотни учеников прошли передо мной, но вардапетский посох я вручил только пятерым, хочу перед смертью видеть вардапетами Ухтанеса и тебя. Но строго спросу, терпи!

— Вот и брат Егише говорит мне о терпении.

— Что же он говорит?

— Перемолол Господь праведника Иова страданием, как зерно жерновами, оставил лишь душу горькую.

— Ступай в келью, а после заутрени придешь,

дам тебе Книгу Иова. Готов ли написать толкование сей книги? Многие ее толковали, но не открылась им тайна страдания Иова, и не знаю, доступна ли она разуму; каждый из нас — современник Бога, но это ничего не объясняет и не облегчает ни нашей ответственности, ни наших страданий.

### 3. Осуждение епископа Хосрова

Ваче расстегнул ремень подшлемника. Пальцы окоченели, он тер их рукавом плаща, пока они не покраснели. Снял широкий кожаный пояс с саблей в сафьяновых ножнах, стянул через голову тяжелую кольчугу, оставшись в длинной, до колен, вязаной рубахе из пепельной верблюжьей шерсти, кожаных штанах и сапогах в желтую и красную полоску.

Знал Ваче монастырский устав, но надеялся, игумен позволит ему увидеть Григора, ведь шесть лет не виделись. А теперь сиди в каморке для мирян и жди, а ждать некогда. Распялив на ладонях стылую кольчугу, подошел к узкому окну с широким скосом, — еще прочна железная рубаха, но много колец надо менять, погнулись, расклепались. Из-под лежанки выглядывал гриф уда, запылится, все четыре струны обвисли. Ваче отер округлый кузов, сдул пыль.

— Ваче.

— Григор! — Воин обнял инока.

— Какая радость, ведь и Ухтанес здесь. Он у игумена, сейчас придет. А я когда увидел тебя на коне, в шлеме, решил, сам спарает почтил нашу обитель.

— Сотником тоже первого попавшегося не назначат. — Ваче ударил кулаком в грудь. — Часто одна конная сотня решала исход битвы. В бою при Тицине нумидийская конница, обойдя римлян с флангов, растоптала копейщиков — и Ганнибал разбил Сципиона.

— И все-таки бежал в Армению, просить у царя Артасеса войско.

— Не войско, а коней. На лугах Арцаха табуны отборных скакунов, есть у нас и храбрые воины, но оружейники плохи, железо слабое, наши мечи гнутся о дамасскую броню после двух уда-

ров. Я покажу тебе, какое сокровище добыл в Себастии...

— Подожди, Ваче, сперва расскажи, где побывал за эти годы, где воевал?

— Эх, брат, где только не носило армянскую конницу! Сирия, Кипр, Крит. Много побед мы одержали под ромейскими стягами, жаль, что под васпураканским знаменем не стяжали славы.

— Обязательно расскажи Ухтанесу. Кто-то идет... Он, больше некому.

Ухтанес откинул вегар, длинные черные волосы упали на плечи, борода в капельках растаявшего снега.

— Здравствуй, воин доблестный! Посмотри, Григор, как возмужал наш маленький Ваче, а кажется, только вчера провожали его в Востан. Теперь, наверное, не осилишь его десницу?

Григор тотчас сел за стол, крепко упер правую руку.

— А ну, Ваче!

— Нет, в рукопашной мне против тебя не устоять, сдаюсь на вашу милость, братья. Воин силен оружием. Смотрите...— Он вырвал клинок из ножен — вспыхнуло изогнутое лезвие, кисть быстро вращала саблю, при каждом движении клинок менял цвет переливчатых узоров.— Я отдал за него семь кобылиц, боюсь, князь Амазасп теперь снимет с меня голову. Но ведь ему цены нет, это настоящий булат!

— Бог защитит того, кто думает о Родине.

— Бог любит тех, кто защищает себя сам, а побежденным горе, их и Господь не милует.

— А разве побеждают таким оружием? — Ухтанес вложил саблю в ножны.— Ты уже опытный воин, и не иноку давать тебе совет, но думаю, побеждает не то войско, у которого крепче доспехи и острей клинки, не то войско, у которого опытнее полководцы, а то, где воины могут вынести больше страданий.

— Ухтанес, да разве есть на земле народ, страдавший больше, чем армяне? Ты пишешь историю, ты знаешь прошлое лучше меня, но наша история в глазах армянских матерей, в наших тоскливых песнях, в скитаниях изгнанников, которых я встречал от Вана до Алеппо. И сейчас их видел, клейменных раскаленным железом, как животных.

— Ты видел тондракитов. Святейший католикос повелел под страхом отлучения от церкви поставить в городах, крепостях и селениях стражей у ворот, чтобы хватали всех, кто хулит веру, и таким безжалостно отсекал язык, клеймить лоб знаком лисицы, ибо они похожи на лисиц-воровок, которые портят виноградники.

— Но ведь они армяне, братья наши! Ты только что говорил о страдании... А разве слезы тондракитов вода? Мальчиком я пришел в Варагский монастырь, шел босым через горы, верил, что мудрые наставники научат меня святой молитве, и она спасет таких сирот, как я. Да если бы молитва спасла хоть одну армянскую семью от врага, я бы всю жизнь стоял на коленях!

— Кого спасла молитва? — переспросил Григор.— Не одну семью, не тысячу — народ наш! Но мало поста и молитвы, они исправляют лишь поступки наши, а сущность человека крепче твоего булата, — только страхом божьим и слезами искренними она смягчается.

— Да сколько же можно о слезах?! Неужели вы всех хотите превратить в плакальщиков?

Ваче взял уд: лицо напряглось, губы подергивались, пальцы рванули струны, и голос зазвенел, словно не пел он, а бил молотом по наковальне, выковывая кольца слов; Григор впервые слышал арабскую песню, он был оглушен ее дикой силой, сразу представил, как от звона струн, яростного голоса вскипает кровь, пальцы сжимают рукоять клинка.

— Верно говорят: будь проклят араб, но благословенно его слово. Вы, наверное, и так поняли, о чем эта песня, но я переведу, — она о том, что наши стрелы не могут пробить их стальные доспехи, что их свирепые кони топчут христиан. Да, мои стрелы не пробивают дамасскую броню, а их клинки рубят наши мечи, как сухой тростник, да еще вы хватаете за руки: молись, плачь о несчастной родине! Да потому и несчастна она, что наши мечи гнутся, наши князья гнут спину перед эмирами, но не знают жалости к народу.

— Безумец, что ты говоришь! — Григор в гневе сжал кулаки. — Как можешь защищать врагов церк-

ви? Не приемлют они даже крещения и венчания, любовью называют похоть.

— Но весь Сюник охвачен ересью, Тарон, Айрат, Ерасхадзор! Или вы ничего не слышите за стенами обители? Даже в Себастии на площадях проповедуют учение Смбата...

— Не произноси здесь имя сатаны! Эти выученики дьявола землю предпочитают небу, ни во что не ставят церковь, считая ее обманом.

Ваче и сам горько сожалел, что своими словами в самое сердце уязвил Григора — зачем он не прикусил язык! Вот и встретились после долгой разлуки. Взял уд, чуть слышно зазвучала струна, в лад ей отозвалась вторая.

— Ваче, спой армянскую песню, — попросил Ухтанес. — В Себастии не часто их услышишь.

— Век бы их пел! Но что спеть вам, братья? О любви вам грешно слушать, а шараканы вы сами сладкогласно поете... Но есть и для вас песня.

Он запел. Голос то вплетался в звуки струн, то взлетал над ними, наполняя тесную каморку мягкой силой, нежностью.

Я высечен резцом  
Из красного гранита,  
Но я горю огнем,  
Вся жизнь моя разбита.

Мой камень, мой гранит —  
Неверная защита.  
Душа моя горит,  
Она не из гранита<sup>1</sup>.

— Ваче, как жаль, что ты не остался в обители, будь благословенны твои руки и твой голос.

— Иноки, вы лучше благословите мой клинок.

— Ваче, неужели ты ничего не видел в Себастии, кроме оружия? Ведь и там Армения.

— Разве там Армения, Григор? Там только пятка ее, Армения здесь, душа ее — Васпуракан, очи ее — море.

— И я часто вспоминаю нашу обитель, море, душистые артамедские яблоки. В дни мира наша земля поистине рай. Но есть хорошее и в Себастии, пергамент там лучше и переписчики искуснее.

— Ухтанес, дай нам рукопись, а уж мы превратим

---

<sup>1</sup> Пер. Н. Гребнева.

ее в цветущий сад. Когда же закончишь свою «Историю»?

— Не скоро, Григор. Вот привез написанное игумену Анании и страшусь.

Ухтанес надвинул на глаза вегар, но все равно не мог скрыть волнение: ведь духовный наставник — это огонь, который согревает и освещает, очищает от грехов, только наставник провидит путь ученика.

— Владыка Анания часто вспоминает тебя, ставит в пример всем нам.

— Спасибо за утешение, Григор. Прощай, Ваче, верю, мы еще встретимся.

— Встретимся, Ухтанес.

И снова тихо в комнате, только потрескивает свеча, в углу скребется мышь.

— Григор... прости меня за дерзкие слова.

— Ты лишь повторил то, что сейчас говорят многие, но когда говорят все, я их не слышу, а твои слова причинили мне боль.

— Я не хочу нанести тебе еще одну рану, но не могу скрыть то, что узнал.— Ваче выглянул в коридор, плотно затворил дверь.— В Себастии, во дворце епископа Паруйра, я случайно услышал, как владыка диктовал ответ на послание католикоса,— речь шла о твоём отце, епископе Хосрове...

— Разве имя моего отца тайна? Что тебя встревожило?

— Епископ Паруйр согласился свидетельствовать против твоего отца на церковном соборе.

— Но в чем можно обвинить моего отца? Ведь сам католикос рукоположил его в епископы. Нет, ты просто ослышался или не понял.

— Возможно, я опять что-то напутал, но если тебе нужна моя помощь...

— Я сам сумею постоять за отца.

Почему католикос Анания перенес патриарший престол в деревушку Аргин на левом берегу реки Ахурян,— разве сравнить это захолустье с великолепием Вагаршапата, Двина, Ахтамара? Даже епископов расселили по земляным лачугам, кишашим блохами, с дымными очагами, негде помыться — во всем Аргине нет бани с горячей водой и подогретым полом.

Что бани?! Даже нужду приходилось справлять по-крестьянски, на дворе. Покои для владык еще не отделаны, не просохла штукатурка, полы не уложены. Только кафедральный собор горделиво высится, словно по воздуху перенесенный в нищету и убожество из древнего Вагаршапата.

Аргинский кузнец трижды ударил молотом по наковальне,— по всей Армении на закате солнца в воскресенье бьют кузнецы, крепя цепи, которыми в преисподней прикован нечестивый Артавазд, ибо прогневил он отца, царя Арташеса, и тот проклял сына; псы Артавазда без усталости грызут цепи, за шесть дней истончается железо, но в седьмой бьют кузнецы по наковальне, снова выковывая цепь. И хотя церковь порицает этот обычай как языческий, удары молота не раздражали католикоса Ананию Мокаци; созвав церковный собор, он сам готовился отковать крепкую цепь для всех врагов православия. Наследовав патриарший престол от католикоса Елисе, этот старец с натруженными руками каменотеса вот уже двадцать лет без усталости строил Армению как одну обитель, возрождал разрушенные монастыри, строил новые, только в Васпуракане их было девятьсот шестьдесят, они казались ему глыбами, из которых надо возвести единое, дабы процвел и воссиял иноческий чин по всей земле армянской. Ради этой великой цели католикос готов был не то что сам ковать железо и тесать камень, но дать живым замуровать себя в основание великого Храма Армянского. Это непомерное для человека бремя власти и ответственности с годами превратило Ананию, от природы мягкого, снисходительного к человеческим слабостям, в жестокого политика.

Черный шелковый вегар заслонял глаза от пламени факелов, хотя и мешал видеть владык, подходивших под благословение. Анания велел сделать патриарший трон низким, ибо сам был ростом мал, поэтому епископам невольно приходилось склоняться почти до земли. А патриарх сидел прямо, неподвижно, в белой атласной рясе, с сумой на левом боку — в память о нищелюбивых апостолах, и напоминая о нестяжательстве всем тридцати шести епископам, сидевшим на высоких сиденьях, обитых лиловым и фиолетовым бархатом. Скамьи, устланные коврами, отвели для



посланцев царя Ашота Багратуни, государя Амазаспа Арцруни, нахараров и сепухов<sup>1</sup>. Еще дальше сидели архимандриты, вардапеты, игумены. Иноки стояли вдоль стен. Среди них три брата — Ованес, Саак, Григор.

Отца Григор увидел только накануне, когда вместе с архимандритами и диаконами, избранными местоблюстителем аргинским Мануком, встречал у западных врат собора архиереев и провожал до алтаря. Надо было не сбиться, не перепутать старшинство, чины и порядки, ведь каждому епископу своя встреча: колокольный звон, пение, облачение и место. Ризничие сбились с ног, диаконы раздували и без того докрасна раскаленные кадила, вымеряли в паникадилах свечи, и все в спешке, тесноте — с раннего утра собор был полон, и еще тысячи людей ждали прибытия патриарха.

А теперь все ждали слов первосвященника: большинство с должным смирением, но многие с затаенным недовольством и страхом. Трещат смолистые факелы, шуршит парча и шелк облачений, жилистые руки крепко сжимают посохи, простуженные кашляют. Но вот все стихло, словно тишина волной накатила от возвышения с тронном под островерхим пурпурным балдахином до громадных дверей нового дворца.

— Первое наше слово к вам, епископы армянские, правители дома Божия, святые отцы и учителя истины. С кем же говорить нам, с кем радоваться? Увы, не с кем разделить радость — вновь огорчения, вновь тревоги и вновь боль сердцу нашему, ежедневно множество тревожных писем, заботы обо всей церкви. Где он, чьи очи видели бы наши бедствия, и его нутро не сгорело бы при этом? Известно вам, какие обильные дары Господу принесла наша земля, но сатана, озлобясь, что орудие ненависти сокрушилось, выполз из логовища и стал кружить с разверстой пастью, измышляя поглотить церковь, расстроить враждой заповедь мира, единство наше разбить на множество частей. Враг спасения не только задумал, но, увы, преуспел во зле: его мерзостью произошла великая смута из села Тондрак, озлобляя простолюдинов про-

---

<sup>1</sup> Сепухи — младшие сыновья нахараров, владетельных князей.

тив церкви и князей. Низкие норовят стать предприимчивее вельмож, хотят заставить господ ходить босыми, а сами — гарцевать на скакунах, даже угрожают мятежом правителям, коим испокон веку принадлежат нахарарства. Но самое ужасное, что нашли князья и епископы, сами впадшие в тондракитскую скверну. Неуместно нам здесь говорить о преступлениях еретиков, но уместно спросить: должен ли пастырь смотреть, как хищные звери безжалостно истребляют стадо, или обязан со всей силой истреблять хищников? Что молчите? Ныне хотим вас слышать.

— Святой владыка, прежде чем епископы соберутся с мыслями, дозвожь мне сказать.

Князь Мхитар Андзеваци решительно встал, с высоты огромного роста оглядел зал, словно выискивая притаившегося врага.

— Кто позволил архиереям проклинать властителей армянских? Мы защищаем рубежи страны, а вы нам всаживаете нож в спину!

— Сядь, князь Мхитар. Позволь и нам напомнить, что ты здесь гость и не пристало тебе начинать с поношения хозяев дома.

Князья гневно зароптали, много обид накопилось у них против владык: споры из-за земель и угодий, наследование выморочного имущества, отпуск крестьян на возведение монастырей, подати, требы, дары. Хотя и у пастырей хватало жалоб на своеволие князей. Но католикос решительно угасил распрю. Предстояло избрать нового ключаря католикосата вместо мятежного епископа Акопа, вручить во владычество епархии, оставшиеся без владык после кончины епископов, да и утверждение патриаршего престола в Аргине требовало переезда многих служб из Ахтамара.

От жара факелов, дыхания почти тысячи людей в громадном зале тяжело накапливалась духота, многих клонило в сон, речи стали медлительными, движения вялыми, а немощных владык служки почтительно выводили на воздух. Братьям, стоявшим возле дверей, было полегче.

— Саак, о чем говорил отец, пока вы добирались до Аргина?

— Молчал.

— Все дни молчал?

— Нет, сказал: «Много у человека врагов и так мало времени для спасения души».

— У какого человека?

Саак пожал могучими плечами — наверное, у каждого. Они говорили шепотом, но шептались многие; в зале стоял гул. Правда, когда настежь растворили двери на бронзовых петлях, никто не поспешил покинуть зал, выходили чинно, по старшинству, среди владык Григор увидел отца: рыжая борода по пояс, огромные глаза, нос крупный, губы крупные, каждая черта сильного лица видна издали. Владыка так задумался, что даже не заметил сыновей, они же не осмелились его потревожить.

Новоизбранный ключарь епископ Асатур ввел епископа Хосрова в покой католикоса. В простой рясе, сандалиях на босу ногу, Анания читал, что-то пометчая кружочком в книге.

— Вот, владыка, читаю твое «Толкование церковной службы». Много полезного здесь для священников, но не одобряю твой труд, ибо толкователи первые виновники расколов. Вот ты пишешь: «Слушайте, пастыри, слушайте и бойтесь, и наипаче ужасайтесь и плачьте со страхом и трепетом. Ибо названы вы пастырями не для того, чтобы себя пасли, на мулах и благородных конях разъезжали по стране и распутничали во славу плоти, и одеждами бесчинствовали, как безумные...» Ты сетуешь, но не слова ныне нужны — сила! А где взять ее, на что опереться, если ссоришь нас с князьями. Разве не знаешь, чем обители твои обязаны милостям князя Мхитара, отца Ендзака?

— Тем более сын должен уважать благочестие отца. А молодой князь запретил крестьянам посещать храмы даже по воскресеньям, не давая им передышки от работ, по его вине лишены они покаяния и причастия.

— Хосров, я прошу тебя снять проклятие с сепуха Ендзака. Время тяжелое для страны, а ты ссоришь церковь с нахарарами.

— Значит, сильные наказания надо оставить для слабых, а сильных грешников прощать? Слышал я, многие считают необходимой поблажку знатным, но

это заблуждение — только строгостью исповеди можно воздействовать на распущенных, только суровым наказанием вразумлять гордых, нельзя в угоду нашему малодушию или чьим-то заслугам освобождать христианина от стыда. Я не дал бы волю гневу, если бы сам был оскорблен, но слуги сепуха плетями согнали нищих с паперти.

— Кому приятно видеть нищих в своих владениях?

— Пусть строят приюты, больницы, богадельни, а не тратят золото на охотничьих псов, украшая золотые ошейники рубинами и бирюзой. Как было бы похвально, если бы никто из нас не был повинен в бедствиях людских, имел сердце милующее, не судящее даже и еретиков.

— И еретиков? — Анания постучал свинцовым кругляшом по столу. — А ведомо тебе, что эмир Абел-Хадж двинулся на Васпуракан? И почему? Сын Хэрского эмира охотился на косуль; когда охотники возвращались с добычей, увидели красивых армянских мальчиков, захотели их себе. Но некто Саргис, человек знатного происхождения, вскочил на коня и бросился в погоню и рассек эмирского сына. Тогда его отец пообещал Абел-Хаджу город Хэр, если тот истребит нашу страну. В долине Мармет эмир разделил войско на три отряда с таким расчетом, чтоб ни один васпураканец не избег смерти. Ты знаешь, что случилось дальше?

— Я слышал, святой владыка, так эмир задумал, но в ту же ночь было ему сказано слово Спасителя: «Безумный, в сию же ночь потребуетя от тебя душа твоя», — и утром нашли его мертвым — так злой замысел не исполнился, господь спас наш народ.

— Господь здесь ни при чем — это государь послал в лагерь эмира верных слуг, и они исполнили его волю. А благородного Саргиса повесил — как страшный ливень начинается с одной капли, так и у грозных событий, как правило, ничтожное начало, а судьбу страны нельзя испытывать чудесами. Еще раз прошу тебя снять проклятие с сепуха Ендзака, не для того ведь я вверил твоим заботам Андзевацик, чтоб ты проклинал князей! Иначе ты сам будешь наказан за свое жестокосердие. Ради справедливости, о которой ты так печешься, а не по гневу нашему — перво-

святитель армянский не может иметь личных врагов, и ты знаешь наше расположение к тебе.

Католикос редко кого увещевал, у него осталось слишком мало времени на терпеливое распутывание узлов, которыми диофизиты, тондракиты и прочие еретики опутали православие, а промедление могло иметь непоправимые последствия, ведь речь шла о единении страны, государственности, вере, и тут даже враги патриарха соглашались, что Анания скорее вырвет собственное око, если оно станет соблазнять его примирением с патриархом Константинопольским, чем примет выгоды союза с Византией. Что же говорить о чужих очах? Цenia силу духа в соратниках, католикос жестоко истреблял ее в инакомыслящих. Он мог ночью оседлать мула и поспешить в дальний путь, чтобы призвать к ответу упорного епископа или надменного князя, не боялся укорять даже царей. Постепенно воинственные иереи оттеснили от патриарха вардапетов — богословов, философов, мудрых наставников.

Однажды Хосров сам был свидетелем, как к патриарху пришел священник из сасунской деревушки, у которого арабы вырезали всю семью, и просил святейшего снять с него священнический сан, чтобы отомстить за жену и детей. Анания поднял священника с колен и усадил на свой престол: «Ты отец убиенных детей, а я отец всех армян, и кто благословит меня?» И не снял сан с сасунца, но поставил его диаконом войсковой церкви в Нахчаване, а вскоре рукоположил в епископы себастийские.

Хорошо зная твердую волю святейшего, Хосров был растерян, не понимал, почему католикос увещевает его и хочет снисхождения для сепуха Ендзак? Не хочет ссоры с князьями? Но ведь нельзя принести в жертву благочестие ради расположения князей. Да, время тяжелое, но тем тверже должен быть пастырь, ибо он в ответе за свою паству. Хосров и сам нередко бывал вспыльчив, жестоко укорял и мирян, и священников, но особенно ополчался против власть имущих, видя причину бедствий, обрушившихся на страну, не в расколе христианства, а в расколе самого человека, в упорстве, с которым мирское теснило в человеке духовное. Одни умирают от голода, а другие украшают самоцветами звероправных собак, кормят их с золо-

тых блюд! Дворцы, театры, драгоценные одежды, резной мрамор, позолоченные потолки, блудливые зрелища, пьяные пиры — и нищие, сироты, вдовы, немощные старики. Поэтому и возжелали низкие княжеских почестей, наложниц, дворцов, дорогих яств и вин. Вопиющая роскошь и вопиющая нищета не могли не вызвать озлобления, ожесточения, отчаяния. Нет, не спорные вопросы вероучения, а сами князья виновны, что вместо мира началась война.

— Ты долго думал, владыка Хосров. Что же ты решил?

— Святой владыка, князь понес суровое наказание, но по вине своей. С великой радостью прощу его, если он раскается.

— Ему уже поздно каяться,— сепух Ендзак зарубил эмира Абел-Хаджа, но сам не спасся. Завтра же я сниму проклятие с души мученика, ибо нет большей заслуги для христианина, чем отдать жизнь свою за други своя. Надеюсь, ты сам поймешь... Тяжко бремя владычества, владыка никогда не остается один, нет в его жизни и мига без забот, они и облегчают, и отягощают, бывает, хочется освободиться от всего. Вижу, твой сан тяготит тебя.

Сыновья поцеловали руку отца, и каждый заметил, как дрожит рука.

— Сегодня радость сердцу моему — вижу вас, дети мои возлюбленные. Вы как триединая плоть моя, троекратная душа моя, втрое свитое существо мое, трисвечник моей любви с тремя горящими свечами. Давно, когда еще была жива ваша мать, я собирал в лесу камедь. Жарко было, сморила меня усталость, хотел прилечь в тени, уже снял лук с плеча, расстелил плащ и вдруг почувствовал холод под левой лопаткой. Оглянулся — волчица! Шерсть вздыбилась, пасть ощерена. И так я испугался, что схватил стрелу, выстрелил, не целясь, и поразил зверя в позвоночник. Волчица рвала когтями дерн и ползла... Вторая стрела вонзилась в бок. А из тощих сосцов сочилось молоко — видно, отошала она, искала добычу для голодных детенышей. Долго я искал логово, слушал, не заскулят ли волчата? Искал до вечера, но не нашел. И рад, что не нашел.

А ныне по моему следу идут жестокие охотники, хотя я не волк, а пастырь. Что бы ни случилось со мной, дети, будьте тверды, скрепите мужеством ваши сердца, помните реченное в Писании: сын за отца не отвечает.

— Отец, почему ты не простишь молодого князя Ендзака? — спросил Ованес. — Католикос все равно снимет с него проклятие.

— Дело не только в князе. Ты знаешь, я никогда не защищал еретиков, но в деле учения нельзя предоставить неограниченную свободу произволу или чьей-то воле. Всесильные властители могут причинить много бедствий, но редко кого способны осчастливить. Почему я не внял словам святейшего, не исполнил его волю? В этой жизни слабые и так угнетены, мы должны утешать их, облегчать их страдания, вот почему церковь не должна быть на стороне сильных.

— Отец, но ведь не только князя притесняют и грабят народ, но и сами пастыри.

— Нет, Саак, церковь налагает жестокую узду не на народ — на отщепенцев, которые сами себя исторгли из народа, из сообщества людского. Разве армяне — те, кто отверг крещение, брачный венец, молитву, покаяние и считают новым Христом Смбата из Зарехавана? Если кто-то заражен этой заразой, тот неизлечим, как прокаженный, и опасен для других. Я сам видел, как селения и даже целые области охватила тондракитская чума, где люди погрязли в любодейной скверне, отпускали грехи друг другу и обрекали некрещеных младенцев на муки вечные. Хотя католикос повелел таких истреблять без жалости, и так поступают с бунтовщиками многие иереи, я лишь изгнал нечестивых из Андзевацика, я жег жилища, но не людей.

— Но разве можешь ты нарушить волю патриарха? — Ованес спрашивал смущенно, хотя в его словах чувствовалось осуждение отцовского упорства. А Саак с трудом сдерживал ярость.

— Тогда почему же не разрушены замки князей-богоотступников? Почему не сожжен дотла дворец епископа сьуникского? Нет, я не хочу новых развалин и пепелищ — довольно слез и горя! Разве где-нибудь в Писании сказано, что верующий, отвергающий учение, должен быть отлучен от церкви? Христианин

принимает лишь догматы, а учение принадлежит богословам, отцам вардапетам. Эмир Юсуф распял царя Смбата Багратуни, а эмир Абул-Бард — Смбата из Зарехавана; и государь и простолюдин сражались с врагом, и оба приняли венец мученичества, но первого мы причисляем к праведникам, а второго называем исчадием ада. Как же так, отец?

— Брат, как ты можешь говорить такое! — Ованес в ужасе закрыл лицо, но и сквозь ладони чувствовал серный смрад слов Саака.

— Отец, вразуми нас! — взмолился Григор.— Зачем Господь отчаивает, сокрушает человека, зачем отдал его на растерзание враждующим страстям?

Хосров оглядел сыновей.

— Теперь вижу, как вы повзрослели, сыновья мои, а ты, Ованес, и сам уже седой, страшит тебя несовершенство человека. Что тут поделывать? Знаю, отцы часто укоряют детей, потому что торопятся вкусить сладость плодов, когда они еще незрелые, уже во младенчестве хотят видеть своих чад умудренными, забывая, что они сами многого не понимают в жизни. Но не мне сетовать и укорять вас, дети, с радостью благословляю вас. Да, сын за отца не отвечает, и это так, вы за меня не ответчики, но передо мной, отцом вашим, вы в ответе: если обрушатся на вас испытания, если бедствия даже перемелют вас, как пшеницу, в каждом из вас должна остаться любовь к Родине! Всем святым заклинаю, помните об этом.

Католикос задумался или дремал; надзиратель патриарших покоев, епископ Саргис зевал, благочестиво крестя рот, разглядывая перстни на толстых пальцах; секретарь патриарха архимандрит Шмавон вертел головой, сличая то, что поочередно пишут два грича, кратко записывая речи епископов. Епископ Хосров слушал, смотрел и понимал: какие бы слова он ни сказал зевающим, осоловевшим от духоты иереев, они так же будут зевать, перешептываться, разглядывать в перстнях аметисты, а святейший взглядом, словом, мановением руки будет направлять загонщиков по следу, чтобы он, Хосров, корчился с переломанным хребтом, подыхал. Больше всего епископ страшился, что дети не выдержат избиения отца, рва-



нутя на помощь — это было бы непоправимым. А стрелы вонзались одна за другой...

— Святые отцы, простите меня, недостойного игумена Хачатура, осмелившегося говорить перед вами, учителями истины, ревнителями православия. Но не говорить мне подобает перед вами, а рыдать горестно, ибо я игумен без обители, пастырь без паствы,— зимой тондракиты напали на наш монастырь, жестоко мучили меня, сожгли книги, сосуд с елеем осквернили. Горе нам, в обителях своих трепещем, как агнцы в волчьей пасти. Искал я защиты у владыки Хосрова, но встретил гнев его, бранил он меня и таскал за бороду.

Это была ложь! Игумен Хачатур сам раздирает одежды христианок, его откормленные свирепые монахи забили насмерть двух крестьян. Неужели же никто не уличит двоедушного, не защитит его, епископа, от лживых обвинений? Хосров бросил отчаянный взгляд на игумена Ананию Нарекаци, дядю покойницы жены: пусть голос его тих, но велика слава вселенского учителя, великого философа, одно его слово угасит кипение злобы, образумит свирепых гонителей.

Слезы текли по иссохшему лицу игумена Анании, но он молчал, кровью истекало его сердце при виде избиения невинного Хосрова, но игумен все ниже клонил седую голову, словно это на него пала клевета Хачатура, а теперь, рыча от ярости, на него обрушивал глыбы обвинений епископ себастиийский Паруйр.

— Ответь собору, нечестивый епископ, зачем ищешь примирения с врагами церкви и вступаешь в бой с нами, и не только безумными речами, но целой книгой!

Паруйр потряс книгой, и Хосров по тиснению на зеленой коже — два орла держат в клювах кольцо — узнал свое «Толкование церковной службы», которое вчера видел у католикоса. Архимандрит Шмавон, заранее составивший патриаршее послание об анафеме епископу Хосрову, терпеливо ждал, держа бронзовую чернильницу с пурпурными чернилами — подпись первосвященника должна быть ярко-красной, как кровь, и золотую печать с ликом Спасителя, окруженным именем католикоса: Анания I Мокаци. Патриарх при-

вычно осмотрел, хорошо ли очинен тростник, проверил расщеп на крепком ногте, обмакнул перо...

— Шмавон, не бормочи под руку.

Секретарь, выпучив глаза, что-то лепетал, но в зале стоял такой шум, что святейший ничего не понял. Подняв голову, он увидел вскочивших епископов, потрясавших посохами, хохочущих князей, и наконец услышал — не бляенье секретаря, а громовый голос инока Саака.

— Отцы святые, пробудитесь! Соберите камни, которыми вы побиваете благочестивого. Судить подобает царю, и князьям, и судьям, но не вам, отрекшимся от мира. Меня страшит притча о рабе, которому царь простил немалый долг, а тот не захотел простить малой толики должнику своему. Опомнитесь! Не имея явных доказательств вины епископа Хосрова, вы по одному подозрению осуждаете его. Вы называете себя мудрыми зодчими веры, отцами церкви, но церковь — не камни, скрепленные свинцом и известью, а мы, люди! Вера украшает жизнь, если она любовь и милосердие, и вера — проклятие, если она злоба и непримирение. И вот за то, что в сердце владыки андзевацикского нет вражды к простолюдинам, вы проклинаете его, хотя ваши обвинения ложны, вымыслы смешны, доводы ничтожны. В злобе своей вы забыли слова Просветителя: «Священник, проклинающий христианина, сам будет проклят Христом».

— Прочь, безумец! — Католикос наконец обрел дар речи. — Ты... винить епископов?! Не гнев, но глас божий побуждает нас против епископа Хосрова. Вышедший из нашей среды, вскормленный благочестием, он был нашим возлюбленным братом и сыном. Мы доверили ему епархию, как мужу благочестивому, украшенному сединой, но он стал вводить новшества в язык и обряды, стал воскресенье называть не *кираки*, а кюрриакэ, как греки, и писать Иерусалим вместо *Ерусалэм*. Мы послали ему предостережение, советуя оставить бессмысленные речи. Он же, вместо того чтобы покаяться, осквернил церковь грязью своих бредней, смушал народ, поднял смуту в Андзевацике, пытаясь тайно восстановить ересь халкидонскую. Мы писали ему дважды и трижды, но убеждались каждый раз, что сей епископ упорен в заблуждениях, и потому ныне мы должны отсечь его огнен-

ным мечом от церкви, дабы сокрушить безумного и остеречь шаткие умы. Хосров, ты сам, своей волей отпал от нашего корня, поэтому и мы пренебрегаем законами любви и отныне, считая тебя врагом, предаем анафеме и вечному проклятью!

Камни, песок, ветер. Острый алый свет восходящего солнца чуть высветил горы, а река окутана густой пеленой тумана, сырость оседает каплями на камнях. Слышно, как пахарь гонит буйволов на поле, пастух — овец. Мир на земле, но не в людях, вся Армения охвачена огнем; куда ни ткни посохом, вырвется подземный огонь и клубы дыма. Медлительные облака, закрученные высоким ветром в громадные свитки, наползают на вершины, гасят их сияние. Громады гор — надежная броня Армении, враг не одолеет бездны пропастей, неприступные крепости вершин, базальтовые надолбы скал. Но враг всегда находил проводников, конница бешеным потоком вырывалась на простор равнин, слепя тысячабелым высверком, и тогда путь врагу преграждали не горы, а люди, уязвимые даже для терний, не то что для конских копыт, пронзительных стрел, отточенных клинков.

Григор сидел на берегу Ахуряна, слушая, как в прибрежных камнях журчит река, гневно вспенивая буруны, и, вырвавшись, стремится дальше. Все светлее день, все темнее тень дерева.

— Отец, отец...

Даже в мыслях Григор не осмелился просить прощения у епископа, потому что нет прощения сыну, отрекшемуся от отца. Да, он исполнил волю родителя, и Ованес тоже, только Саак ослушался отца. За что католикос предал анафеме Хосрова? А за какую вину Господь испытывал Иова? Но если и праведники ничто перед Ним, где же зло и где добро, неужели они текучи, как вода речная, изменчивы, как облака, зыбки, как свет и тень? Если даже Бог не защитил Иова от злобы сатаны, как же человеку спастись от зла? Вот Иов на пепелище своем гниет заживо, вопиет о боли и ужасе, о благополучии грешников, а друзья его же, сокрушенного, упрекают в гордыни, для них все ясно, токуют как глухари, повторяют, как прилежные ученики, затвердившие урок: нет в мире стра-

дальцев без вины; если кто наказан, значит, есть за ним вина. О, говоруны бессердечные! В чем же вина Иова? Чем же прогневал Господа Иов?

Рядом с тенью дерева Григор заметил еще тень, короткую, как от камня,— рядом стоял католикос Анания. Инок встал, низко поклонился.

— Что, лао, тяжело тебе?

Много лет назад Григор уже слышал эти слова и никогда не вспомнил бы их, если бы тот же голос не повторил их вновь.

Тогда они оба — и католикос, и мальчик — строили Нарекскую обитель. Буйволы тянули волокуши, груженные камнями, монахов не отличишь от мирян — все в каменной пыли, крестьяне, согнанные из окрестных сел, дробили камень, пережигали известь, возводили стены. Католикос, как простой каменотес, рубил базальт, под мощными ударами молота закаленное железо высекало искры, крепок был камень, но и патриарх упорен. Острые осколки секли щеки, путались в густой черной бороде. Он отер обильный пот, быстро и зорко оглядел стройку и встретился взглядом с карими глазами отрока — кудрявый, нежнолицый, он был так радостен и юн, что католикос почувствовал умиление. Отряхнув рясу, сам пошел к мальчику.

— Тяжело тебе, лао?

— Тяжело, святой владыка.— Мальчик смутился.

— А ты терпи, мы строим дом Господу и себе — здесь Ему радоваться, а нам без усталости трудиться. Как имя твое, лао?

— Григор, сын Хосрова.

— Так ты сын владыки Хосрова? Похож, похож! Родитель твой достойный иерей, знаю и брата твоего Ованеса, благочестив, хотя и молод. Видно, и тебя наставляет вардапет Анания? Почитай его наравне с отцом и матерью... Ах ты, дитя милое! Не плачь.

Святейший отер слезы мальчика, подвел его к самому краю холма. На рыжем склоне овцы щипали траву, но их не было видно за камнями, казалось, пастух пас тени облаков. Над земляными крышами селения струился дым, поля безлюдны, весь люд здесь, строит монастырь. Речка Нарек тихо течет меж зарослей орешника и черемухи, бежит к близкому мору. Высоко в небе кружит ястреб. А вдали, так да-

леко, что слезы наворачивались на глаза, сиял снежной вершиной Сипан, его лиловую громаду озарял гранатовый свет.

Весенний шафрановый воздух стал горьким от ветра, взлетевшего чайкой с морской волны — из дали, которую озирали желтым глазом краснокрылый ястреб, а мальчик только пытался увидеть. Если долго смотреть вдаль, можно увидеть свое будущее, но не отроку такое видение.

— Смотри, лао! От прародителя Гайка наше армянство, святой Григор<sup>1</sup> воздвиг нашу веру, блаженный Месроп начертал наши письмена, — он сжал гору прошлого в камень, и на камне выступила кровь, он омочил кровью перо и начертал буквы, и стала книга равна человеческой жизни. Знаешь ли, какие слова первыми начертал вардапет Месроп?

— От наставника Анании знаю: «Познать мудрость и наставление, постичь изречение разума».

— Так, милый, и в том мудрость великая, что Маштоц начал перевод Библии с наставления разуму неопытному, юному. Знаешь ли Притчи Соломоновы?

Мальчик начал бойко, но сбился, покраснел.

— Ничего, не смущайся, и я иногда забываю. Давай вместе попробуем. Вижу, пытливо читаешь Писание, усердие твое похвально, но ты мои слова не выдавай наставнику, пусть только мы с тобой об этом знаем. Людская похвала пустое, не ищи ее. Все дали нам праотцы наши, чтобы не умалился малочисленный народ армянский среди других народов. Помни, что человек рождается для великой цели, и помни мою волю: хочу видеть тебя в этой обители, тебе ее строить, тебе и вершить здесь иноческий подвиг.

Католикос поднял руку — тут же служка подал медный поднос с искрящимся на солнце синим фаянсовым кувшином и простой глиняной чашей. Анания отпил, подал отроку:

— Пей, лао, и будем трудиться.

---

<sup>1</sup> Григор Лусаворич (Григорий Просветитель, ок. 239—325), выдающийся религиозно-политический деятель, вдохновитель принятия Арменией христианства (301 г.), причислен к лику святых. По его имени армянская вера названа армяно-григоринской.

В чаше был гранатовый сок, смешанный с медом, сладкий, душистый.

А что теперь даст испытать ему святейший? Желчь, горечь полынную?

— Вижу и сам, тяжело тебе. Молись, чадо, Бог не оставит тебя в испытании.

— Святой владыка, за что Господь мучил праведника Иова?

Католикос снял репы с рясы, сцепил их в колючий шарик, покатал с ладони на ладонь, бросил в реку.

— Возлюбил, вот и мучил. Вопросы такие не пристали иноку, тут от рассуждения до осуждения краткое расстояние. Не умствуй, а молись усерднее.

— Молюсь, святой владыка, за всех проклятых, осужденных, гонимых.

— Дерзок ты, Григор.

— Смирен, святой владыка.

— Да, смирен в малом, но строптив в большом.

#### 4. Уход в пустынь

Февральская томительная ночь, холодно в келье. Слышно шарканье сандалий, кто-то не притворил дверь, жалобно скрипит на кожаных петлях. Дымно чадят факелы. Послушники ведут старцев, ослепших в темных кельях от долгого переписывания книг,— слепцов-гричей сразу узнаешь по напряженным лицам, беспокойным чутким пальцам, медным бубенцам, подвязанным к поясу. Со старцами особенно искали душеспасительных бесед паломники и престарелые злодеи; заученные наизусть Евангелие, Псалтырь, жития святых, десятки переписанных мудрых книг, десятилетия уединенного труда в тишине словно вознаграждали тружеников даром утешения.

Григор невольно остановился, заметив у притвора старца Мхитаря и морского разбойника Гоха, когда-то наводившего ужас на все южное побережье. Одноглазый, иссеченный шрамами злодей, как ребенок, доверчиво внимал старцу, бледное лицо которого излучало такую кротость и терпение, что при одном взгляде на него всякое страдание казалось не только нестрашным, но даже желанным.

— Вот, сын мой, многие жалеют меня, что я спотыкаюсь, не вижу пней и рытвин, а я не печалюсь: кто видел свет, тот зренья не утратит. Да и ты знаешь, что незримые опасности для человека страшнее зримых. От того многие горести, что мы слепы душой, себе хотим больше, чем другим. А много берешь, тяжелее становится на сердце. Вот жили два старца в одной келье и никогда не ссорились. Один и говорит другому: «Как это люди ссорятся? Давай хоть разок попробуем».

«Уж и не знаю, с чего эта ссора начинается»,— отвечает другой.

«А вот с чего. Поставлю я на стол чашку нашу и скажу: она моя, а ты скажешь: нет, моя. Вот и пойдет у нас ссора».

Поставили старцы чашку на стол, и говорит один:

«Моя чашка-то!»

А другой ему:

«Нет, моя!»

«Не твоя, говорю тебе, а моя!»

«Ну, хорошо: ежели она твоя, то и бери ее».

Так и не смогли старцы поссориться.

Снегом замело сад и двор, между сугробами протоптаны тропинки в книгохранилище, пекарню, ткацкую, свечную, намерзла наледь вокруг родника, искрятся в стылом свете стены храма, у дверей стоит на коленях расстрига Асатур, прелюбодей, исторгли его из монашества, и вот с осени замаливает грех, а срок его наказания — два года молиться при дверях и год в самой церкви. Обходит его братия как пустое место, спеша укрыться в храме от ледяного ветра, многие согласились бы нести послушание в пекарне, у жаркого тоныра, но осталось непросеянной муки на одну выпечку, а как жить дальше, Господь ведает. Но надо жить: рубить валежник, переписывать книги, класть свечи, шить рясы, кроить из воловьей кожи подметки сандалий. Ни птиц, ни голосов, — кажется, в переметенном снегом Веспуракане вымерзла жизнь, и только здесь, в Нареке, теплится свеча, шепчется молитва.

И снова, шаркая, кашляя, расходятся иноки, не глядя на окоченевшего грешника Асатура, скрипят двери, постукивают в озябших пальцах четки, не скоро постная трапеза и бесконечен день.

Григор смотрит на дверь, словно ждет кого-то, ждет с того дня, когда вернулся из Аргина, все кажется ему — откроется дверь, войдет отец. Но Хосров далеко — там, где Ной, спасшийся от потопа, взрастил виноградную лозу. На том месте монах Яков почти на краю пропасти воздвиг монастырь. И захотелось ему достичь вершины, чтобы увидеть ковчег. Долго поднимался по северо-восточному склону, утомился и лег отдохнуть, а когда проснулся, нашел себя возле монастыря. Так бесполезно трудился монах Яков семь лет, пока Бог сжалился над ним и послал ему ангела, явившегося во сне; ангел оставил на его груди обломок ковчега в награду за веру и труды, а сам ковчег никому зреть не дано, как нельзя рожденному вернуться в лоно матери и там рассматривать ее утробу. Обломок этот многие видели — дерево называется гофер, сероватое, твердости костяной и с запахом приятным.

Вот и опальный епископ Хосров низвергся туда, откуда начал путь, но обрел за свои труды не кусок дерева гофер, а проклятие на веки вечные, и стоит теперь на коленях на ледяной паперти, а рядом, на верное, Саак.

— Ованес, где брат наш Саак? — спросил Григор.

— Он восстал против епископов.

— А где отец наш, епископ Хосров?

— Он отпускал грехи еретикам.

— Но он отец наш!

— Григор, зачем мучаешь меня, разве я не сын нашего отца? Но страшен суд над священником, не обличающим грешников, проклят он будет, и кровь грешных взыщется с него. Когда князя Ваган Мамиконян и Меружан Арцруни отреклись от веры и приняли безбожный закон персов, Самвел убил своего отца князя Вагана...

— Опомнись, Ованес! Никогда отец наш не изменял родине и вере.

— Брат, вырви его из сердца! Притворная благость приводит к неразличению добрых и злых. Почему отец не внял увещаниям патриарха, почему не смирился? Легче всего ответить: но он отец наш. Нет у нас отца, осиротели мы! Прошу тебя, Григор, покайся в своих сомнениях перед братией, ты сам не за-



мечаешь, как ожесточилось твое сердце, какой пагубный пример показываешь своей дерзостью.

— Уйду из обители. Я отрекся от отца, но ради чего, кому нужна эта ужасная жертва? Даже тондракиты под пытками не отрекаются от своего лже-Христа Смбата, а я молчал, когда проклинали моего отца,— чем же я лучше еретика? Тысячекратно гнуснее! Добровольная жертва разума обернулась смрадным дымом моих грехов. Почему мой онемевший язык не превратился в раскаленный уголь, когда я молча слушал обвинения против отца, почему гноем не вытекли мои глаза, когда я смотрел на него, страдающего, почему пальцы мои не отпали, когда я крестился, и зубы не раскрошились, когда жевал святой хлеб причастия? Грешен я, тысячекратно грешен, ведь, будучи сыном, назвался врагом отца!

Ованес прижал к груди голову брата,— отчаянье Григора причиняло ему боль, смущало душу сомнением, которое он гнал прочь,— только дай ему волю, оно свирепо пожрет человека. Он страшился за рассудок брата: то сидит неподвижно, глядя в дверь, то обвиняет себя в ужасных преступлениях.

— Григор, я попрошу настоятеля отпустить тебя, хотя и противлюсь твоему желанию, ведь мы все здесь в иноческом чине и равны, одну веру имеем и едину душу, общую молитву и общие труды, как же можно удалиться одному из нас? Одному дано слово разума, другому дар врачевания, один искусный переписчик, другой хлебопек, и от каждого польза братии, и согрешившему легче отступить от греха, стыдясь осуждения, а пустынный, не имея свидетелей, угождает только своей прихоти.

Григор молчал, похоже, он даже не слышал брата. Ованес встал.

— Разве уже бил колокол?

— Пойду к игумену, просить за тебя.

— Нет, Ованес, я сам.

Игумена Григор нашел в матенадаране. Сводчатый зал, разделенный арками на мощных столпах, казался уходящим вдаль; сочетание синеватого базальта стен с полом, выложенным плитами красного и черного туфа, придавало залу торжественность; четыре окна на южной стороне — три круглых и одно

узкое, и огромное восьмиугольное отверстие купола позволяли читать рукописи даже в пасмурные дни. Было и еще одно прямое окно — на восточной стороне, выше огромного креста, высеченного над алтарем. Алтарь служил не только местом молитвы, но и кафедрой учителя, отсюда Анания открывал ученикам миры знания — арифметику, геометрию, музыку, историю, но прежде всего учил грамматике и философии, ибо грамматика — ключ науки, наставник чтения и правильных интонаций, помогающих ясно высказать и глубоко понять мысль, а философия — это наука о сущем, забота о смерти и уподобление Богу, это искусство искусств и наука наук.

Настоятель Нарекской обители не обладал ни такой громадной волей и беспощадностью политика, как католикос, ни твердостью характера, как епископ Хосров; его ум не рассекал узлы, но терпеливо распутывал, и в этом кропотливом труде игумен Анания был поистине великим тружеником. Там, где потрудились его мысль, все становилось ясно, без узлов, хотя он размышлял медленнее, чем те, кто ослепительной догадкой, одним ярчайшим озарением, но куда чаще властью своего авторитета могли рассесть пути и идти, не дожидаясь, пока их мнение подтвердят или опровергнут, зато требуя, чтобы каждое слово принимали на веру. А это, как считал Анания, было причиной многих заблуждений как мудрецов, так и глупцов, и лишним подтверждением того, что в человеке куда больше звериного, чем божественного. И все-таки игумен верил: хотя людям присуща видовая неспособность к святости, но постоянным духовным упражнением человек может изменить свою тварную природу, и вот эту-то искру духа он терпеливо искал в своих учениках, с любовью обучая всех — знатных и низких, тугодумов и быстрых мыслью, смешливых и робких. Когда ученику исполнялось пятнадцать лет, наставник подвергал его трем испытаниям. Сперва ученика на семь дней оставляли в келье, дав хлеба и воды. Одни страшились тьмы, другие тишины, третьи одиночества, четвертые голода. Но были и такие, кто, выдержав все семь дней, выходил из кельи просветленным. Таким Анания давал перо и чернила, веля написать любое слово, какое им захочется, и по значению слова, начертанию, расположению на листе оп-

ределял многое в характере ученика. Григор написал *гитенал* — «знать», твердо, крупно, посреди листа.

— А зачем ты хочешь знать?

— Чтобы верить.

Ответ ошеломил Ананию, он почувствовал неясную опасность, даже угрозу в словах ученика: ставить веру в зависимость от знания? Да есть ли что-нибудь опаснее?! Если это и путь к вере, то через такие испытания, что о них даже подумать страшно; Анания смотрел на отрока, пытаясь представить, как этот слабый человеческий росток станет добычей бури, вырывающей с корнем громадные деревья, — и не смог увидеть его поверженным; обессиленным, истерзанным, трепещущим — да, но не сломленным.

Теперь занятия проходили не в матенадаране, а в пристроенной два года назад галерее, соединявшей кингохранилище с церковью св. Сандухт. Галерея защищала притвор и вход в матенадаран от дождя и снега, в ней было довольно места для двух десятков мальчиков, сидевших прямо на полу и внимавших каждому слову учителя Гевонда — монаха молодого, но строгого, не выпускавшего из рук лозу, — за строгость и выбрал его настоятель. И в школе, и в матенадаране не зажигали огня, под страхом изгнания из обители запрещалось входить сюда с факелом или свечой — слишком великим трудом создавалась книга, чтобы подвергать ее опасности. Все, кроме вардапетов, брали и возвращали рукописи в среду, до обедни, брат Гевонд строго следил, чтобы переплет не был загрязнен или поцарапан, листы порваны, загнуты, закапаны воском или маслом, — иноки боялись его не меньше, чем дети, зато стараниями Гевонда собрание книг в последние годы так умножилось, что труды по грамматике, математике, географии и медицине пришлось перенести в галерею, в специально устроенные ниши. И в матенадаране рукописи хранились в нишах — высоких, средних, малых. В самой маленькой, имеющей вид пятилепестковой раковины — месроповское Евангелие, начертанное на благородном матовом пергаменте, с алыми буквицами, округлыми полями, переплетенное в пурпурную кожу; но это искусная копия, а само Евангелие, переписанное рукой Месропа Маштоца, хранится в тайнике глубоко под церковью, вместе со святынями обители: мощами ве-

ликомученицы девы Сандухт, бронзовым пером Провосветителя, кожаным поясом апостола Фаддея и посланием царя Авгара римскому императору Тиберию с просьбой сместить прокуратора Понтия Пилата, осудившего Христа на смертную казнь. В самой высокой нише, украшенной дивной каменной резьбой, — громадная, в окладе, кованном из серебра, Библия, справа и слева от нее, как дети — евангелия, псалтыри, жития святых, бережно собраны труды отцов церкви, иноческие уставы, отдельно хранятся труды армянских историков, начиная с Мовсеса Хоренаци и до «Истории» самого Анании Нарекаци. А вот «Толкование таинств литургии» и «Толкование церковной службы» опального епископа Хосрова — не сжег их настоятель, послушался воли католика.

Память Григора хранила все, что берегли эти книги, но прикосновение к переплетам, пергаменту радовало его, утешало: здесь, наедине с великими творениями человека, ему легче дышалось. Он взял из ниши «Толкование таинств литургии», которое когда-то сам переписал, вот на последнем листе его ишатакаран — памятная запись переписчика: «Милостью Божьей написана сия книга рукою епископа Хосрова Андзеваци, строгого последователя Божьих заповедей; не пристало мне хвалить его, дабы не впасть в соблазн, ибо он мой телесный отец: недостойн я называться ни сыном его, ни поденщиком по писанию...»

Игумен Анания смотрел на ученика: лоб прорезали морщины, лицо потемнело, как старая виноградная лоза. Помнит ли Григор, как он сказал ему и таким же мальчикам: «Дети, посмотрите друг другу в лицо. И через десять лет взгляните — вы увидите, как мысль облагородит ваши лица, наполнит светом очи, ибо мысль такой же творец человека, как природа».

— Владыка, чему ты улыбаешься?

— Вспомнил тебя мальчиком. Руки у тебя были в цыпках, язык ты высовывал от усердия, когда писал. Будь благословенны первые слова, и да не будет последних, да пребудет речь и письмена армянские нашей твердыней, спасением и жизнью вечной.

Вспомнил и Григор тот день, когда наставник, взяв его пальцы в свои, вывел пером прямые, прочные, прекрасные буквы. Буквы казались тайной — им

было пять с половиной веков, ему только шесть лет. Писать он любил больше, чем читать, — читать значило учить, заучивать, а письмо было таинством, открытием, иногда он думал, зачем человеку язык, если есть рука! Слова сказанные гасли, написанные оставались. Мудр был древний грич: «Рука моя уйдет, а письма останутся».

Иногда Анания отбирал у мальчика перо: «Иди поиграй». Григор выходил из монастыря и шел к морю; волны разглаживали желтый песок, чертить на нем было очень приятно. Однажды он долго сидел на берегу и вдруг увидел, как на горячий песок упала капля, еще, красные капли. Очнулся в прохладной келье игумена, с мокрой тряпицей на лбу.

— Вот и хорошо, лао, что ты открыл глаза. Попей козьего молока. И не сиди так долго на солнце.

— А почему написанное слово называют мертвым, а сказанное живым?

— Чтобы слово ожило, его надо выпустить на волю, тогда оно обретет звук, интонацию, смысл. Слово написанное — труд, а изреченное — радость. Аристотель считал главным отличием человека от других существ дар речи, ведь благодаря ему человек различает добро и зло, справедливость и несправедливость. На этих понятиях, Григор, зиждется все: человек и государство, вера и философия, все наши поступки. Вот почему бессловесные приравнены к животным, церковь запрещает им иметь детей.

— Но тогда от кого же родились немые?

— Бывает, что болезнь лишает человека слуха и речи, — ответил Анания, но вопрос смутил его, он поспешил отвлечь ученика. — Речь, как птица, дивно поет и высоко взлетает, а письмо, как рыба, ему ведомы глубины. Но как мир наш изречен и создан, так и человек наделен даром речи и письма.

С того дня Григор возлюбил речь и равнодушно смотрел на камышовую тростинку, чернила, и, хотя стыдился упреков старого грича Егише, ленился переписывать, небрежно очинивал перо, задевал рукавом ряссы глиняную чернильницу, но они, скромные орудия письма, терпеливо ждали, ибо в них явлены человеку знаки вечности. Что человек без них? Птица поющая, рыба плывущая. А мысль требует нескончаемого упорного усилия, продления от человека к чело-

веку, от поколения к поколению, от народа к народу, опыления иной культурой и привития к чужому дереву познания. Перо, чернила и пергамент ждали: он придет, возлюбивший слово превыше жизни, пусть не этот кареглазый инок, но другой, ибо горе народу, не родившему Пророка и Поэта.

— Вижу, как тяжело тебе, лао.

— Владыка, если жалеешь меня,пусти в пустынь.

— Григор, пустынь усыпляет страсти, но от человека требуется искоренить их. Знаю, как трудно понять себя, вот иногда думаем, что, любя Бога, ближнего можно не любить. Много я видел иноков... Иногда смотрю на вардапета Петроса — и вижу его юным, и католикоса Ананию вижу не первосвятителем, а робким послушником, ведь вместе мы начинали путь. Любили, когда игумен посылал нас троих ловить форель. Однажды игумен отлучился в другую обитель, а Петрос говорит нам с Ананией: «Зачем ловим рыбу, если никто из братии ее не ест? Все равно пропадет, станем лучше плести трехи<sup>1</sup>, а то братия разута». Вернулся игумен, а один брат пожаловался: «Владыка, пока тебя не было, нам ни одной рыбки не дали». Ничего не ответил настоятель, только спросил нас, как мы трудились, и мы принесли трехи. «А почему же вы рыбу не ловили?»— «Владыко, все равно ее никто не ест». Тогда игумен велел нам разжечь костер и бросить в огонь всю нашу работу. «Вот, братия, как вы ослушались слов моих, так я ни во что не ставлю вашу работу. Скольких венцов вы лишили братию! Разве не знаете, что, имея возможность утолить желание, мы отказываем себе в этом по любви к Господу, и за это нам воздастся; но как можем иметь такое упование, если воздерживаемся поневоле? Раз вы не ставили на стол рыбу, то и лишение вынужденное, и воздержание бесплодное».

Итак, смотрю я на тебя, Григор,— какой путь ты прошел, каким стал? Годы умножают только скорби. Как одежда изнашивается, так и тело стареет, седеют волосы, увядает красота, и когда это длится долго, тело становится могилой души, а дряхлый называется живым рупом. Увы, нет ничего прочного в мире,

---

<sup>1</sup> Трехи — лапти, сплетенные из кожи.

даже друзья и те поколеблены: умерли либо ушли, а бывает, по какой-то причине любовь обращается в ненависть. И на юных смотрю, думаю, какими они станут через тридцать — пятьдесят лет, умножат ли славу сей обители? И вижу, что многих тяготит обитель, ищут трудов малых, а почестей больших, иные и власяницы носят жесткие, а судят себя мягко. Вот брат Мхитар совсем воды не пил — ел снег или, как свинья, хлебал из лужи, отчего и помер. Брат Самвел десять лет в бане не моется, гниет заживо. А наши гричи переписывают книги, и нет у них другой заслуги, кроме терпения, и не думают, смиренные, что переписать сорок книг — все равно что храм воздвигнуть, переписавший же сто книг причислен будет к праведникам. Все святые армянские прославлены не чудесами или истязанием плоти, но просвещением народа, единением страны, ратными подвигами.

Игумен поставил в нишу книгу, сильно растер озябшие пальцы.

— Как пишется «гордыня» — *бардзамтутюн* или *бардзрамтутюн*?

Григор растерялся, меньше всего он думал сейчас о правописании, — сто раз писал слово, а тут вылетело из головы, писать «р» или не писать. Взял у игумена перо и, не думая, написал слово на уголке листа.

— Итак, душа трепещет, совесть корчится, а рука пишет. Ты замечал, что сама рука не ошибается? Вот и доверься ей, и больше не досаждай мне, что ты грешник, каких свет не видывал, — какая гордыня, какая мерзость! Думал, ты пришел с ответом, что готов потрудиться над толкованием Книги Иова...

Григор упал на колени перед игуменом.

— Владыко, молю тебя, отпусти. В пустыни исполню твою волю.

— И далеко ли твоя пустынь?

— Островок, его хорошо видно с берега, по левую руку.

— Знаю я острова нашего моря, бывал не только на Ахтамаре, но и в монастыре святого Георгия на Лиме, в пустыни святого Карапета Предтечи на Ктуце, знаю и островочек, о котором говоришь, три миндальных деревца там, — каким ветром их туда зане-

сло? Наверное, такие же строптивцы, как ты, ведь ни горсти земли там нет, одни камни.

Григор почувствовал, что настоятель смягчился, он уже видел себя выходящим из ворот обители, и Анания видел надежду в глазах инок.

— Жалко мне тебя, лао, так жалко! Возьми на пекарне лаваш и отнеси пустыннику Давиду, дорогу Корюн тебе расскажет, это недалеко от селения Джрвеж. А я к тому времени решу, как поступить с тобой.

Григор взял на пекарне хлеб, у келаря — вязаные толстые носки, струганые доски-снегоступы, набил сеном трехи и тронулся в путь. Дышалось легко, шлось ходко. Брат Корюн рассказал подробно всю дорогу, но когда стало темнеть, инок сбился с пути — красный каменный крест стоял на развилке, а он забыл, вправо от него идти или влево. Обошел крест, отыскивая следы, но не нашел. Так ходил, чтоб не замерзнуть, пока не увидел такого же инок, только постарше, горбатого.

— Благослови тебя Бог, брат мой, нет ли у тебя хлебца?

— На, брат, поешь.

— Что ж такой кусочек дал, вон у тебя сколько, — обиделся горбун.

— Не мой это хлеб, игумен велел отнести пустыннику Давиду.

— Чтoб ему камни грызть, а не хлеб вкушать! Вот иду от него, пустосвята. Шел с обидой на нашего настоятеля — сей нечестивый пастырь блудит с женой старосты, и вся братия знает, да помалкивает. Думал у пустынника найти утешение, а он прогнал меня: нет, говорит, в том греха, что муж возлежит на жене — сие в согласие с естеством человеческим, ты приди, когда твой игумен согрешит с козой. Тьфу, мерзость блудодейная!

Ничего не ответил Григор, но смутился такой повестью. Даже забыл спросить дорогу, но и по следам огорченного монаха ясно, куда идти. Еще не дойдя до пещеры пустынника, он почувствовал в чистом морозном воздухе вонь, как от мокрой псины, хотя и в кельях не благоухало ладаном, но от такой вони даже дыхание перехватило.



Старец спал на овчине, брошенной на снег. Григор хотел тихонько оставить хлеб и бежать отсюда, но старец, будто догадавшись о его мыслях, открыл глаза, поскреб брови.

— А, святая душа на костылях! Что стоишь, овца Христова, ложись на мое место, а я помолюсь за тебя, грешного.

— Не спать я пришел, честной старец, игумен Анания просил отнести тебе хлеб.

— А может, и сыр дал, да ты сожрал по дороге? Знаю я вас, тихоны! Дай-ка посох. Покрепче берись, потягаемся.

Григор развязал ремешки снегоступов, снял тре-хи, уперся пятками в твердые, как буйволиная кожа, подошвы старца, перехватил посох поуже, захотелось одолеть этого смердящего пустынного, но старец оказался могуч, кряхтел и крепко тянул.

— Теперь вижу, зачем пришел. Не хлеб ты мне принес, а свою немощь. Ступай прочь, пока не пришиб тебя. Ишь, смиренник! Плотью истощен, зато душой раскормлен, и где тебя научили такой мерзости?

— Из Нарека я.

— Так это у вас семь вардапетов крестили девочку, а нарекли Карапетом? Слышал, слышал про ваших мудрецов. Говорят, есть там у вас монашек Григор, алкает жития пустынного,— этот точно в сети дьявольские угодит, только бесам от него пожива, а Господу одно огорчение.

Старец схватил камень, лежавший в изголовье вместо подушки. «Ну, сейчас прибудет меня»,— подумал инок, но Давид, как дурачок, ставил камень на овчину острием, а тот падал. «Да это и правда сумасшедший, смеется он, что ли, надо мной?» Григор взял камень и положил.

— Ну, брат, сразу видно, что ты ученый, ишь как ловко с камнем справился. А зачем же себя тщишься поставить острием, встать на голову? Что ты знаешь о людях, чтобы прощать их? Что знаешь ты о страданиях, чтобы досаждать Господу? Иди, ищи людей, их пожалей, а не себя.

— Прости меня, честной старец, и вразуми.

— Не придумано еще вразумление для глупого. А совет дам: забудь слова. Но если чувствуешь в се-

бе великое, говори, и не бойся — большие горы Богом созданы, а маленькие от страха вылезли.

## 5. Остров

Даже сквозь сон Григор слышал щелканье капель, они набухали на сыром своде пещеры, падали, выбив за многие годы глубокую каменную чашу, полную безвкусной холодной воды. Он спал чутко, как настоженный самострел, стоило уху уловить шорох дождя, скрип дерева, стук камней, пережатых волной,— и стрела страха поражала мозг; плотнее натягивал ветер, с головой кутался в овчину, закрывал глаза — и сразу вспыхивали зеленые искорки бесовских глаз, полчища их с крысиным писком протискивались в узкий лаз пещеры. Он вскакивал, сжимая посох, дико озираясь.

Он не мог спать, не мог есть. Пустынники вкушают пищу раз в сутки, при звездах, ибо в темный час темная пища дается темному телу — так учили великие пустынники Антоний и Кронид, призванные Григорием Просветителем из Кесарии; словно звери, бродили они в горах, собирая травы и коренья, жили среди холода и зноя, как лишайники на камнях, птицами гнездились в пещерах, и слезой их воскрешались мертвые. Но сейчас Григора поражала не их святость, а то, как сберегли они облик человеческий, не озверели, не обеспамятели, не сошли с ума?!

Первые недели он не мог даже молиться; каждое слово, сказанное вслух, громом отдавалось в пещере; молитва здесь, на острове, обрела грозный смысл, каменной тяжестью придавила разум, язык немел. Какое же мужество и бесстрашную душу имели те, кто отважился молиться за всех людей, рассеянных в пространствах земли,— поистине, таким заступникам ведомы все страсти и тайны человека.

А он не мог молиться, какая-то сила удерживала руку, запечатывала уста: умолкни, грешник, недостойн ты молитвы, она мера неизмеримая, сущность неизъяснимая, а ты предатель отца, слепец с глазами, полными тьмы, глина всхлипывающая, тина словесная, ишь как гордыня тебя растопорщила, а тут сразу ужался, скорчился! Что, страшно дочиста выжечь

раскаленным железом гной в зараженной душе, хотя бы сунуть палец в гортань, рвотой извергнуть скверну, которая не дает дышать?

— О Боже, не умножай моих прегрешений, не карай наказанного, не трави загнанного, не добивай раненого, не изрыгай изгłodанного! Я глиняный сосуд, некогда чистый и твердый, а ныне треснувший и обколотый; снова поставь меня на вертящийся круг, вновь обожги огненным дыханьем. Услышь меня, Боже мой, ведь я один из людей.

Люди... Один всю жизнь возделывает крошечное поле, другой заставил содрогнуться половину мира, но разве значит это, что один ничтожен, а второй велик? Нет, человек не капля — он море, гора, а не песчинка, в нем есть все, что существует на земле и на небесах, поэтому и грешен он и праведен, бесстрашен и запуган, бессилен и велик, а душа его — тьма и огонь.

На берегу, темном в слабом предутреннем свете, горит костер — рыбаки греются со сна перед выходом в море. Семеро их, на двух лодках, старшим у них кривой Апик, младший брат состарившегося Гоха. Вот ведь как мир устроен: один разбойничал на море, грабил корабли, и ничего не стоило ему бросить человека рыбам, а другой всю жизнь ловит рыбу и никому не причинил обиды.

Григор часто видел рыбаков, но они редко приставали к острову — грех тревожить пустытника. А так нестерпимо хотелось иноку услышать человеческую речь!

Огонь — радость и спасение пустытника. Едва дождавшись рассвета, Григор обходил островок, собирая плавник, водоросли, обломки досок — просмоленные, высушенные, они жарко горели, но море дарило их редко. Сидя у костра, пустытник смотрел на волны — горбатые, как верблюды, тяжело груженные кораблями; золотое солнце рисовали на выпуклом крепком борту хлатские корабельщики, ванечи — краснокрылого орла, артамедцы — яблоню, татванцы — лук и стрелу. Корабли везли в трюмах зерно, виноградное вино, шерсть, соль, слитки серебра и меди, знаменитый армянский пурпур, мед, кожи. А где-то тревожились жены купцов, матери мореходов, ждали на берегу мужей и сыновей. Тяжело быть женой морехода,

война, купца — тревожны ее дни, одиноки ночи, скоротечны радости, велики печали.

Море, сапфировое во тьме, вдруг брызнет бегучим светом, на мгновенье озарив скалистые острова, чистейшую зелень мелководья и синеву глубин. После заката все окутывает тишина, не кричат чайки, волны накатывают на берег, нежа желтоглазых ванских кошек — эти зверьки с густой белой шерстью любят разгуливать под дождем, никогда не ловят мышей, поэтому и не держат их в монастырях. Три или четыре их, давно обжив островок, свирепо шипели на Григора и поначалу пугали его — только говорится «кошки», а ростом они с собак и свирепее псов, стоит хоть раз увидеть, как расправляются они с громадной рыбиной, чтобы в соседстве с ними не чувствовать себя спокойно.

Море светлеет. Рыбаки вышли на лодках ставить сети, нежатся кошки на отмели, солевары насыпают на берегу песчаные валы — волны перехлестывают их, а солнце выпаривает соль, чайки стремительно ныряют в воду, едва виднеется вдали парус, чуть слышна песня.

Часто, сидя у рдеющих углей, Григор смотрел на звезды. Месяц за месяцем одно и то же: море, островок, молитва, звезды, но каждый день другими были море и звезды, заря и закат, и все это наполняло его, накапливалось, бродило, иногда он казался себе таким же деревцем, как корявый миндаль, — что-то и в нем поднимается от корней к стволу, растекаясь по колючим ветвям, набухая крошечными завязями, которые когда-нибудь лопнут и развернутся в зеленый лист, розовый цветок, крепкий горький плод. Но все это, пока непостижимое и невыразимое, накапливающееся с каждым днем, причиняло боль. Он поднимал глаза и видел серебряную звездную зернь, неисчислимо рассеянную по фиолетовому, изумрудно мерцающему небу, — из этой бездны Бог неусыпно зрит его; ощущение наготы было так сильно и неприятно, что Григор ощупал рясу, на нем ли она? Но на душу не накинешь покров, чувство постоянной наготы, обнаженности усиливалось, мучило, по всему телу высыпала багровая сыпь. Забившись в угол пещеры, скорчившись, пустынный стиснул кулаки, словно зажал в них нестерпимый зуд, но терпения хватило не-

надолго — будто изжаленный пчелиным роем, он бросился к морю, срывая рясу, потную рубаху.

Так и застал его — по горло в воде — инок Ншан, приплавивший пустыннику съестное. Молча снес на берег хлеб, соль, овечий сыр с прожилками пахучих трав, перекрестился и торопливо погреб веслом к низкому мысу, что высунулся в море серым языком.

Морская вода у берега соленая, как рассол, с тухлым запахом, зато сыпь прошла, кожа стала чистой, гладкой. На камнях сушились постиранная ряса, вестгар, пояс, а крепко выжатую рубаху Григор надел, дрожал от холода, не мог высечь искру из кресала, запалить трут. Он дышал на пальцы и так ясно представил несчастного Иова в разодранной одежде, присохшей к гнойным язвам, с клоками волос, водорослями облепивших расцарапанное лицо! Страдание сделало его зрячим: став сырым, увидел сырых; пораженный язвами, увидел прокаженных; обездоленный, увидел обездоленных.

Но все мало сатане; замыслил он, унизив праведника, посрамить и Творца его. О, бесчисленно повторялось такое среди людей! Приходил вельможа к царю и наушничал: твой слуга замышляет против тебя. И хватали невинного, бросали палачам. Спрашивает царь вельможу: «Сознался раб лукавый в злоумышлении?» — «Нет, государь, славит тебя». — «Значит, он еще опаснее, чем я думал. Жгите его огнем, рвите с его пальцев ногти, тогда скажет правду». — «Упорствует, государь, славит имя твое». И не ведает царь, что казнит самого верного своего слугу, и не знает слуга, что по царской воле казнят его, невинного. Но чем, если не страданием, человеку доказать свою правоту? Чему же тогда верить, если не слезам?

Вопиет Иов, но вместо утешения слышит друзей благоразумных: ты страдаешь, Иов, значит, виновен. «Но в чем, в чем?!» Господь знает, отвечают они. Но и Яхве не знает, ибо ни в чем не виновен перед ним страдалец. И тогда Иов требует на суд Яхве, как обвиняемый истца, — и Бог явился, чтобы свидетельствовать, и Слово его было как гром, как штормовое море, как землетрясение.

Вместе с Иовом содрогнулся Григор зрением и слухом; как корабль, терпящий крушение, вера его

отчаянно хваталась за разум, не в силах принять произвол Создателя. Почему Иов не разможил голову о камень, не удавился, терпя двойное бедствие — страдание и непонимание? Сам Григор, не медля, стал бы самоубийцей... если б только последнее своеволие не ввергло его душу в глубочайшую из бездн, не лишило навечно надежды на спасение. Но разве это не самая ужасная кара — отнять у погибающего право на самоубийство?! Разве может человек терпеть необъяснимые мучения? Неужели прав католикос: «Возлюбил, вот и мучил»?

Да, все так... и все не так. Если так, Книга Иова ничем не отличается от детской сказочки, прописных назиданий, как и толковала ее сотня мудрецов: «Яхве дал, Яхве и взял — благословенно имя Яхве!»

Наступила зима.

И прошла зима.

Мысли Григора оттаяли, с радостью смотрел он на цветущий миндаль, словно окутанный розовым облачком цветов и аромата, — не верилось, что корявые, скрученные ветром деревца живы. И снова он бился над Книгой Иова, не в силах понять, где скрыта ее тайна.

...Он сидел на корточках, пек рыбу на углях. Соль кончилась, а тарех<sup>1</sup> попался жирный, жир капал и шипел. Такую рыбу можно и коптить, и вялить, но тут уж не отходи ни на шаг, — кошки только и ждут поживы. Им тоже надоела сырая рыба, особенно одной, с черным на конце, горностаевым хвостом.

Втащив трепыхающегося тареха на лобастый пригорок, она села, свернув хвост кольцом, часто принюхивалась, мяукая от нетерпения, а из-за глыбы известняка за ней следил кот пятнисто-дымчатый, как рысь; хотя рыбы в море хватало на всех, этот лежебока целыми днями нежился на отмели, выжидая, чтоб поживиться чужими объедками или, как сейчас, терпеливо карауля. Долго сидела кошка, зевала, заметила шарик из иголок хвои, выброшенный волной, ей захотелось поиграть — и тут же кот стремительно бросился из укрытия, схватил тареха, уволок под

---

<sup>1</sup> Тарех — съедобная рыба оз. Ван, напоминает сардину или салакушу.

глыбу. А кошка поиграла, вернулась, растерянно обнюхала место, где только что лежала рыба.

Этот пятнистый кот крал и у Григора. И зверьков, и человека забавляла игра: если пустынный долго не ловил тарехов, кошки сами приносили рыбу, и не одну, а две, словно подсказывая: одну съешь, а вторую завяль, и стереги, если устережешь. Они привыкли к голосу Григора, иногда садились полукругом и слушали, а он, уже не смущаясь, молился и толковал Книгу Иова. Страх прошел. Теперь он радовался всему: цветам миндаля, жареной рыбе, кошкам, радуге, парусу. Иногда, когда он слишком много говорил, кошки, переглянувшись, фыркали, — Григор смущался и не выходил из пещеры, пока не замечал рыбу, подброшенную к лазу.

В ветреную погоду тарех уходил на глубину, и сразу исчезали кошки. Григор скучал без них. Вот и сейчас на островке осталась лишь одна, с горностаевым хвостом, недавно окотившаяся; она вылизывала беспомощных котят и свирепо шипела на Григора, если он проходил мимо. Забыта прежняя дружба — вот что значит мать.

Подоткнув за пояс подол рясы, Григор умылся и долго смотрел в зыбкое отражение, с трудом различая горбоносое лицо с низким лбом, густыми бровями, отросшей бородой. Сколько лет этому иноку — тридцать, пятьдесят? Он так задумался, что чуть не сжег рыбу на костре, обжигаясь, вытащил, но затлел рукав рясы, пришлось намочить его.

Сухой воздух прозрачен, безоблачное бирюзовое небо слилось с яркой синевой моря. Далекий берег изогнулся громадным полукругом от черной Ванской скалы до потухшего вулкана Сипан, распростершего по всему горизонту могучие отроги — желто-серые, с фиолетовыми тенями.

Григор сидел на вершине скалы. Правая рука на колене, левая прижата к сердцу — за долгие годы духовных упражнений он научился одной лишь позой отрешаться от мира. Глубокая тишина, покой. И вдруг он ясно почувствовал беспокойство, словно кто-то его звал на помощь. Море спокойно, тишина, только чайки кричат, ловят рыбу. Нет, они падали и круто взмывали, не касаясь воды. Прикрыв глаза ладонью, пустынный увидел едва различимый предмет.

Обломок доски, весло? Но давно не было шторма. А тревога нарастала, он чувствовал, как ладонь вздрагивала от ударов сердца. Сбежал на берег, не зная что делать, жалея, что он не кошка, умеющая плавать, не рыба, а всего лишь человек. Поднявшийся ветер подгонял предмет, глаза слезились от нестерпимой синевы. Он опустил голову, подождал, пока рассеется чернота в оранжевых точках, еще подождал, быстро взглянул и разглядел... колыбель. Как лодочку, подгоняло ее к острову, уже видны медные кольца, даже веревки, которыми ее подвязывали к потолку. Но откуда в море колыбель? Все ближе, и ни звука, ни плача — может, чайки заклевали дитя, или спит оно, убаюканное морем, или пуста колыбель? Отсюда не видно, зато Григор заметил, что изменившийся ветер теперь относит ее от островка. Холодная вода обожгла, страх тащил назад, вдруг дно оборвалось под ногами, он бешено заколотил руками, рванулся к свету, глотая воду, и долго, отчаянно барахтался, пока с размаху не ударился, содрав костяшки пальцев,— колыбель! Вцепившись в нее и едва не утопив, он, дрыгая ногами, толкал ее к берегу, пока совсем близко не увидел дно с белыми камнями.

В колыбели лежал младенец. Тонкий серый войлок, устилавший колыбель, намок, сбился. Мальчику было года полтора. Костяной крестик прилип к животу.

Григору мало довелось крестить. Умиравших причащал часто, венчал многих, но ни венчание, ни даже последнее причастие не преображали его душу так, как таинство крещения. Каким счастьем было первое крещение! Он устал после всеобщей, а священник заболел, и игумен велел крестить ему. Когда увидел распеленутое дитя, юную мать в вишневом платье, подпоясанном кушачком из голубого шнура, стыдливо закрывшую лицо легкой вуалью, вышитой золотой нитью, взглянул на молодого отца, горделиво крутившего тонкий черный ус, крестных со свечами,— почувствовал такую радость, что усталость сразу прошла. Тишина стояла дивная и в храме, и в душе, крестил с ликованием, дав девочке царственное имя Такуи — будь его воля, всех армянских девочек Григор назвал бы так.

Он осторожно обмыл младенца в море, вытер кру-



пное тельце подолом рясы, мальчик пыхтел, вырывался, тарашил черные глаза.

— Человек начинается с имени. Меня назвали Григор, что значит бдящий, вот и не сплю, бодрствую, а если бы спал, унесли тебя волны далеко-далеко. Слушаешь, наверное, и думаешь: что это за дядька с бородой? Хочешь, накормлю тебя хлебом и рыбой, больше у меня ничего нет.

Мальчик пожевал мелкими, едва видными зубками кусочек рыбы, плаксиво сморщился.

— Не вкусно? Конечно, для тебя нет ничего слаще материнского молока, но где твоя мать, ягненок, где твой дом? И рыбаков не видно.

Григор отнес рыбку кошке, та зашипела, но не двинулась с места. Выбрав место поровнее, инок растелил овчину и перенес дитя, а сам ушел в пещеру, молиться. И не видел, как кошка подкралась к младенцу, тронула пушистой лапой ножку ребенка и припала к земле, поняв, что перед ней не враг, но не решив, добыча это или забава. Обнюхав дитя, она перетаскала всех котят и сама растянулась на черной пригретой овчине, зажмурив янтарные глаза.

Помолившись, Григор вылез из пещеры и не поверил глазам: кошка дремала, а дитя тянуло ее за хвост. Он сел на камень, поманил мальчика:

— Иди ко мне.

Но мальчик даже не посмотрел на инок, ползал по овчине, не выпуская пушистый кошкин хвост.

Григор погромел четками, как погремушкой, пощелкал пальцами — детям почему-то нравилось, когда так щелкают, щелчок притягивает их, как магнитом — что там спрятано в руке, откуда раздался звук. Но мальчик возился с кошкой, словно не слышал.

Когда ребенок уснул, монах отнес его в пещеру. Сколько раз он видел во сне эту белую шейку с завитками черных кудрей, целовал пухлые сладкие пальчики — и просыпался в слезах. Плоть порой так одолевала его, что он становился бешеным, но с годами научился обуздывать желания, только от нестерпимой тоски по отцовству не спасали ни пост, ни молитва, и чем старше он становился, тем сильнее хотелось ему ребенка. Как он завидовал тем, кто принял иноческий чин, будучи отцом! Тысячу раз вспоминал он Ваче, уже на алтаре отказавшегося от пострига, — где

он теперь, в какую даль занесло армянскую конницу, женился ли маленький Ваче? Господи, спаси война, укрепи его десницу, оборони от врагов! И от Ухтанеса нет вестей. Написал ли свою «Историю»?

Мальчик беспокойно ворочался, чмокал во сне, наверное, искал материнскую грудь. Скорее бы приплыли рыбаки или брат Ншан, пора ему навестить отшельника, неужели ни у кого в обители сейчас не дрогнет сердце, ведь не один он теперь на острове, двое их!

Утром он долго ходил по берегу, пока отыскал два гладко обточенных волной серых камушка с белыми прожилками, с дырочками, нанизал на крепкую, как веревка, водоросль, постукал над головой мальчика, стучал, пока бессильно не опустились руки. В отчаянии крикнул в самое ухо:

— Анасун!

А мальчик улыбался, ухватив себя за ножку. Глухой! Потому и вырвалось у отшельника страшное слово, которым называют бессловесных, — ведь тот, кто не слышит, никогда не сможет говорить, на всю жизнь останется бессловесным животным.

Ншан приплыл на четвертый день. Григор встретил его на берегу, держа мальчика.

— Что это у тебя в руках, брат Григор, неужели кошка? Богородица пресвятая, да нет ли тут с тобой какой-нибудь отшельницы?!

— Море мне послало это дитя, прибило к острову колыбель. Видишь, крещен мальчик, пусть игумен отдаст его кормящей матери, а я вернусь и позабочусь о нем. Только не слышит, бедненький.

И пожалел, что сказал, — чего доброго, отплывет брат Ншан подальше, да и утопит дитя, как котенка, ведь для церкви немые хуже прокаженных, не считаются за людей.

— Мал он еще, брат Ншан, потому и не говорит. Ошибся я.

Монах сел на весла, отодвинув ногой колыбель, перекрестился.

— Ладно, не мое это дело, пусть владыка Анания сам решает. Шлет он тебе хлеб и сыр, а в коробе все нужное для письма, и велел напомнить, чтоб ты поторопился.

— С чем поторопился? — не понял Григор.

— Он сказал, ты сам знаешь. А теперь скрепи сер-

дце, брат Григор: настоятель монастыря св. Якова прислал весть, что отец твой, мало поболев, преставился. Господи, упокой грешную душу раба божьего Хосрова. Помоги столкнуть лодку.

Трое суток, сгорбившись, сидел пустынный на камне, не замечая, как пристали к острову и снова ушли в море рыбаки, как шел дождь, как после дождя вспыхнула над морем радуга. Не для того ли Бог послал ему Анасуна, чтоб напомнить об отце, который на исходе жизни так нуждался в сыновней заботе? Но чем он, Григор, заслужил милость Господа? Это Иову Бог за тяжкие страдания возвратил детей, остановил течение бедствий и повернул жизнь праведника, как реку от устья к истоку, вдвое умножил стада овец, быков, ослиц, верблюдов, вернул отнятых братьев и сестер, послал семь сыновей и трех дочерей-красавиц и назвал счастливый отец первую Йоима — Горлица, вторую Кеция — Корица, а третью Кэрэн-Гэпх, что значит Рожок-с-Притираниями. Назвал... Почему назвал, если они раньше были? Неужели Яхве дал других детей Иову? Но ведь Господь всемогущ, а значит, мог вернуть тех сыновей и дочерей, или по головам он их считал, — сколько взял, столько и дал? Господи, что ты натворил!

Он почувствовал вкус крови на губах, словно сердце разорвалось от горя и горлом хлынула кровь. Нет, не толкование Книги Иова он напишет, — другую, свою Книгу, о страдании человека! Но как поведать такое, как вместить все скорби людские, как, из чего сотворить эту Книгу, чтобы прознали о ней все люди, чтобы пригвоздить ее к вратам людского рассудка, нестираемо запечатлеть в сердцах, дабы каждое слово кричало о зле, гремело громовой трубой из огненно-красной меди, чтобы его плоть живая превратилась в пергамент, душа потрясенная — в скорбные вопли с ясным звуком надежды?

Громадный, непосильный для человека труд, тяжесть которого невозможно представить, о сроках которого страшно даже подумать! А разве легче дать письменность народу, как вардапет Маштоц? А утвердить веру, как Просветитель, легче? А обнажить меч против неисчислимого врага, как князь Вардан? А вырубить дивный храм в скальной толще? Разве они

спасали себя — учитель, первосвященник, полководец, создатель? Нет, народ свой! Потому и не знали страха, сомнений, усталости. Да, люди проходят, как тени, но дела их — как скалы.

К островку приближались две лодки. Старший рыбаков, кривой Апик, показал, куда пристать, кому сушить весла, а кому дружной грести. Пусты лодки, всего-то десяток тарехов сонно шлепают хвостами, хотя промокли рыбаки, — видно, забрасывали невод, а вытянули одну траву, вот и пристали распутать и просушить сети.

— Прости, святой отец, что потревожили тебя.

Апик снял шапку, поклонился, следом за ним и другие.

— Что-то небогат ваш улов.

— Ветер, рыба его дня за два чует, уходит на глубину. Вот и пришлось нам черпать воду, а тянуть пустой невод еще тяжелее, чем полный, — и не бросишь сети, и без пользы твоя работа.

Это и Григор не раз замечал, удивлялся, — как ни старайся, не наполнишь решето водой, а вот море тянуть сетью — руки до кровавых мозолей натрудишь, так, что и во сне тянешь бечеву, а проснешься, ладони горят.

— Может, я вам чем помогу по-соседски?

— Помолись за нас, остальное мы сами сделаем. Завтра день будет хороший, — видишь, святой отец, как солнце медленно гаснет, омытым опускается в море; там, на дне, поживает после дневного пути, завесы в его опочивальне затканы белоснежными и багряными облаками. А в глубине таятся огромные чудовища — вишапы, баламутят море, вздымают волны, нагоняют свирепый ветер. Тысячу лет сражаются с ними ангелы, тянут вишапа к солнцу, от сильного жара вишап рассыпается на куски, — в такие дни море окутывает густой туман, гремит гром, земля дрожит, и с неба сыплется пепел. Говорят, раз в тысячу лет ангелы побеждают вишапа, а тысячу лет вишап побеждает людей.

Видел Григор, как побеждает бедствие, а люди терпят поражение.

...Корабль, сотрясаемый ударами остервенелых волн, то взмывает на гребень, то падает в бездну; хрустнули весла в уключинах, вздыбилась корма, тре-

щит мачта, но еще держится на растяжках снастей, вьюга рвет парус, обледенелые канаты бичами хлещут команду, навалившуюся на громадную рукоять руля; крича, сбрасывают якорь, но он, подобно тарану, проломил правый борт — вода хлынула в трюм, припои медные вздулись, из гнутых дубовых брусьев вырвало железные кольца, к которым надежными узлами вяжут груз, корабль накренился, сразу заклинило руль, и кормчий, зажав руками рот, чтобы не изрыгнуть хулу на Господа, смотрит, как гибнет корабль. Долго теперь придется матери ждать сына, жене мужа, детям отца, — волны швыряют обломки, и они, будто живые, скрипят, жалобно стонут. Но снова в Ване и Хлате, Арчеше, Беркри, Ахтамаре грузят суда, выбирают якоря, ставят квадратные паруса, снова мореходы ведут корабли по солнцу и звездам.

— Видел я, Апик, как люди терпят поражение. Только страданием можно оправдаться перед Господом, — чему же еще он поверит, если не слезам нашим и молитвам?

— Если б от Господа были наши страдания... — Апик вздохнул, прищурил единственный глаз. — Прошлой весной пришел к Каро староста с двумя стражниками, выбросил из дома все, даже квашню с тестом, а самого до полусмерти избili.

Каро, о котором говорил рыбак, молча распутывал сеть, выбирал из ячей бурые космы водорослей.

— За что?

— Да разве у них спросишь? Живем — молчим, и умираем молча. А что у нас брать, мы люди бедные, — мышь упадет, и та голову разобьет. Эй, Каро, Погос, разожгите костер, угостите святого отца свежей рыбкой. Правду говорят, бедняк нуждается в хлебе, а богатый во всем. Видно, и на том свете мне спать на камнях, а нашему старосте нежиться на пуховых подушках, — отпишет монастырю землю или рыбную тоню, вот и будут за него монахи молиться.

— И за бедных мы молимся, и за богатых, за всех христиан.

— Эх, святой отец, пусть даже тысяча женщин станет кричать, а больно все равно одной роженице. Бог-то, может, и слышит твои молитвы, да староста наш не услышит, а уж про князя и говорить нечего. С овцы хоть шкуру дерут, а с нас и шерсть, и

рыбу, хлеб, дрова, даже ягоды велют собирать да варенье варить. И не дай бог, если твоя дочь приглянется господским холоуям!

— Несчастный, да на тебе креста нет, если не веришь ты в покаяние и святую молитву!

— Зато братец мой Гох верит, всю жизнь грабил купцов, а где теперь его грехи? Ваша же братия замолила. Э, что говорить: кто мед продает, тот и пальцы облизывает. Вот и от ваших молитв кому сладость, а беднякам вроде меня одна горечь. О Господи, дай нам хоть часть твоего горнего Иерусалима, раз уж умираем мы за Тебя каждый день. Неужто никак не оплатим свой долг Тебе, неужели ради блаженства на том свете бесконечно терпеть нам несправедливость на земле и даже кровью нашей не искупим грехи?

Рыбаки у костра и четверо, растаскивавших невод, смотрели на отшельника и Апика.

— Прости меня, Апик.— Григор поклонился рыбаку.— Кто я, чтобы укорять тебя? Ведь я сам грешнее тебя, меру моих прегрешений можно сравнить лишь с грудой песка, и то песчинок там меньше, чем неправедных моих дел.

Рыбак испуганно перекрестился — уж не бес ли вселился в монаха? Возводит на себя напраслину, размахивает четками, словно хлещет себя плетью. Будто услышав мысли Апика, Григор простер руки, грозя кому-то, тяжелый голос вскипел яростью.

— Вот сейчас, грешник, выложу все твои грехи, что ты жадно копил, прятал в сердце, как в сундуке окованном: беззаконие, грубость, суесловие, сумасбродные помыслы, похоть бесстыдную, неуместную смелость, воздание злом за зло, криводушие, любовь к гнусности!..

Ты рыбак, Апик, и поймешь меня: наша жизнь подобна морю, и как на дне его таятся чудовищавишасы, так и человек — бездонноеместилище грехов. И вот я задумал выковать из слов кольчугу, чтобы она защищала души от стрел, которыми люди безжалостно поражают друг друга и самих себя; как ты вяжешь сеть из крепкоскрученных нитей, так и я задумал сплести из неразрывных слов сеть, которой уловятся злые желания людей, все грехи, ко-

торые я перечислил, и те, что нельзя рассказать или записать, нельзя даже представить.

Мало что понял из этой яростной речи кривой Апик; как это одному человеку выловить всю рыбу в море? А грехов-то, наверное, не меньше. Но видел, что рыжебородый отшельник не испугается, не отступит от своего.

— Трудно мне понять твои слова, святой отец, слишком они мудреные, но ты решился на великое дело,— может, и спасет нас твоя молитва.

Капает вода. Откуда она просачивается в каменную толщу? Сыро в пещере, желтоватый известняковый свод закопчен дымом, в холод и дождь Григор разводил огонь здесь. Возле очага настелены сухие водоросли, прикрытые потертой овчиной, кувшин и чашка на плоском камне,— хочешь пиши, хочешь сиди, смотри на море. Вот и еще одна весна прошла, дожди миновали, цветы расцвели, снова слышен голос горлицы в нашей стране.

Ветер крепчал, вспенивая волны, над Варагом рдело закатное зарево, но вдруг потемнело, сгустилось, небо расколосось **огненными раздромами**, Григор зажмурил глаза, а когда открыл—увидел на берегу мать с младенцем, густые черные волосы заплетены в косы, синяя накидка распахнута ветром, грудь светозарная словно алых роз полна, осиянно лицо юной матери.

— Григор, не печалься, снизойдет на тебя благодать и милость.

— Кто ты, мать, что говоришь мне это?

— Я мать Божья.— Она положила белую, как голубь, руку на кудрявую голову мальчика.— Прими твоего желанного, прими Господа.

Он упал на колени, а когда поднял лицо, свет померк — только песок, волны, небо.

— Господи, возьми мою душу, больше мне ничего в этой жизни не надо!

А волны перекатывали камни, в их перестуке слышалось *ар-тер, ар-тер*, что означает «Прими Господа». Отныне маленький островок не был для него безымянным, пусть называется Артер. И труд задуманный больше не казался непосильным. Он поднял камешек и начертал на плотном, как пергамент, песке *хоск* — слово. Да будет оно первым словом его Книги.

Брат Ншан греб ровно, без брызг. В закатных лучах море мерцало, вспыхивало синим сапфировым огнем; за кормой нескончаемо расстилалась зыбкая дорожка такой красоты, такой парчовой переливчатости, что кажется,— опусти ноги за борт, коснись воды босыми ступнями — и пойдешь, не омочив ног.

— Какая красота, брат Ншан! Если бы душа наша вместила хоть каплю ее, мы были бы спасены. Почему же не можем сберечь в себе чудо? Ничего не слышим, кроме своих слов, потому и наш голос во вселенной звучит все глуше. Ведь даже праведник Иов не верил, что Господь различит его молитву. Почему, брат Ншан?

— Не нашего ума это дело, как отцы наши молились, так и мы, грешные, молимся. Сядь за весла, трудно грести и говорить, что-то одно надо делать.

Ншан перешел на корму, сел на овчину, зачерпнул за бортом воду, омыл пот с лица. А Григор теперь видел свой Артер, маленький островок, три миндальных деревца на вершине скалы машут ему руками...

— Может, когда-то и жили праведники на земле, брат Григор, а может, и не было их никогда, а только, думаю, тот был святым, кто назвал человека человеком, хлеб хлебом, море морем, рыбу рыбой,— вот он знал все о жизни.

— Воистину так, брат Ншан, много света в твоих словах. Да, все, что окружает нас, давно названо. Но как назвать то, что в самом человеке? Разве не пришло время для таких слов? Ведь если человек не станет себя обманывать и притворяться и лицемерно делать вид, что от него ничего не зависит, то через познание самого себя он почувствует общечеловечность своего естества, поймет, что он человек, и сохранит в себе меру совести. Кто видел свет, тот зренья не утратит.

## 6. Анасун

Игумен Анания сидел прямо, хотя нелегко это ему давалось. Но что боль в спине по сравнению с испытаниями, которые выпали стоявшему перед ним иноку: плоть к костям присохла, руки так огрубели, что можно в ладони, как в кадиле, возжечь ладан, в под-



стриженную рыжую бороду густо вплелась седина. Что он увидел там, на острове, откуда в карих глазах кровавой след?

— Вот и вкусил ты жития пустынного, Григор. Нет веры в том, кто ропщет: слаб человек. Плоть наша слаба, верно, но человек силен не силой, а постоянством усилий, душой своей силен. Вот и ты непрерывным размышлением понял такое, что я никак не мог понять: *других* детей дал Бог праведнику Иову. Теперь вижу, достоин ты вардапетского посоха. Строг я был к тебе, да, заставлял тебя, слабого отрока, тесать крепкий камень, когда мы строили нашу обитель. Зачем, разве без твоего камня не воздвиглись бы стены? Но большой смысл в этом — внести посильный труд в великое дело: сколько бы лет ни прошло, ты всегда узнаешь свой камень среди тысячи камней, приложишь руку и узнаешь. Зодчие строят города не из городов, храмы не из храмов — все воздвигается из камней, но прежде человек, потом его деяния, и нет деяния, если вначале нет человека.

— Владыка, брат Ншан, наверное, рассказал тебе о ребенке, волны прибили колыбель к островку, и я подобрал дитя. Где же теперь мальчик?

— Хочешь увидеть своего Анасуна? — спросил настоятель. — В Нареке не было кормилицы, я отдал мальчика женщине из Цнунда. Не стану тебя удерживать, но будь осторожен, — многие из братии ропшут на тебя, считают найденыша сатанинским отродьем, брат Гевонд даже божился, что видел у ребенка хвост, я строго наказал его за глупые рассказы, но поспешил отдать мальчика подальше от обители.

— Владыка, но почему церковь даже прокаженных считает людьми, а немых проклиняет?

— Григор, вспомни слова Давида Анахта, трижды непобедимого философа армянского, его определение человека: «существо разумное, смертное, прямоходящее, способное рассуждать и восприимчивое к науке». Пятьсот лет назад так написано, с тех пор человек не изменил свою природу, и существо без разума, без речи не человек, а скот бессловесный, *анасун*. Тебе ли, моему ученику, объяснять это? Недоступно немому покаяние и молитва, как же можно считать его человеком?

— Да, владыка, язык бессловесного мертв, но ведь

руки его живы! Разве наша обитель воздвигнута языком, а не руками? Разве не рукой написаны труды Давида Анахта? Ведь и ты согласишься, что мальчик такой же смертный, как мы, а восприимчив ли он к науке... Правильнее спросить, способен ли к обучению? Да, если его учить. Ведь наши простолюдины не знают грамоты, но кто осмелится их считать животными? Ученик Сократа киник Антисфен, слова которого приводит Анахт, говорил: «Человека вижу, но не вижу человековости; лошадь вижу, но не вижу лошадности; вола вижу, а воловости не вижу». Тем самым он хотел показать, что частное и чувственно воспринимаемое существует, а общее и мысленно постигаемое — нет. Не впадаем ли и мы в такое заблуждение, пытаясь определить человековость самым явным признаком — речью? Владыка, ты сам наставлял меня, что молитву творят не языком, а душой искренней, слезами горячими. Но разве слезы немых не так же горьки, как наши? Разве они не люди?!

— Ты слишком далеко ушел в своих рассуждениях, сын мой, смотри не заблудись. Вижу, думал ты на острове не только о праведнике Иове, и еще вижу: самое опасное у тебя позади, но самое трудное впереди. Уже и государь Гурген, наслышанный о тебе, просит, чтоб ты написал для него «Толкование Песни Песней». Не откладывая исполнение царской воли. Когда окончишь труд, велю его переписать, в нашем матенадаране есть «Толкование Песни Песней» Оригена, Григория Нисского, вардапета Есайи, будет и твое, вардапета Григора Нарекаци.

— Прости, владыка, но царям без пользы толкования, они куда искуснее умерщвляют, чем воскрешают, постоянно совершенствуя искусство смерти. Время ли сейчас для толкований? Ведь народ наш подобен Анасуну, — бессловесный он, безъязыкий, кто же выразит его боль и страдания, станет его молитвой?

— Об этом не нам судить, сын мой, а Господь, когда творил время, сотворил его достаточно для всех дел — как злых, так и добрых.

Краснобокие быки медленно шли краем берега, тяжело тянули плот из дубовых бревен, сильная волна мотала плот, прогибала, захлестывая бревна. С

холма, на котором стоял Григор, быки казались почти неразличимыми. Крепкие ветви кизила цеплялись за рясу, бузина в полном цвету, по берегу речки рассыпаны анемоны с поникшими колокольчиками, пахнущие вином, редкие синевато-красные примулы, а на том берегу реки клочки полей, яркая зелень пшеницы, уже выкинувшей колос,—редки поля на выжженных склонах, зато повсюду пурпурная вика и бледно-розовый цикорий.

Земля, камни, ветер. Селение узнаешь издали — по муравейнику жилищ, дыму из ердыков, мычанию коров. Завидев монаха, дети кинулись врассыпную, и женщина у родника, закрыв платком лицо, заторопилась домой. Сразу опустело селение, даже коровы умолкли, только на земляной крыше крестьянин ворошит сено. Положил грабли, пронзительно свистнул и сам прыгнул, как сквозь землю провалился.

Григор свернул в узкий проулок между обвалившимися стенами и увидел рухнувшую кровлю, обугленные столбы, черные головешки — пусто, мертво. Поворошил ногой обгоревшее одеяло, поднял голову: впереди стояли угрюмые крестьяне с дубьем, блеснуло лезвие серпа. Оглянулся — и за спиной стоят.

— Ну-ка, Сероб, подвинься.

— Я-то подвинусь, Мзрак. Сказала рыба рыбе «подвинься». — «Куда ж мне двигаться, на одной скородке жаримся».

— Ничего, сосед, дай-ка ухвачу грешными руками за святую бороду.

Смуглый, как цыган, мужик протиснулся, штаны завернуты до колен, босые ноги в навозной жиже, в руках ничего, но кулаки тяжелые.

— Что, святой отец, мало тебе нашего горя, даже на пепелище ищешь, чем поживиться. Наш хлеб едите и нас же проклинаете?

— Верно говоришь, Мзрак.

— Не трудятся, а едят.

— И у меня двух овечек свели.

— Замучили, житья от них нет. Господи, спаси и помилуй!

— Хватит каяться, сосед, мы грешны, но ни в чем не виноваты, эти святоши грешнее нас, не дом Господу они устроили, а тюрьму! — Мзрак захрипел от ярости, замахнулся, но его крепко схватили.—

Пустите, своими руками задушу эту гадину! Дурачье! В Сюнике смельчаки силой взяли, что хотели, теперь сами хлебают из господского корыта, айрататцы жгут монастыри, дымом выкурили трутней из медовых сот, а вы так и будете терпеть?

Задние придвинулись еще ближе, совсем притиснули Григора к стене, злобно смотрели.

— Эх, христиане, посмотришь на вас, все вы на первый взгляд мирные и безобидные,— так и гады в мешках до срока таятся, накапливая яд, и скопища их —местилища зла и закрома жестокости. Вам говорю: не может иметь Бога отцом тот, кто не имеет церковь матерью. Прочь с дороги, еретики! Неужели не страшитесь проклятия?

— Что нам твое проклятие, монах, ты такой же человек, как мы! — крикнул Мзрак.

Он угрожающе сжал кулаки, Григор успел перехватить его руку, но сзади на него обрушился такой удар, что он упал на колени, почувствовал, как по шее течет кровь. Рука нащупала камень — наверное, им и ударили; он с трудом встал, протянул камень Мзраку.

— На, размозжи голову гадине. Или ты, Сероб? Ты? Что молчите, ведь от ваших слов преисподняя веселится.

Крестьяне молча расступились, Григор шагнул, но в глазах потемнело, качнулось, он упал.

— Оттащим его к реке.

— Ты бил, Мзрак, ты и тащи, а мы ничего не знаем.

— Очухается, они живучие.

И такая злость взяла вардапета,— вот ведь народ, гадают, жив он или до смерти убили, и никто не поможет встать! Он нащупал посох, встал на колени, осторожно тронул затылок — вся ладонь в крови.

— Гико, что они с тобой сделали!

Женщина яростно растолкала мужиков, оранжевый платок сбился, черные косы расплелись, и оттого, что она назвала его не «отче», не «Григор», а так, как только в детстве его звали, вардапет сразу узнал ее — Такуи из села Нар, где он родился, дочь шорника, туговое дерево у них росло, с белыми ягодами. Смерти он захотел, услышав жалобный крик, словно мать позвала его, маленького.

Мало он видел женщин, а самую желанную никогда не видел, и никогда не спрашивал отца и старших братьев, какой она была. Разве расскажешь? Нет таких слов, не написать их, не вымолвить, не вымолить. Нет, никакой вины перед матерью он не знал, и это было самое страшное, ибо не оставляло надежды на прощение. Но в чем он мог быть виновен — дитя, отнятое от материнской груди, помнящее только ее запах, тепло коленей, на которых прыгал, сжав в кулачках пальцы матери? Все мы виноваты перед матерями нашими, даже Христос, ибо горько плакала Мария, когда сын ее умирал.

— Гико, что они с тобой сделали!

Она гладила его окровавленные волосы, подняла с колен, осторожно поддерживая, привела в дом. Тесное жилище, разгороженное на жилье и хлев, жаром пышет из тоныра — наверное, с утра хозяйка пекла лаваш, над очагом висит закопченный котел. Такуи зачерпнула воды в глиняную чашку, выстригла слипшиеся волосы.

— Потерпи, Гико.

— Терплю, Такуи.

Морщась от боли, смотрел Григор, как годовалая телка чешет шерстистый лоб о деревянный столб, овцы терпеливо жуют траву, бегают рыжие куры, — и увидел мальчика: переваливаясь на кривых ножках, как утка, он нес яйцо, еще теплое, с прилипшим пушистым перышком.

— Анасун!

Он хотел погладить мальчика, но тот схватился за платье Такуи, прижался к ее коленям.

— Цветочек мой, бедненький, сладкий мой!

— Такуи, ради мальчика я пришел в Цнунд.

— Прибрал Господь моего сыночка, только и успела окрестить его в Нареке, а монахи дали мне этого ягненочка.

Она ласково погладила волосы мальчика, такие же черные, густые, как у нее, расцеловала в румяные тугие щечки. Поточила нож о каменный порог, вошла в хлев — сразу истошно закудахтали куры; ощипала зарезанного петуха, опалила на огне, выпотрошила, промыла, отжала, как мокрое белье, кинула в котел — и все так быстро, что Григор не успевал следить за проворными руками женщины.

— Такуи, я пришел за мальчиком.

Она молчала, словно сама онемела. Наломала князя, взметнулось пламя — слезы блеснули в глазах Такуи, огонь разделял ее и вардапета, и ничем он не мог ее утешить, и мальчика не мог отдать.

— Твоего мужа зовут Сероб?

— Мзрак.

— Скажи ему, чтоб уходил, — если кто-нибудь узнает о его дерзких речах, ваше селение сожгут. Бог долго терпит, ожидая исправления грешника, но когда к нему восходит вопль злобы, Он укрощает ее грозными судами, а Божий суд вершится быстрее, чем ты зарезала курицу, быстрее даже, чем в уме можно провести черту.

Вардапет взял мальчика на руки, пригнулся, чтоб не задеть низкую притолоку, но мальчик уцепился за косяк, мычал, и сразу метнулась Такуи, как разъяренная кошка.

— Отдай Анасуна, он мой, я кормила его своей грудью, он мой! Будь ты проклят, враг матерей! Как ты можешь любить Господа, если на земле никого не любил?

— Что знаешь ты о любви? — прошептал Григор. — О любви, раздирающей сердце, морем хлынувшей в легкие, раскаленным железом пытающей меня! Что знаешь ты о любви, женщина!.. Да если б смерть могла облегчить боль, я удавился бы, только страх удерживает меня от петли, правой рукой вяжу узел, а левой распутываю...

И стало их трое в келье: грич Егише, вардапет Григор и маленький Анасун. Встав рядом с Егише, мальчик смотрел, как старый грич очинивает тростник, обрезает пергамент, с удивительной догадливостью понимал, когда подать ножичек, линейку, свинцовый кругляш. И Егише полюбил Анасуна, часто, отложив перо, сажал мальчика на колени.

— Ну-ка, дитя мое, отгадай загадку: не деревце, а с листьями; не человек, а рассказывает; не рубашка, а сшита. Что это?

Мальчик показывал на раскрытую книгу.

— Никогда не было у меня такого смышленного ученика, вот вырастет мне помощник.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, Егише вырезал на куске буйволиной кожи алфавит, учил мальчика писать по прорези, и ничем нельзя было отвлечь Анасуна от занятий. Только когда сожмешь запястье, он оборачивался, радостно показывая буквы.

— Учись, дитя мое, возлюби книгу — как земля, она нужна нашему народу. Вся жизнь я переписывал, думая о бедных людях, которым и лист пергамента не на что купить, а богачи чаще хвастают друг перед другом рукописями, чем открывают застёжки переплетов. Запомни: тот, кто хранит книги, не читая их, подобен хромоту, который нарисовал ногу на стене и хочет ею ходить.

Видел я, дитя мое, как спит в человеке разум, а безумие бодрствует и не знает сна. Был я в городке Сайдная, далеко это от нашей земли, вокруг одни камни и пустыня, и на склоне холма погребен несчастный Авель, принявший смерть от брата своего Каина. Плита на той могиле каменная. Смотрел я на нее и горько плакал: ведь это первая могила человеческая, а сколько с тех пор крови пролито...

— Мал он еще, брат Егише, а ты ему про кровь.

— Про слезы, вардапет. Все полчища сатанинские можно уничтожить слезами или вздохом скорбящего сердца; как земляные черви погибают, попав в оливковое масло, так душа очищается слезами, а самые чистые слезы у детей, потому и безгрешны они.

Иногда мальчик дергал Егише за рукав рясы — значит, хотел есть, гулять или сходить по нужде; если на дворе было темно, грич давал Анасуну вместо свечи кусочек хлеба — свят хлеб, отпугивает бесов, оберегает от напасти. Григор удивлялся, как внятно лицо мальчика выражало все его желания. Но если бессловесные желания так красноречивы, какой же должна быть речь, обращенная к Богу?

Он торопился закончить «Толкование Песни Песней» для государя Гургена Арцруни, чтобы наконец начать свою Книгу. Как больной желтухой все видит желтым, так вардапет Григор видел весь мир кишущим грехами, грешками, греховищами, он ужасался миру и человеку: о человек, как это уживается в тебе святость и мерзость, как понять тебя, человек, каки-

ми словами поведать о тебе, почему от начала веков ты замешан на грязи низменных страстей? И есть ли кто без греха? Брат ли, который ищет душевного покоя, как скиталец крова? Отец, чья здешняя жизнь окончилась? Или мать, чью любовь поглотила смертная мгла? Или цари, которым поклоняются народы? И разве Иисус, как обычный грешник гибнущий, не молил Отца о спасении?

В великий четверг накануне пасхи церковь в торжественном убранстве, алтарь украшен зелеными ветвями, гирляндами роз, ослепительно белой сиренью. Горят свечи, ярко сияет золото пасхальных облачений вардапетов, священников, диаконов.

По мраморным ступеням поднимаются они на алтарь: *дар* — «уступ, ступень», и так же по-армянски называют век — ступень времени. Торжественно восходят двенадцать избранных по ступеням и по уступам времени, идут встречать Христа в Вифании, сели полукругом на низкие скамеечки, обитые лиловым и фиолетовым бархатом. Взлетает кадило на серебряной цепочке. Последние мгновения великого ожидания.

— Ты, сущий на небесах и на земле, снизошел ныне до омовения ног ученикам, омой меня, Христос, от грехов моих...

Торжественное песнопение наполняет храм от высокого купола до дальних углов ризницы, преклоняет молящихся. Среди горящих свечей, цветов, праздничных облачений — одинокий согбенный игумен Анания, сух, черен лицом, сед, ряса перепоясана холщовым полотном, в руках кувшин с водой, пришел он омыть ноги ученикам. Сегодня, в великий четверг, он Христос, а ученики его — апостолы.

Опустился на колени перед иноком Гевондом, но не Гевонд он сейчас, а Иоанн, чинивший сеть на берегу Галилейского моря вместе с братом своим Иаковом и отцом Заведеем, любимый племянник Христа и самый искренний ученик его.

Вардапет Ованес смотрит на Ананию, хочет подняться с колен учителя, но не Ованес он ныне, а апостол Варфоломей, скоро ему нести свет учения вместе



с Фомой в Индию, оттуда идти в Армению и быть там распятым.

Рядом сидят старый греч Егише и вардапет Григор, братья они ныне: Андрей, которого первым призвал Христос, и Симон, названный Петром; с радостью пошли они на зов Учителя, ибо до тех пор не было надежды человеку — Моисей обещал за соблюдение закона тучные стада, масличные роши, жизнь безбедную, но Христос рассеял заблуждение, дал вкус безвкусной жизни человеческой, и возлюбили апостолы надежду на бессмертие.

Встал игумен Анания на колени перед Григором, как Христос перед Петром, с любовью смотрит на ученика, прощаясь и заранее прощая — скоро, скоро отречется Петр, и знает это Григор, и ничего нельзя исправить. Но кто из людей ни разу не отрекался от святого: матери или отца, детей своих, родины, свободы, истины? Знает это и игумен Анания и потому так печален, — кто, как не он, в ответе за ученика? Да, сам он вручил Григору вардапетский посох, но для него он всегда ученик, ибо учителя выбирают на всю жизнь; только во всем доверяя ему и беспрекословно следуя за ним, можно постичь сокровенное — свое призвание. Каждый призывается по-разному, но зов этот слышит всю жизнь, хотя не струна же человек, чтоб отзываться всегда одинаково! Потому так тяжело ученичество — и гордыня нетерпения в нем, и горькая вина перед наставником, и нередко отречение от учителя.

Ночь великого четверга — всенощная ожидания, канун страшного дня. Храм освещен одними алтарными свечами, как ночь редкими звездами.

Мальчиком строил Григор этот храм, юношей принял здесь постриг, здесь принял вардапетский посох и мантию из рук игумена Анании. Но сколько раз роптал он под гнетом смирения, сколько жалел себя и послушно следовал за злом; врачевание души хотя безвозмездно дается каждому, но часто превосходит усилия души, а мир не отпускает человека, хватает его, как утопающий пловца, и влечет в бездну; раскинув незримые сети, мир-птицелов ловит человека, прельщает искушениями: жизнь твоя чиста, инок Гри-

гор, путь прям, ты уже причислен к ангелам, а если согрешил, кто тебя упрекнет, ведь нет безгрешных; а вот еще искушение: ты — горная пчела, которая роится на отвесной крутизне, мед твоих трудов сладок, но стекает в расщелину, бесполезен он, никому не доступна его сладость; а вот еще: что толку, что немые причислены к животным, а ты к ангелам, если тебе, как им, нельзя иметь детей. И с годами все сильнее искушения, все тяжелее бремя скорбей.

Погасли свечи, только одна свеча горит на алтаре. Разодрана черная завеса. Ночь скорби. Ночь страстей Господних. Только один чистый голос в тишине:

— Христос, ныне друзья Твои и ближние удалились от Тебя; стали чужими братья Твои — и упитанные волы из книжников и фарисеев окружили Тебя, и обступили Тебя псы — многие воины Пилата и Ирода: сего ради поклоняемся неизреченному Твоему смирению... Воин пронзил копьем ребро, истек из раны источник животворный и омыл грехи вселенной... Дивно-ужасное зрелище! В сей день мы увидели Творца неба и земли на кресте! Солнце померкло, видя Господа на кресте, и завеса храма разодралась сверху донизу...

Догорает последняя свеча, трепещет, слабея, тоненькое пламя! И угасла. Тьма кромешная. Тишина. Страшно закричал Распятый:

— *Где ты, мать Моя!*

А как же кричать немым, когда их распинают?

Однажды ночью в келью постучали. Григор удивился — в такой поздний час к монахам входил только игумен, но ему не надо стучать, на дверях нет запоров, ибо в судный час некогда будет возиться с замками, Господь не станет ждать.

Осторожно, чтобы не потревожить мальчика, вардапет встал, открыл дверь: у порога стояли два воина, ремни шлемов расстегнуты, на бронзовых застежках малиновых плащей отчеканены орлы — родовой знак царей Арцруни, золотые орлы на синем щите украшают знамя Васпуракана.

— По воле великого государя. Поторопись, святой отец, кони ждут.

— Я должен испросить позволение настоятеля.

Воины переглянулись, и старший согласно кивнул. Григор надел на голову черный вегар, взял посох, украшенный навершием из змей, обвинивших крест, взял со стола книгу и повел воинов мимо трапезной, свечной, пекарни.

— Ждите здесь.

— Святой отец...

— Воин, ты в святой обители,— сурово напомнил вардапет.

Игумен сидел в кресле, голова в черной шапочке склонилась на грудь, но Анания не спал, хотя глаза были закрыты.

— Владыка, прости, что потревожил тебя,— государь прислал за мной.

Анания поднял голову.

— Ты исполнил волю государя?

— Да, владыка, вот толкование — переписано братом Ованесом, переплетено в красную кожу.

Он подал книгу настоятелю, но Анания покачал головой.

— Не надо больше толкований и панегириков,— тебе дан дар слова, а народу нашему нужна молитва. Пусть те, кто исчисляет время по солнечным часам, не надеются, что они живут по солнечному времени: нет, Григор, жизнь их темна, а сами они — как тени. Перед Богом все грешны, даже царь Соломон, ибо мольбы его двоедушны, плач его смешан с насмешкою, похвальба вкраплена в порицание, язвительная издевка влита в покаяние, но все-таки этот властелин воздвиг себе памятник осуждения, хотя и далеко Соломону до отца его Давида. Так всегда бывает с детьми, горечь родительских забот им кажется негорькой, сокрушения отцов смешными. «Почему была война? Почему не было мира? Неужели мы прожили не свою жизнь?» — вопрошают отцы, а дети глухи, не понимают, что настанет время, когда они спросят себя о том же. Помнишь, Григор, я как-то спросил тебя, как пишется *гордыня*? А теперь учусь писать слово *отщепенец*. Молю владык быть единодушными, оставить бесполезные распри, а меня считают отщепенцем, искалеченным в вере, вынуждают доказывать, что я христианин. Мне бы радоваться в час кончины, но достались мне в удел, как

твоему несчастному отцу, гнев несправедливых и негодование неразумных.

Ты знаешь, я был в родстве не только с твоим отцом, но и с католикосом Ананией, а с нынешним первосвятителем Хачиком нас связывает давняя приязнь, ему я посвятил свой «Корень веры». А теперь он требует от меня исповеди. Что ж... Дабы стала известна истинность моих слов, из коих пожелают узнать и полностью понять мою веру, я сам объявлю ее своей рукой и принесу тебе, святейший владыка Хачик...

— Владыка, неужели ты хочешь оставить нас? Дорога в Аргин дальняя, пошли письмо католикосу с кем-нибудь из нас.

— С кем? Вардапет Петрос дряхл, не выходит даже из кельи. Вардапет Ованес? На него оставляю нашу обитель. Ты? Тебя призывает государь. Поздно мне страшиться земных судей. Я верю, что спасение души не связано с исполнением обрядов, ибо священники ныне избираются серебром, а не святым духом, в верующих гаснет вера, и нет в том их вины — наша вина, с нас и спросится. Спасение души не является исключительно вопросом веры и даже исполнения заповедей, поэтому наш сан несколько не возвышает нас перед непосвященными. Помни это, вардапет Григор. Хочешь возвыситься сердцем — наклонись к упавшему, никому не причиняй боль своей мудростью.

На лето царь переезжал в Артамед, в свой летний дворец, развлекая себя актерами, певцами, танцовщицами, созывая князей на пиры, но нерадостным было веселье, часто его омрачали государев гнев и подозрительность.

Монеты звенели на каменном полу, их швыряли гости Артамедского дворца, сидевшие по родовому старшинству на просторной деревянной галерее, усталанной коврами, украшенными знаками княжеских домов — пантерами, волками, быками, соколами; нахарары и сепухи захмелели от вина, звенело золото и серебро.

Слон опускал хобот, шумно втягивая воздух, поднимал монеты и пронзительно трубил, маленькие квадратные уши шевелились, окрашены киноварью бугры громадного, как надолб, лба.

Вардапет Григор видел слона впервые. С отвращением смотрел на грозные бивни, шевелившиеся складки бурой шкуры под фиолетовой бархатной попоной, его ужасала напыленная на животное маска, изображавшая чудовищно раздутое лицо Ванадского царя — врага васпураканского государя.

Громадный зал со стесанными углами освещали факелы в кольцах, вмурованных в стену, и разноцветные восковые свечи в бронзовом обруче, подвешенном на цепях к резным дубовым балкам; в сводчатые окна струился пурпурный, синий, лимонный свет. Государь Гурген сидел на балконе, огражденном полукругом бронзовых копий, пламенело пурпурное облачение, вытканное золотыми орлами. От балкона прямым углом во всю длину стен тянулись галереи: правая — для приближенных и гостей, левая — для духовенства; справа звенели чаши, слышался хохот, слева молчали, с неодобрением взирая на царскую забаву, не швыряли монеты.

— Святой отец, великий государь просит тебя пожаловать.

После двухнедельного ожидания царь наконец вспомнил о вардапете из Нарека.

Государь равнодушно смотрел, как слон катает позолоченный деревянный шар, щеки гладко выбриты, глубокие морщины сошлись под крепким подбородком, как ремни шлема, это лицо источало угрозу, тем более непонятную и страшную, что государь не гневался, а просто смотрел вниз, изредка поднимая чашу — кравчий тотчас наполнял ее вином.

— Садись, вардапет, давно хочу побеседовать с тобой. Но в такую жару о политике говорят только ромен, поговорим лучше о красоте, любви, справедливости... Ты веришь в справедливость?

— Верю, государь.

— Я прочитал твое «Толкование Песни Песней», там нет ни одного слова о справедливости.

Гурген погладил подлокотник из золотистого ореха — резного орла со сложенными крыльями, посмотрел на свои длинные багряные ногти.

— Государь, каждое слово там о справедливости, ибо любовь и есть справедливость, которую мы чувствуем, как страсть.

— Посмотрим, что ты сейчас почувствуешь... Эй, тащи сюда брюхатого!

Телохранитель скрылся за тяжелой завесой. Гурген хлопнул в ладоши — слуги быстро притушили факелы гасильниками на длинных древках, из дверей выбежали танцовщицы с горящими хрустальными светильниками, закружились под звуки флейты, четырехструнного уда, маленького барабана.

Тот, кого царь назвал «брухатым», оказался коротышкой с огромным животом и мог, наверное, за один присест съесть барана; лицо его так заросло громадной рыжей бородой, что Григор не увидел его глаз, да и не успел — брухатый упал на колени, ткнулся лбом в пушистый ковер.

— Твой слуга, великий государь — цнундский староста Хорен.

— И что ты хотел передать мне?

Хорен достал из-за пазухи свернутую бумагу, настороженно покосился на Григора, словно присутствие монаха ему мешало.

— Читай, читай.

— Прости, великий государь, здесь темно, а буквы мелкие.

— Сам виноват, надо было писать крупнее, нельзя жалеть бумагу на доносы.

Напуганный Хорен склонился еще ниже, но царь стремительно ухватил его за бороду, поднял рывком и стал бить сапогами по ногам.

— Эй, посадить на цепь этого пса! Знаешь, вардапет, что донес на тебя этот Хорен? Что ты подговаривал цнундцев и других селян восстать против князя Рштуни, отравить его и бежать в Сюник, к бунтовщикам. Ну, ты и теперь веришь в справедливость?

— Верю, и ты веришь, государь, ведь правота составляет величие царей.

— Если я велю отрубить тебе голову, а потом помилую, ты до небес станешь превозносить мою доброту. И так все, надо только голодному бросить кусок мяса, нищему — золотой... Чем меньше в государстве справедливости, тем великолепней ее торжество. Где это ты видел одну правоту для всех?

— Прости, государь, но все, что делаешь другим, ты делаешь и себе, лишь действия в твоей вла-

сти, а не плоды их, поэтому так важно быть искусным в поступках.

— Хватит с меня проповедей католикоса Анани! Радовался я, что после него патриарший престол наследовал владыка Ваган, он истинно хотел единства церкви, заключил с иверами союз о вероисповедании, с грузинами и греками искал примирения, а вы созвали собор в крепости Ани, отлучили владыку Вагана и, сговорившись с царем Ашотом, поставили слабодушного севанского монаха Степаноса...

— Владыка Степанос был кровным родственником святого Маштоца.

— А после него возвели на патриарший престол Хачика, племянника католикоса Анани; родством да свойством ткете паучью сеть, шагу ступить не дает! Помнишь, что царь Абгар писал Христу?

— Да, государь.

— Хорошо помнишь?

— Слово в слово. «Абгар, сын Аршама, Иисусу великому врачу, явившемуся в земле евреев в городе Иерусалиме, привет!.. Когда я услышал о великих чудесах, совершаемых Тобой, я положил себе в уме и уверовал, что Ты Бог и сын Божий, сошедший с неба и творящий все это, дабы я мог поклониться Тебе, и Ты исцелишь меня от страданий и болезни моей, так как я уверовал в Тебя. Я слышал, что евреи ропщут против Тебя и хотят выдать Тебя на истязание; город у меня маленький, но уютный, его хватит для нас обоих».

— Счастлив был Абгар, сын Аршама, и несчастлив я, Гурген, сын Абусахла,— нет у меня Христа, некому исцелить мои недуги и скорби.

— Заботы твои, государь, написаны на твоём лице, и не мелкими буквами, которые не мог прочесть староста Хорен, а сильными чертами. Христос оставил нам заповедь любви к ближнему, другой справедливости нет,— ты прав, государь.

— Я так не говорил.

— Но, как царь армянский, должен был сказать. Почему ребенок бьется над учением, а оно не дается; трудится крестьянин в поте лица, но хлеб не родится; опытен кормчий, а корабль терпит крушение; расчетлив купец, и остается внакладе; о благе родины говорят князья, а страну раздирают распри и многие

беды? Потому что все, о ком я сказал, полагаются лишь на свои силы, этот грех крепко укоренился в человеке,— смело бросаются в жизнь, а ноги теряют опору, пальцы хватают пустоту. Но пусть обратятся к истории, она научит: слабые цари надеются на силу, сильные — на правоту.

Гурген махнул музыкантам — смолкла музыка.

— Слышал я от епископа рштуникского, будто ты пишешь книгу для царей и простолюдинов, но что общего у повелителя с его слугами?

— Только одно, государь: и ты, и они смертны и, как все люди, грешны перед Богом. Книга, которую я вынашиваю в себе и молю Господа дать мне разродиться, будет для всех возрастов и сословий, для каждого станет новою заповедью. Ветхий завет лишь немощный образ Нового, косноязычный посредник примирения; он должен быть стерт, отменен, как всякий земной закон, только осуждающий, но не дающий надежду виновному.

— Да ты еще худший еретик, чем тондракиты! — Гурген отшвырнул носком сапога подушку, подался вперед, в упор разглядывая монаха.— Они замыслили Бога сделать человеком, а ты дерзаешь человека уподобить Богу! Не помутился ли от молитв твой разум?

— Другого выбора у человека нет. Если он не сможет стать Христом, наши скорби не кончатся даже с гибелью мира.

Царь протянул чашу, кравчий наполнил ее вином.

— Вино ты не пьешь, а говоришь, как пьяный. Сколько тебе лет, вардапет Григор?

— Тридцать два, государь.

— Самое время отрубить тебе голову.

Никто не заметил, как вспыхнула попона на слоне,—или танцовщица уронила светильник, или от топота выпал факел из бронзового обруча. Ужасный рев потряс дворец, слон вздыбился, обрушил столб, поддерживавший правую галерею. Телохранители мгновенно натянули луки, стрелы ранили и разъяренное животное, и танцовщиц, государь вскочил с трона, лицо его налилось кровью. Когда чудовище, пронзенное десятком стрел, тяжело рухнуло, царь захрипел, силясь что-то крикнуть, повелеть, но непослушный язык сковала немота, лицо почернело, с обвисшей губы тянулась слюна. Так и стоял, вцепившись в бронзо-



вые копья, словно они были властью, которую он страшился выпустить хотя бы на миг, и никто не осмелился разжать пальцы государя.

## 7. Усыновление

Как в великий пост всякая пища кажется нечистой, скверной, так и вардапету Григору после года пустынночества, одиночества, тишины стало неприятно многое в монастыре, чего он раньше совсем не замечал: лицемерие некоторых из братии, перешептыванье в трапезной, недобрые взгляды за спиной. Тесно, душно было в келье, не хватало воздуха. Даже троекратный удар деревянного колокола, пять раз на дню призывавший на молитву, не отгонял тягостные мысли, хотя вардапет неустанной молитвой силился сберечь в себе глубочайшую сосредоточенность.

Видит Григор пергамент, стихи, начертанные его рукой, но прочитать не может: буквы расплываются, размываются, будто дождевыми струйками стекают по листу, только два слова незыблемо стоят, как два камня на снегу, как два островка в беспокойном море,— *Книга Скорби*. И снова слышит он нежный, как у девочки, голос Богоматери:

— Прими твоего желанного, прими Господа.

Потрёскивает фитиль, огонек освещает налож, склонившееся над пергаментом лицо.

Все ближе тысячелетие вочеловечения Иисуса Христа... Как одному человеку дается жизнь, так человечеству дано тысячелетие, но грядет срок, когда спросится со всех людей, как с одного человека, взвесится все зло и все добро и одно вычтется из другого, а все деяния измерятся любовью. Есть ли у человека надежда на спасение или, замешенный на грехе, он не в силах изменить свою природу и осужден на гибель?

Еще на Артере он взялся перечислить все грехи людские, дабы найти противоядие от каждого, но грехов было тысячи, тьмы, они разрастались, множились, приводя в отчаяние не только неистребимостью, но даже неисчислимостью своей.

Чернила иссохли в чернильнице, разлинованный лист пергамента медленно скручивается, и больше нет слов. Нет слов, одна боль. Смерть владыки Анании

выбила из-под ног опору, Григор не думал, что с потерей наставника из мира уйдет так много...

Над могилой игумена возвели часовню. Вот и сегодня, в первый день навасарда<sup>1</sup>, начавшего новый, 436-й год по армянскому календарю<sup>2</sup>, он пришел в часовню с Анасуном, зажег свечу от горящей свечи, много их горит, в пламени искрится малиновый гранит надгробья,— ни слов торжественных, ни даже имени не высекли на камне, только два креста в память о погребенном здесь Анании Нарекаци.

Григор поцеловал камень, и словно услышал слабый голос наставника: «Ах, дети мои, дети жестокосердные!»

И Анасун поставил свечу, положил на гранитное надгробье букетик бессмертников. Много окрест Нарекаванка цветов — розы и шиповник, фиалки, царский скипетр, анемоны, но таких голубых бессмертников с темно-фиолетовыми сердцевинками Григор нигде не видел. Он нежно погладил мальчика по жестким кудрям. Двое их теперь в келье — меньше года прожил после кончины игумена старый греч Егише. Бедный Егише, благочестивый труженик, только и горевал он, когда не было чернил или пергамента, сетовал, что дрожит ослабевшая рука и неровны буквы.

Нет больше и хлебопека Корюна, и многих, кого с детства полюбил Григор. Шестилетним мальчиком привел его отец к Анании, и вот уже тридцать лет он в обители.

Когда Анасуну исполнилось семь лет, Григор привел его к иноку Гевонду, но учитель отказался принять немого, и в споре — учить мальчика грамоте или не учить — новый настоятель Ованес, поставленный над братией по воле покойного игумена Анании Нарекаци, не только согласился с суровым монахом, но потребовал изгнать Анасуна из монастыря — братия ропщет, не хочет терпеть бессловесного в святой обители, да и епископ рштуникский Товма недоволен.

Но куда деть мальчика, ведь нет у него никого, кроме Григора. Вернуть в Цнунд — значит отдать неумышленныша в семью еретика. Да и не было уже на

<sup>1</sup> Навасард — август, первый месяц армянского календаря.

<sup>2</sup> 989 год.

земле такого места — Цнунд, бурьяном заросло оно, изгнал епископ Товма цнундцев, и пошли они искать новую родину. Легко их было узнать по лбам, клейменным лисьим знаком, хотя в те годы много встречалось изгнанников, меченных позорным клеймом, прятались они в горных лесах, глухих ущельях, бежали в Киликию, Византию, к болгарам. А цнундцы после скитаний обжились в долине Мармет, вырыли землянки, сложили очаги, запрягли отощавших волов, распахали дернину; как повсюду на земле, рождались и здесь дети, но не было у изгнанников ни церкви, ни священника, ни купели, и как Бог забыл несчастных, так и они его не вспоминали, приносили новорожденного к старцу Наапету, а тот благословлял дитя: «Люби родину, почитая отца и мать, трудись в поте лица своего». Так жили в тяжких трудах и малых радостях, пока эмир не двинул войско на Васпуракан, всех, кто не успел бежать, умерщвляя лютыми смертями, о которых не говорится даже в житиях святых, так что при виде мучеников беременные, случалось, выкидывали плод, а малые дети от страха лишались дара речи, поэтому никто не хотел впускать раненых и увечных в дом, — бросали им еду за порог или выносили хлеб, закрыв глаза черными платками.

Но Григор этого не знал.

— Ну, лао, покажи мне, где растут такие красивые цветы.

Как вспыхнуло лицо мальчика! Присел на корточки, нежно провел пальцем, словно глядя голубые головки бессмертников, быстрыми движениями рук показал монастырь, крутой спуск у западной стены, излучину реки Нарек, каменный мост, заводь, где монахи стирали рясы. Лицо и руки Анасуна так выразительны, что кажется — он тараторит без умолку. Григор понимал все, что он хочет сказать, но с недавних пор заметил: если кто-то говорит, надвинув на глаза вегар, сложив руки на груди, он ясно слышал слова, но смысл сказанного понимал не сразу, запоздало; безлика, безрукая речь казалась глухой, невнятной, раздражала.

Они вышли из ворот монастыря, спустились к реке. Тяжелые изломы скал перевиты, как лозы, и так же сморщены. Мир еще не сотворен до конца, слишком много камней припас творец; каждый год крестья-

яне убирают камни с полей, но земля упорно исторгает их из глубины, вот и в этом году хорошо уродились камни — рыжие, сизые, черные, а ячмень редкий, бедный зерном, легко косить его, легче, чем траву. Монахи разбрелись по склонам, подсекают траву косой на короткой ручке, похожей на серп, стоят на коленях далеко друг от друга. И Анасун собирает камни, острый глаз у мальчика, так обведет пальцем, что сразу увидишь в камне птицу, рыбу, буйвола. И глина в его пальцах оживает, всех гричей задарил глиняными чернильницами, обожженными в тоне, и все разные, забавные. Откуда в мальчике эта страсть?

Ветер закручивает громадные облака, душно, вдали громахает... Жалобно блеют овцы — ведут их на заклание, а петухов несут, связав за лапы, и хотя Богу угодна жертва вечерняя — молитва искренняя, люди верят: Бог хочет крови; против такого язычества бессильна даже церковь, сама освящает жертву.

Девочка ведет под дождем козленка, а рядом отец — каменотес Абраам, костистый, сутулый. Это он тесал надгробье игумену Анании, да и многое в монастыре его рук дело, вся резьба в храме святой Сандухт и дивный крест над алтарем в матенадаране.

Завидев Григора, Абраам снял шапку.

— Благослови, святой отец.

— Да не иссохнет твоя рука, варпет!<sup>1</sup> — Григор перекрестил его и девочку. — А это дочь твоя? Какая же из шести?

— Далар, третья моя, а вот сына не дает Господь нам с Геран, где уж она только не была, сколько баранов я зарезал! Теперь козленочка веду... Я уж и обет дал: будет у меня сын, поставлю такой хачкар<sup>2</sup>, какого нет во всей Армении, клянусь тысячу и одной церковью Ани!

Абраам был аницем, в Рштуник его переманил еще покойный князь Мушег, здесь каменотес построил дом, женился, стал отцом Далар и пяти ее сестричек. Платье на девочке промокло, каштановые волосы потемнели от дождя, прилипли к щекам, глаза зеленые,

---

<sup>1</sup> Варпет — мастер (арм.).

<sup>2</sup> Хачкар — от «хач» — крест, «кар» — камень, каменная плита с рельефным изображением креста, обрамленного орнаментом (арм.).

и впрямь *Далар* — первая трава, тоненькая, гибкая, зеленоглазая.

— Что ж мы под дождем стоим, ты ведь в обитель идешь. Варпет, хочу с тобой поговорить о приемыше моем Анасуне,— нет у него отца с матерью, а мальчик смысленый, любит камень, испытай его, может, будет тебе помощником.

Мальчик понял, что речь идет о нем, да и как не понять, если Абраам свел густые брови, прищурил глаз, словно камень разглядывает, а не мальчика, что-то прикидывает в уме, соображает.

— Не любят люди немых, святой отец.

— Да ведь тебе с ним не псалмы петь! Не спеши, посоветуйся с женой, пусть Анасун поживет у вас до Рождества, а там решишь. Слышал я, игумен хочет заказать тебе большой хачкар, тяжело ведь будет без помощника.

— Смотри какой хачкар... — пробормотал мастер.— Если из базальта, тогда работы года на два, уж точно, и камень я присмотрел. Только уж ты скажи игумену, святой отец, пусть не ставит надо мной монаха, я человек смиренный, но не люблю, когда под руку говорят. Ты уж сам обо всем договорись, тогда попробую обучить немного, а не нужна моя работа, так и он мне не нужен.

Козленок вырвался. Далар и Анасун бросились ловить его.

Подойдя к архимандритской келье, Григор услышал голос епископа Товмы,— как всегда, владыка сетовал, что миряне мало жертвуют монастырю, а пастыри не требуют, сами обленились, лень им даже истреблять врагов веры.

— Где святые? Где бодрствующие? Где трезвенные? Где кроткие? Где боголюбивые? Увы, нет между нами святоотческой добродетели, нет воздержания, кротости, страха, все ищут славы, все нерадивы, строптивы, ленивы! Какая сила ныне вырывает с корнем могучие дубы, швыряет камни с места на место, затягивает в омуты...

— Вода, святой владыка,— войдя в келью, смиренно сказал Григор.

— Что? — Епископ забыл, о чем только что сам говорил.

— Ты спрашиваешь, святой владыка, какая сила

вырывает с корнем дерева, швыряет камни, затягивает в омуты, вот я и ответил — вода. А пастыри кроткие, бодрствующие, милосердные не перевелись, и разве сам ты не таков?

— Да, я никогда не впадал в грех и не вкушал мирских наслаждений, ревностно служу Господу. Он есть любовь, а другой любви не ведаю.

Епископ Товма поднял палец с аметистовым перстнем, а Григора бес так и смущал поддразнить владыку.

— А может, святой владыка, любовь и есть Бог?

Игумен Ованес закашлялся, остерегая брата, но поздно — епископ побагровел от гнева.

— Есть ли у тебя враги, вардапет Григор? — А голос елейный, приторный.

— Как и у каждого, поэтому смиренно молю Господа не карать уязвителей моих, но сеять добрые помыслы как в них, так и во мне, многогрешном.

— Похвально твое смирение. А считаешь ли врагов церкви своими врагами?

Давно ждал Григор этого вопроса, и по тому, как опустил глаза игумен Ованес, сжав четки в побелевшем кулаке, понял, что и брат встревожен настойчивостью епископа. Трудно ответить уклончиво, и как ни ответь, все зависит не от твоих слов, но от их толкования, а Товма хотя напыщен сверх меры, но не глуп. И не отмолчишься, вон как ласково улыбается иерей, а бусинки глаз безжалостны. Ничего Григор так не боялся, как таких маленьких красных глаз — еще с младенчества, когда, проснувшись в колыбели, глаза в глаза увидел громадную черношерстную крысу, ночью эта тварь вылезла из норы, забралась к младенцу, прокусила нос и слизывала языком кровь. При одном воспоминании о крысе вардапета охватывал ужас. Вскоре после пострига по пути в баню он увидел крысу, сидевшую на камне, ударил ее посохом, но наглая тварь сама вцепилась зубами в посох, и, бросив его, Григор трусливо бежал в келью. О, и среди людей есть твари! Еще с судилища над епископом Хосровом он запомнил Товму, тогда еще неприметного инока, то и дело облизывавшего губы и все нашептывавшего что-то владыке Хачатуру. И среди тех, кто плел сети вокруг игумена Анании Нарекаци,

был он же, Товма, уже архимандрит, настоятель обители святого Карапета, а теперь епископ ртшуникский. Давно он вынюхивает ересь в Нарекаванке, высматривает крамолу красными глазками.

— Святой владыка, враги церкви—это враги единодушия церквей,—такие, несомненно, мои враги и, надеюсь, твои противники. Но ты своими вопросами преступил границы уважения к моему сану, забыл, что перед тобой не служба, а вардапет армянский! — Григор прямо смотрел в глаза епископа, и тот не выдержал, часто заморгал.—Мы соль и свет обители, по сану своему равны архимандритам, а по благодати приравнены к пророкам, поэтому называют нас «избранниками Слова Божия»; неужели ты забывал, что вардапеты неподсудны даже суду епископов, сами же властны обвинять епископов в ереси и предавать их анафеме.

Сжал посох и Товма, и неизвестно, чем кончилось бы их прекословие, но в келью вошел запыхавшийся ключарь Негос, перепуганный, словно по пятам за ним гнались бесы. Только и поняли из бессвязных слов, что какие-то беженцы собрались перед воротами обители, требуют игумена, но он, ключарь Негос, велел заложить в скобы ворот дубовые брусья.

— Святой владыка, вразуми,—смирненно обратился к епископу игумен Ованес.—Одно твое появление успокоит беженцев.

Епископу ничего не оставалось, как в сопровождении своего причта и целой толпы монахов выйти из обители. Все перепутал напуганный ключарь, никто не ломился в крепкие врата, не угрожал, но было чего испугаться при виде беженцев, спасшихся от полчищ эмира. Какое сердце не ужаснулось бы при виде увечных, раненых, старцев с зияющими глазницами, юношей с отсеченными руками, женщин, истерзанных насильниками? Игумен велел нести котлы, вертелы, хворост, пшено, лаваш, желтый ванский сыр, муку из поджаренного ячменя, холст, припасенный на рясы,—у большинства беженцев одежда состояла из лохмотьев; из лохмотьев старуха шила саван, вместо ниток вырывая из косм седые волосы, бормоча, продевала в иглу и шила; женщина, причитая, лохмотьями укрывала больного,—видимо, он тяжело мучился, стиснул зубы, а по впалым вискам бежал пот.

— Женщина, что ты причитаешь над живым, как над покойником? — не выдержал Григор.

Увидев монахов, она упала на колени.

— Святые отцы, спасите моего мужа. Помогите мне найти вардапета Григора, он спасет!

Вардапет отвернулся, глухо спросил:

— Для чего ищешь грешника Григора? Вот перед тобой безгрешный епископ, он исцелит твоего мужа.

Епископ Товма отшатнулся, словно его ужалила змея, властное лицо перекосилось, злоба и унижение были написаны на нем.

— Игумен Ованес, вели оседлать моего мула, я тороплюсь.

— Ах, Григор, Григор,— только и промолвил настоятель, и поспешил вслед за епископом.

Григор встал на колени возле больного, внимательно осмотрел его: живот тугой, вздутый, с черными пятнами, ноги отекли,— надавишь пальцем, остаются вмятины, как в глине.

— Негос, приведи ко мне дочь каменотеса Абраама, с козленком она, и принеси сок сладкого граната, да побольше. Далар, прошу тебя, принеси свою жертву здесь, я освящу ее, верю, жертва твоя исцелит несчастного. Вот брат Негос скажет тебе, что надо делать, ступай за ним. А ты, женщина, потерпи,— всякое лечение должно соответствовать болезни и силам больного.

Женщина вгляделась в лицо, прикрытое черным вегаром, вдруг обняла ноги Григора, стала целовать край лилового облачения:

— Гико, прости меня!

— Это ты прости меня, Такуи! Хотя на мне сан вардапета, но грешен я перед Господом и людьми, перед тобой грешен, а ты мать, за муки и слезы введут тебя ангелы в рай. Заступись за меня, монаха грешного, перед Владычицей небесной. Встань!

Но Такуи стояла на коленях, торопливо сняла через голову потемневший от пота мешочек, зубами развязала сыромятный шнур, достала серебряный браслет, украшенный багряными гранатами. Только ванские ювелиры так чисто чеканят вязь узора, владеют искусством тончайшей резьбы по серебру; из рода в



род переходят свадебные украшения — дар свекрови невестке, и нет для ванских женщин сокровищ драгоценнее, а теперь Такуи отдавала ему браслет.

— Постой, Гико! Ради памяти сыновей моих Мушега и Вардвана, ради младенца моего Айрика прими последнее, что у меня осталось, но дай мне Нарек — слышала я, как люди молятся твоей молитвой. Ничего я больше не попрошу у пречистой Богоматери, ничем не потревожу ее, пусть только будет жив мой муж, а твой Нарек будет мне сыном.

Не знал он, что песнопения его далеко разлетелись из кельи, что люди даже нарекли их, как человека, — Нарек! Но ведь не окончена Книга, и хватит ли жизни его завершить труд, дать новую заповедь всем на земле живущим? Он ясно видел свою Книгу: заглавный лист, украшенный многоцветным хораном, киноварь заглавия, золотые ступени строк, ведущие читателя в притвор, а на воротах храма начертано:

**КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ,  
СОТВОРЕННАЯ В ОТВЕТ  
НА ПРОШЕНИЕ ОТЦОВ-ОТШЕЛЬНИКОВ  
И МНОЖЕСТВА ПУСТЫННОЖИТЕЛЕЙ  
ГРИГОРОМ,  
МОНАХОМ НАРЕКСКОГО МОНАСТЫРЯ**

Пройдя врата заглавия, пусть каждый войдет в притвор его мольбы и до конца почувствует свое несовершенство, тревогу перед грядущим судом и неотвратимость совести. Отсюда, очистившись слезами покаяния, пусть идет дальше, и пусть горящие свечи слов каждому освещают путь через сомнения, поражения и даже смерть; пусть по строфам Книги, как по ступеням, люди взойдут на алтарь и примут таинство посвящения в Человека. Пусть... Но нет храма, — только врата и гора камней.

Проклятье — быть поэтом. Божий дар и сатанинское наущение. Творишь ты земную твердь, солнечные восхождения и лунные обращения, облака и моря, человека. Гордишься своим даром, ибо воистину он велик, а смирения в тебе нет, не видишь, слепец, как за каплю чернил отдаешь каплю крови, и больше того — расточаешь душу. Ты оглушительно трубишь, как разъяренный слон, забыв, что ухо создано, подобно улитке, семью витыми воротами, дабы звуки

входили, как поданные к царю,— плавно, а не стремительно; ты ничего не делаешь просто, как все люди, ты соглядатай и послух тайн человеческих, ты без меры нагружаешь память, возомнив свой разум Ноевым ковчегом, а сам, как утлый корабль, ведомый самонадеянным кормчим, несешься на всех парусах на скалы.

— О Господи, не отворачивайся от души искричавшейся, не порицай меня, измученного всеми муками слова! Пусть не одарен я мощью языка, творящего чудо, пусть не дарована мне подвижность рук, коими изъясняются бессловесные, и острота слуха, заменяющая незрячим зрение, пусть несовершенен я, многогрешен, но дай мне силы закончить Книгу мою, и да будет в этом творении мне повторно дарована жизнь. Вычти из моих дней остаток жизни, но пусть боль моя станет утешением людей, пусть вопли мои горестные станут молитвой, пусть в моих бедствиях каждый увидит не только страдание, но и спасение,— ведь в каждой скорби должна внятно звучать надежда.

Послав Анасуна за чистым пергаментом, Григор пошел в келью. Долго перебирал исчерканные, не переписанные набело листы...

Тебя, душа, взрастившая обильно горести,  
Поставил я мишенью совести,  
Дабы беспощадными словами  
Побивать тебя, как камнями.  
Не мне, грешному, праведным зваться,  
Не мне погибели не бояться,  
Но, как мудрец рек,— с самим собой  
Добровольно вступаю в бой,  
И грешные мысли, будто обретшие плоть,  
Веду на суд Твой, Бог и Господь,  
Ибо какую мерю сам я мерю  
То, во что верю,  
Также, и даже вдвойне, втройне  
Воздастся и мне,  
И благодати Твоей дары сладчайшие  
Стократ превзойдут грехи мои величайшие.

Но по силам ли Такун, несчастным беженцам и многим-многим страдальцам суд над собой, беспощадное саморазоблачение, без которого невозможно искреннее покаяние и обновление души? Сколько раз он слабел, отчаивался! Но что его горести рядом с

бедствиями матери, оплакивающей детей! Нет, не испытания ей нужны — милость и утешение.

Григор глубоко вздохнул, снял вегар и долго сидел, закрыв глаза... снова, все ближе слышался грохот волн, виделся невыразимый горный свет, явленный ему на острове и за который он в ответе больше, чем за все Евангелие.

Охрани меня, о Мать всеспасения,  
Крыльями твоей молитвы сладостной,  
Обрати мои стенанья в песнопения,  
Дни печали — в праздник радостный.  
Сокруши, Владычица небесная,  
Еву исцелившая от мук рождения,  
На моей стезе преграды тесные,  
Подними меня из унижения.  
Со слезами, о алтарь Спасителя,  
Припадаю к твоему подножию.  
Не отринь мольбы земного жителя,  
Раба Божия и Мать Божия.

Пока чернила сохли, вардапет искал, чем связать переписанные главы, и, не найдя даже обрывка веревки, взял черный суконный пояс, — вот и спеленал он свое дитя, препоясал иноческим поясом и отдает в усыновление. И только сейчас, взяв как ребенка свернутую рукопись, он ярче, чем полыхнувшую зарницу, узрел смысл Артерского видения: возлюби мир, как мать любит дитя! Человек не только творение, но и творец; без него земля станет пустыней. Не рабская покорность твари творцу, а великая, жертвенная любовь творца к творению — единственный путь человека, его надежда и спасение.

К беженцам прибавились окрестные жители. Женщины, обнявшись, плакали, мужчины сидели у костров, кипела вода в котлах, ветер сдувал вороха куриных перьев, на вертелах жарились бараны и ягнята. Далар, отдавшая белого козленочка, вела под руку старуху — гу, что шила саван сыну своими седыми волосами, — она брела, что-то бормоча.

Такуи все стояла, держа серебряный браслет. Не сразу подошел к ней Григор, смотрел, прижав к груди рукопись, на ту, единственную на земле, кто еще называл его Гико, как ребенка. Он осторожно тронул ее за плечо.

— Такуи, прими написанное мной в усыновление.

с любовью вручаю свой труд твоей материнской заботе.

...И до позднего вечера все бродил между кострами, вглядываясь в людей, слушая печальные песни, стоны раненых, детский плач. Неужели все эти страдания для оправдания? Но перед кем?

Троекратный удар колокола возвестил о всеобщей. Анасун сжал пальцы вардапета, перекрестился и показал на обитель, и Григор послушно пошел за мальчиком. А когда увидел в ризнице игумена Ованеса, вспомнил о хачкаре и каменотесе Абрааме.

## 8. Хачкар

Мастер Абраам разулся, вытряхнул из трех каменные крошки, слушая, как вардапет Григор играет на дудуке,— звук чистый, радостный, чуть шероховатый, оттого что воздух, гонимый дыханием сквозь пустой стебель тростника, задевает иссохшую мякоть. А Анасун рубит камень, резец по зернышку клюет туф, звенит железо: дзень-дзень, день-день. Звуки дудука сплетаются со звоном резца, горячий ветер взмывает пыль, раскачивает головки цветов; дорога в каменоломню заросла голубыми звездочками цикория, дурманным аконитом, пряной мятой. Жара. Сотни расколотых камней разбросаны вокруг. Легкий камень туф, но рубить его тяжкая работа, каменотесов узнаешь по лицам, багровым от въевшейся каменной пыли; иссеченные осколками, опаленные зноем, они кажутся озаренными пламенем. Вот и лицо отрока покраснело, шею и руки покрыл загар, ладони огрубели. Хитер мастер Абраам: прежде чем доверить ученику резец, заставит его перетаскать, переверочать целую гору,— пусть сперва тело окрепнет, пусть ученик почувствует тяжесть камня; ведь искусство каменотеса в том, чтоб победить не крепость, а тяжесть камня, красотой узора придать легкость даже базальту. Резьба по камню — это игра по камню, она требует свободы, настоящий мастер никогда не повторит чужой рисунок.

— Святой отец, а кто же высек первый хачкар? — спрашивает Абраам.

Григор спрятал дудук в рукав рясы, погладил бо-

льшим пальцем рыжие, с проседью усы, посмотрел на свою тень, острую от черного вегара.

— Первое всегда является чудесно и таинственно, от него берет начало повторение. Возможно, известно тебе, что апостол Фаддей, прежде чем воссиять звездой над нашей северной страной, проповедовал в Месопотамии Сирийской, потом в Эдессе, а оттуда пошел к царю Санатруку, бывшему в то время в селении Шаваршан. От святого Фаддея приняла крещение царская дочь Сандухт и многие армяне. Но незаконный царь велел заточить свою дочь в темницу, а всех, принявших крещение, жестоко мучить. А было уже холодно, по утрам травы серебрила изморозь, несчастные страдали от ран и холода. И вот, едва наступила ночь, двери темницы рухнули, словно их проломили тараном, громадные балки с треском выворотились из пазов, крыша поднялась, и хлынул свет сильнее солнечного,— тотчас с узников упали цепи, и раны их исцелились. Тогда сатана, не дававший себе передышки и все искавший, кого бы искусить и совратить, познав сокрушительное поражение от святого апостола, не только не отступил от мерзостей своих, но вновь поспешил усугубить усилия, и не без пользы для себя. Он посеял в сердце государя такую злобу, что Санатрук повелел истребить всех христиан, схватить апостола и осудил его вместе со своей дочерью на казнь.

— Да как же родную отдать палачу? — Абраам покачал головой.— Верно говорят, бывает и судья без совести, и палач с совестью. Даже звери жалеют детенышей, а тут дочь... Видно, так уж мир устроен.

Мир для каменотеса Абраама — Джрвеж, Нарек, Цнунд, Хровенц; что случается в этих селениях, то и происходит в мире, как в них жизнь устроена, так устроен мир.

Григор придвинул посохом осколок розового туфа.

— У обычных людей сердце чуть больше этого камешка и похоже на сосновую шишку — плотное, темно-красное. А у царей сердце, как каменный кулак, никакой силой нельзя разжать его, только смерть сокрушает эту твердыню.

Анасун беспокойно смотрит то на вардапета, то на мастера — о чем они говорят? Григор показал ему, что случилось с апостолом Фаддеем и царской доче-

рю Сандухт, схватил посох, как меч, и занес над головой отрока.

— Поднял палач меч, но удар его поразил стражника, и тот издох. Язычники при виде чуда пришли в ярость, бросились с обнаженными мечами к Сандухт, но убивали друг друга, а дева горячо молилась, и тут какой-то юноша ударил ее в грудь. Она приняла мученичество в седьмой день месяца кахоц<sup>1</sup>, а спустя шесть дней казнили апостола Фаддея. Кормилица царя Санот и сестра Санатрука Огохи тайком выломали камень, на котором умертвили Сандухт, ведь окровавленное тело девы-мученицы отпечаталось на каменной плите в виде креста. Вот этот камень впервые назвали хачкар ом, крест-камнем.

Не заметили, как тихо подошла Далар и тоже слушает, жуя травинку. Каждый день приносит отцу узелок с едой: сыр, лаваш, зелень, кувшин с холодным мацуном. Мать строго наказывает дочери: «Смотри, не подсядь к отцу», а девочка, отойдя от дома, оглянется, нет ли кого рядом, обязательно развяжет узелок и жалобно вздохнет — вкусно! А сейчас забыла про еду, страшно ей и до слез жаль деву Сандухт. Хорошо, отец рядом.

— Святой отец, отведай нашего хлеба.

Вардапет благословил трапезу, но есть не стал, спешил на молитву. Абраам и Анасун подсели к растеленному платку, Далар сидит в сторонке, кусает травинку белыми зубами. Тихо. На берегу ручья женщины бьют палками овечью шерсть, у старой часовни пасется корова. Не на вершине холма стоит часовня, — на склоне, но воздвигнута таким чудесным образом, что видна со всех сторон, особенно красива на закате, когда пламенеют стены розового туфа.

Привалившись к резной деревянной двери, нищий грызет пригоревший хлеб, измусолил весь. Протянул вардапету.

— Поешь, святой отец, это хлеб апостола Петра.

— Не от жары ли тебе померещилось такое? — удивился Григор.

— Да ведь все знают, что святой Петр был скуп, милостыню никому не подавал, прогонял нищих. Одна старуха каждый день к нему приходила, а уходила

---

<sup>1</sup> 15 ноября 44 г.

с пустыми руками. Однажды пришла, когда жена Петра пекла хлеб,— тут уж деваться некуда, но апостол и здесь исхитрился, бросил нищенке горелое тесто и прогнал ее. Вот с тех пор милостыню жадных называют «хлеб апостола Петра».

— Да разве святые апостолы такие скаредные, злые?

— Иуда тоже был апостолом, а продал Христа, как барашка. Борода-то бывает апостольская, да усищи дьявольские.

Еле сдержался вардапет, чтобы не треснуть нищего посохом, но устыдил себя,— грех обижаться на обиженного.

— А ты, монах, не Григор из Нарека? — как ни в чем не бывало спросил нищий.

— Да.

— Уж не про тебя ли говорят, будто ты за всю жизнь никому не причинил зла? Сделай добро и мне, убогому, отведи в Джрвеж.

— Помолюсь и отведу.

Свет косо падал в рдык и единственное окно часовни, в скрещении лучей свет нестерпимо ярк. На каменном полу огарки свечей, в угол брошена охапка мяты — постель для нищих, в глубоких нишах иссохшие голубиные головки, маленькие, как косточки сливы. Легко оторвать головку птице, не труднее, чем сорвать черешню, легко зарезать ягненка и даже вола тому, кто умеет, легко дается жертва, но тяжело дается покаяние.

Нищий пригрелся на солнышке, задремал.

— Эй, брат, ты хотел идти в Джрвеж. Вставай!

— Разве не видишь, что я калека? Мог бы ходить, и без тебя дошел.

Григор пристально посмотрел на нищего: нечесанные волосы сваялись, как овечий хвост, глаз не видно, под лохмотьями не разглядишь, что правая нога скрючена.

— Ладно, оставайся здесь, а я пойду.

— Говорят, ты никому не причинил зла, почему же бросаешь меня здесь? Видишь, какой ты! — Поняв, что слова не остановят монаха, нищий схватил камень, бросил в спину Григора.— Святой! А сам только и думаешь, как от калеки избавиться, и глаза

у тебя злые. Все вы, чернорясники, лишь на словах добрые.

— Ты не нищий, а я не святой.

Дойдя до ручья, вардапет снял вегар, умыл лицо холодной водой, перевязал ремешки сандалий.

В пресветлый день Воскресения хачкар поставили перед часовней, где покоился прах настоятеля Аналии — первого игумена Нарекского монастыря. Тончайшей резьбой украсил мастер Абраам хачкар, сплел резцом дивное каменное кружево, а над цветущим восьмикрылым крестом высек распутившуюся розу. Вечером пламя свечей высветило на цветке алмазные капли росы, казалось, туф дышит, тени дрожат в глубоко врезанных словах надписи, составленной игуменом Ованесом: «БУДЬ БЛАЖЕН ВАРДАПЕТ АНАНИИ, ОБУЧЕННЫЙ БОГОМ, САМ ОБУЧИВШИЙ МНОГИХ МНОГО РАЗ».

А ночью игумен Ованес, выйдя из кельи, услышал стук, — похоже, кто-то бил кресалом о камень; видно, послушник, не надеясь на силу молитвы, боится идти ночью без огня. Настоятель улыбнулся, помолился за неопытную душу. Но когда шел назад, встревожился — кто-то уж слишком упорно бьет, не похоже на доброе дело. Темно было, но игумен знал каждую пядь монастырского двора; прислушался и пошел к хачкару. Здесь и увидел нищего — калека злобно бил булыжником по кресту.

— Ах, негодяй! Да как же ты поднял руку на такую красоту!

Нищий яростно отбивался, но разгневанный настоятель вырвал камень из цепких пальцев.

— Ненавижу!

— Несчастный, что тебе сделал мастер Абраам?

— Всех вас ненавижу. Вы сжигаете живых людей, а камню молитесь! Оттого и души у вас каменные.

Ованес крепко ухватил нищего за бороду, отбросил с морщинистого лба седые космы, нащупал гладкое пятно ожога.

— А, цнундский еретик! То-то обличье твое мне знакомо. Это тебя исцелил вардапет Григор, когда ты подыхал, а ты проклятьем платишь за добро?

Хотя и разгневан был настоятель, но сейчас рас-



терялся — слышал он, в Сюнике и Тароне тондракнты разбивали хачкары, но в Рштунике такого святотатства сроду не было. Что делать? Позвать монахов, — они насмерть прибьют калеку. Отдать его в Ван, на суд епископу Товме? Смеяться будут, — пятьдесят монахов не справились с одним калекой.

Нищий затих, словно съезжился под взглядом Ованеса, и жалобно скулил. Сейчас игумен не видел в нем даже следа ненависти, да и разве можно ненавидеть человека только за то, что на нем ряса и вегар. Или можно? Ведь и он, архимандрит Ованес, всегда ненавидел богоотступников, а за что? Да, не признают эти дети греха ни Христа, ни креста, ни святых таинств, но за мерзости их с них же взыщется лихва неоплатная, но и с него, инока, спросится за ненависть. О Боже, и как это люди вконец не истребят друг друга, если накопили в сердцах столько злобы! Нищий проклинает богатого, богатый — нищего, сильный — слабого, а слабый — сильного, монах — еретика, а еретик — монаха. Вокруг одни проклятья! Вот ведь и на хачкаре высек мастер Абраам: «Да ослепнет тот, чья рука поднялась на меня», — исстари это грозное заклятье каменотесов охраняло храмы, мосты, хачкары. А сколько раз сам он, Ованес, переписав книгу, по обычаю всех гричей-переписчиков, начинал памятную запись так: «Тех, кто изрежет листы этой книги, пусть перережет пополам сам Господь». Но разве он не видел украденных рукописей, с которых вор торопливо соскреб ножом слова угрозы, разве удержало заклятье поднявшуюся руку этого калеки?

Даже великий благоустроитель Армении святейший патриарх Нерсес не смог воздвигнуть обитель мира — ибо одним из камней основания, на которых строил ее, было проклятие.

Католикос Нерсес призрел нищих, сирот, вдов, по всей стране устроил приюты и больницы, сам обмывал язвы страдальцев, — и такова была слава святителя, что его нарекли отцом народа и ангелом мира. Чего же возжелал могучий ум? Об этом он возвестил на церковном соборе в Аштишате: пусть весь народ армянский станет одной семьей, руководимой христианской добродетелью. Жестокость того времени, бедствия народа, притеснения, чинимые Царем Арша-

ком, нахарарами и всей знатью, подвигли Нерсеса устроить церковь, как одно обширное и безопасное прибежище всех угнетенных; без усталы он умножал монастырские владения, повелел считать церковь единственной наследницей всякого выморочного имущества, но воспротивились князья, ибо владения их таяли, как снег весной.

Царь Аршак, испуганный великими деяниями патриарха, основал у подножия Масиса город недовольных — Аршакаван, воззвал: придите сюда, грешники, здесь не будет над вами суда и закона. И пошли тысячи в долину Ког, собралась здесь горечь земли и хула на Господа, беззаконие и прегрешение, убийцы, воры, безбожники, никому не платили они податей, не давали церкви десятину, не трудились, а только веселились и пили вино. Видя неслыханное торжество греха, Нерсес проклял Аршакаван, и жители там стали гибнуть, так что вскоре город вымер. Правда, сам католикос недолго прожил после этого, и перед смертью предрек нашествие на Армению племени стрелков, гибель Армянского царства и воцарение бесчеловечности.

Ужасное пророчество, ибо проклятия святых сбываются. Вот и вардапетам по сану их дана власть проклинать. Только проклятие матери не имеет силы, и потому самое спасительное на земле — материнская любовь, она — единственная надежда человека. Но неужели пройдет еще тысяча лет, пока люди поймут: добро и благо зиждутся на любви, только на ней.

— Ну-ка, калека, берись за посох, нет у меня сил тащить тебя на закорках. Выведу тебя за ворота, а там уж, Бог даст, подберет тебя добрый человек. И вырви из сердца злобу на людей, — они такие же, как ты.

Утром монахи увидели обезображенный хачкар. И сразу ядовитой змеей пополз шепот, что это Анасун осквернил его, особенно усердствовал в кривотолках инок Гевонд, и, слыша, как он подстрекает братию, Григор снова удивился, как это в одной душе уживается любовь к книгам и злоба против людей? Сухой, как посох, яркоглазый, с впалыми щеками, монах всюду искал ересь; в матенадаране он катышками теста с замешенным ядом извел всех мышей,

теперь истово старался истребить неблагонадежных. Даже игумена страшило такое исступление, что же говорить о простых иноках, которые боялись преклословить Гевонду. Вот и сейчас он самовольно призвал мастера Абраама и, вперив в него горящие глаза, допрашивал, кто дал ему отпущение грехов, постился ли он перед тем, как взяться за работу, творил ли молитву утром и вечером, не замечал ли, чтобы Анасун чертил на камне тайные знаки, особым образом сложив пальцы? Мастер мял в руках шапку и не к месту бормотал:

— Так уж мир устроен.

— Прости этого инока, варпет Абраам, и спокойно иди домой.— Григор благословил мастера.— И ты, и твой ученик ни в чем не виноваты. И ты ступай, брат Гевонд, учи детей. Прошу тебя, не будь с ними жесток, радостному знанию дается легче. Что ты все хмуришься? Посмотри, какая красота вокруг, сад цветет. Ты хороший учитель, брат Гевонд, иногда прихожу в матенадаран за книгой и стою, слушаю, как ты рассказываешь, и радуюсь, что узнаю новое.

Да, в саду было красиво. Маленькие кудрявые яблони, как дети, обступили игумена Ованеса. Он улыбнулся, увидев Григора.

— Посмотри, брат, как красиво!

Вардапет засмеялся.

— Только что я сказал это брату Гевонду.

Душно пахла бузина. Ни корова, ни овца, ни коза ненасытная не объедают жилистые листья бузины, только птицы клюют красные ягоды; подошли братья, вспорхнула стайка тонкоклювых крапивников. Под разросшимся кустом лежал камень. Ованес постучал по камню посохом.

— А помнишь, Григор, как ты поспорил с сотником князя Рштуни? И как ты решился взвалить такую тяжесть?

— Молодой был. А солнечные часы так и не сделали...

В это время щурок, спасаясь от ястреба, сел на плечо игумена — грудка зеленая, спинка и крылья коричневые с синевой, возле ульев они обычно гнездятся. Ованес бережно взял щурка, подбросил в воздух, но тот снова сел ему на плечо.

— Как думаешь, Григор, умна птичка или глупа?

— Если ищет защиты у игумена, значит, умна,— улыбнулся Григор.— Не прогоняй ее, ведь так легко в этом мире стать добычей зла!

— Вижу, не о птичке ты думаешь,— опять о своем Анасуне.

— О нем, брат. У мальчика дар каменотеса, он уже сейчас рубит камень без наугольника, но так ровно, что поставь на плоскость полную чашу, ни капли не прольется. Прошу тебя: позволь ему сделать хачкар для обители.

— Да разве это по силам отроку?

— Все возможно верующему. Только пусть на камне высечет благословение, а не заклятье.

Игумен внимательно посмотрел на брата,— так говорит Григор, словно стоял за его спиной, когда он сегодня ночью застиг нищего перед хачкаром.

— Не знаю, Григор, что и сказать тебе...

— Я и без слов вижу, как тяжело тебе. Ты настоятель, твоя забота, чтобы наша обитель цвела, как сад. Но, увы, мы всего лишь люди, и если кто-то отличается от нас верой, обликом, странностями, таким мы, как судьи, выносим смертный приговор: пусть умрет, пусть умрет, пусть умрет! А где же любовь? Вот Анасун глухой и потому не может говорить, но ведь каждый человек через молчание осознает свое божественное происхождение; святые угодники налагали на себя обет молчания, и мы справедливо называем это подвигом. Многие ли умеют молчать, многие ли вообще понимают, что это значит — молчать? Но если человек от рождения глухой и язык его сковала немота,— значит, Господу угодна не речь его, а другие движения сердца, дар зрения, талант руки. А в нас вскипает злоба против него.

— Не нами так заведено, Григор.

— Не нами, Ованес, но пусть на нас это заблуждение и кончится. Прошу тебя, испытай Анасуна!

— Пусть вера испытает его. Но об этом никто не должен знать, кроме тебя и варпета Абраама. Нет мира, брат... Прошлой зимой выпал, говорят, на Севаце красный снег, а в Апаране желтый,— не к добру такие знамения. Какой-то снег мы увидим.

Но снег в ту зиму выпал белый, и ничего не произошло.

Теперь Далар носила узелок с едой не отцу, а Анасуну — так велел мастер Абраам. И хотя другие каменотесы подшучивали над ним, — мол, это невестка хороша немая, а зять хорош разговорчивый, Абраам не обижался. Для шуток умения не надо, а слышал ли кто-нибудь из шутников, чтобы мальчишка отважился гранить базальт? Даже преславный зодчий Мануэл, воздвигший храм на Ахтамаре, сам непревзойденный каменотес, тесал только туф и известняк. А ведь Анасуну всего-то восемнадцать лет, два года из них он рубит хачкар, обещанный Нарекаванку. Но, как говорится, между обещанием и делом лежит пропасть, а ремесло их таково, что один неверный удар может погубить весь труд. В работе чудес не бывает. Мастер Абраам даже не заметил, как подросли за эти годы его дочери, отмахивался от жены, ворчавшей о жестокосердии отцов, не желающих счастья дочерям, и уж, конечно, он не замечал, с какой нежностью смотрит зеленоглазая Далар на Анасуна.

В шестой день месяца хори 443 года по круговращению армянского календаря<sup>1</sup> шесть волов, запряженных попарно, с громадными рогами, украшенными цветами, неспешно влекли повозку с крепкими колесами, вытесанными из тополя, упряжь на них ременная, построжки крученого синего шелка; повозка скрипела под тяжестью камня, обвязанного рогожами. Впереди быков Абраам и Анасун несли тяжелые восковые свечи — оба простоволосые, босые, в новых рубахах, холщовых штанах. А за повозкой шли жители Нарека, Хровенца, Джрвежа.

Перед воротами обитатели волов распрягли, люди со всех сторон ухватились за телегу, весело вкатили во двор. Когда стаскивали камень, едва не опрокинули повозку, но все обошлось — поставили хачкар перед часовой вардапета Анании Нарекаци, лицом к

---

<sup>1</sup> 14 сентября 994 г.

западу. Хотя Григор часто навещал Анасуна, сейчас он с волнением смотрел на укрытый рогожами камень и вместе со всеми ждал выхода игумена. Ждали долго. Наконец из притвора церкви святой Сандухт вышел игумен Ованес — в праздничном облачении, с серебряным голубем, благовонное миро в нем; поверх облачения грудь и спину настоятеля перекрещивал расшитый золотом омофор, ниспадавший длинными концами до земли. Все сняли шапки, опустились на колени, и Григор вместе со всеми, хотя по сану вардапетскому не должен был равнять себя с мирянами, но он преклонил колени перед мужеством владыки Ованеса, вышедшего в праздничном облачении к нему, проклятому церковью!

Он видел, как дрожат пальцы Анасуна, распутывая крепкие узлы, как кадило взлетает на серебряной цепочке и все сильнее запах ладана... Одна за другой падали рогожи, обнажив оранжевый камень высотой в рост взрослого человека, шириной в шаг, толщиной в четверть. Тончайшая резьба напоминала то правильность пчелиных сот, то причудливый узор абрикосовых косточек, то жилки листа, просвеченного солнцем; она сплошь покрывала оранжевый туф, соткала, сплела орнамент в тончайшее каменное кружево. Узор был так мелок, что его надо было рассматривать вблизи. Хачкар цвел, излучал свет, радость; оттого, что мастер тонко сплел дивное кружево резьбы, распятый Христос, вырубленный грубо, тяжелыми сколами, казался громадным, — голова бессильно поникла, босые ступни оперлись на высеченную строку: «ИЗ-ЗА НАС, ГРЕШНЫХ, ТЫ ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫМ НАЗВАН», а справа от Христа простер руки коленопреклоненный мальчик, — глубокие борозды, словно пропаханные плугом, преобразили камень в легкую рубаху, раздуваемую ветром, но ни одежда, ни даже лицо мальчика не задерживали взгляд, а руки с раскрытыми ладонями — руки немого!

Да разве когда-нибудь каменотес, взяв молот и рубило, пытался доказать, что он человек? Анасун рубил не камень, но то, что куда неподатливее камня: ненависть, слепоту, заблуждение; его Спаситель страдал не от мук — от бессилия! Ведь если кто-то считает другого человека нечеловеком, недочелове-

ком, значит, напрасна Его жертва, Его мощное духовное усилие, победившее даже смерть, но бессильное перед природой человека. Порознь никто из нас не Человек, только все вместе, только осознав свое кровное, вечное родство, победив братолюбием раздражающие каждого из нас страсти и вражды, мы вправе называть себя людьми.

Десятки свечей прилепились к хачкару, освещая Христа и мальчика.

Дойдя до куста красной бузины, Григор заплакал, благословляя день, когда волны прибили к Артеру колыбель. Он видел дитя, ползающее по растеленной рясе, пальчики, мягкие и сладкие, ухватившие кошку за пушистый хвост. И вот эти же руки вырубил дивный хачкар, и он, Григор, дожид до этого дня.

Он видел, как, раздвигая ветки яблонь, идет к нему счастливый Анасун, обнял юношу, прижал к груди, нежно глядя острые, как крыло ласточки, лопатки, слышал, как часто бьется его сердце.

— Все хорошо, лао, все хорошо. Я всегда верил в тебя, но ты верил в себя еще сильнее. А теперь посмотри на этот камень.— Вардапет ткнул посохом плиту под кустом бузины, начертил на ней крест, сложил руки на груди.— Ты сделаешь этот камень моим надгробьем. Мне немного осталось сделать на земле.

Григор глубоко вздохнул, словно сбросил наконец тяжкую ношу, которую нес всю жизнь, взъерошил черные кудри Анасуна.

## 9. Крещение младенца Момика

И грянул подземный гром, содрогнулась земля армянская, в развалинах лежали Хаштеанк, Цопк, Пахнатун, Харатенц, Балу. Но землетрясение, разрушив города, не содрогнуло сердца бесчувственных; повсюду свирепствовали тондракиты, но еще свирепее истребляли их, целые области обезлюдели, на колокольнях тучами гнездились воронье, карканье заглушало стук деревянных колоколов. Так светло стало от пожарищ, что скаредные келари не давали переписчикам свечей и масла, и гричи, вздыхая, пи-

сали с рукописей, озаренных пожарами, а красные чернила заглавных строк спекались кровью.

Сокрушались и нарекские монахи, сетуя на лютость времени, но вардапет Григор с рассвета уходил на берег моря, откуда был виден островок Артер, и громко распевал молитвы, так что многие решили: вардапет сошел с ума. Многие из немногих, ибо в кельях осталось всего два десятка иноков, остальные ушли из обители, селились у вдовиц, пили вино, не допитое мертвыми мужьями. Немудрено было в такое время прослыть сумасшедшим,— по всей земле рыскало безумие, воцарилось нашествие человека на самого себя, избиение совести, истребление любви.

В пятницу пасхи 1000 года вочеловечения Иисуса Христа, а по круговращению армянского календаря 449 года, Армению постигло горе — преставился анийский государь Давид Багратуни, и так как он умер бездетным, то завещал свою страну византийскому императору Василию II. Сорокадвухлетний базилевс пребывал в Тарсе, но, узнав о кончине царя Давида, поспешил прибраться к рукам армянское наследство, ибо, как полководец, знал опасность промедления. Вблизи горы Хаватчич его встретил абхазский царь Баграт и его отец Гурген, царь иверов, анийский главнокомандующий Ваграм Пахлавунни — молодой, но уже успевший стяжать ратную славу. Князь Ваграм был полон решимости возвести на престол юного Гагика, племянника покойного государя, и Василий это знал, вот почему, пожаловав всех встречавших званиями и дарами, обделил Пахлавунни, уклонился от охоты на туров и в середине лета игрENEвый жеребец базилевса Акант ступил на рыжую армянскую землю.

На равнине под Вагаршакертом воздвигли целый город из повозок, шатров, палаток. Пока придворные обсуждали торжественную церемонию встречи императора Василия и васпураканского государя Гургена Арцруни, пока с обеих сторон вели хитрые переговоры и затейливый обмен дарами, Григор ходил по лагерю, удивляясь не столько его многолюдности, сколько многоязычию: армяне, ромеи, иверы, абхазы, арабы, сирийцы, персы. Здесь он впервые увидел синеглазых рослых рузиков в красновышитых белых рубахах.



Возле шатра католикоса Григор неожиданно встретил друга юности Ухтанеса. Они обнялись.

— Ухтанес, я слышал, ты пожалован в епископы. Далекий путь ты проделал из Урфы.

— Спешил, надеясь увидеть тебя. Много бедствий принесли годы, что мы с тобой не виделись, но теперь мир, мир!

— Скорее, перемирие. Царь Давид отдал ромеям Тарон, но Ани и Ширака им не видать, даже если базилевс захочет взять их силой.

— Васпуракану нечего опасаться базилевса, он уже послал грамоты эмирам, чтобы не грабили нашу землю, агаряне остерегутся нарушить его волю.

— Не только агаряне,— с горечью сказал Григор.— Весь христианский мир содрогнулся, узнав об ослеплении четырнадцати тысяч болгар, сдавшихся на милость Василия. Боже, избавь нас от милостей болгаробойцы.

— Тише, Григор, многие ромеи знают наш язык. Может, и тот боров на вороном жеребце, ишь отожрался, сейчас лопнет.

Всадник, которого показал Ухтанес, был патрикием в богатом кафтане черевчато-малинового византийского шелка, оплечья и перед украшали вставки лазоревого шелка, выпукло вышитые золотыми головками ангелов, унизанные мелким речным жемчугом. Слух у патрикия оказался неплохой.

— А вот и не лопну! — сказал он по-армянски, захохотал.— Что, отцы?! Не думали, что ромейские свиньи хрюкают по-армянски? Я — стратилат<sup>1</sup> Фока, но моя мать из Муша, а мышцы упрямы, как камни, если что задумают, хоть молотом их бей, сделают по-своему.

— А скажи, храбрый патрикий, правда ли, что и базилевс рожден армянкой? — спросил епископ Ухтанес.— Слышал я, не так давно он тайно выехал из Антиохии, добрался до Пахакдзнака и там, в монастыре, принял армянское крещение.

— Вот что я вам скажу, отцы: от сотворения мира не было сказано слов лживее, чем «Я тебя люблю!», но каждая женщина только и мечтает, как бы их услышать. Вы, монахи, шарахаетесь от женщин,

---

<sup>1</sup> Стратилат — полководец, военачальник (греч.).

а сами не меньше их хотите любви — ромеев, арабов, персов. А чем оканчивается легковерие? — Патрикий показал такое, что вардапеты сплунули от мерзости, торопливо перекрестились. — То-то! Не крестись, и я верю в Господа нашего, но мое дело солдатское, — стоять там, где повелит Багрянородный, и хоть земля развернись под ногами, стоять, где приказано.

— Почему же рузики взяли Херсонес?

— Меня там не было, нам нелегко пришлось и под Сардикой. Когда с гор на нас обрушились болгары, ромеи позорно бежали, даже легион Сорока мучеников бросил знамена, только армянская пехота, которой командовал я, стратилат Фока, стояла насмерть, пока не получила приказ отступить. Мы сохранили знамя и оружие.

— Как и предписано «Стратегиконом», — заметил Григор.

— Слушайте, отцы, а вы правда монахи? Что-то вы уж слишком хорошо разбираетесь в стратегии. Ну-ка, хлебните по доброму глотку. — Патрикий снял с широкого пояса серебряную фляжку. — Теперь вижу, вы не солдаты. А если вам не терпится узнать, почему пал Херсонес, спросите самих рузиков, их здесь много.

Патрикий обтер губы, вложил фляжку в кожаный чехол, тронул поводья.

— Ну, Григор, прав был я?

— Рузики... Это о них писал историк Мовсес: «С северной стороны появился незнакомый народ, который называют рузиками. Более трех раз они, подобно буре, дошли до берегов Каспия...» А теперь они здесь, под Вагаршакертом! Они казались мне такими же далекими, как желтолицые жители Мачина.

— А разве ты забыл, — напомнил Ухтанес, — что предок Мамиконянов Мамгун был мачинским князем, но навлек гнев повелителя и, спасая жизнь, бежал к царю Трдату? Род Арцруни ведет начало от ассирийцев, Багратуни — от евреев, а Камсараканы по происхождению парфяне. В нашей земле сошлось много дорог, это хорошо для купцов, но патрикий Фока прав, — мы слишком доверчивы.

— Не хочешь ли ты сказать, что когда-нибудь на армянский престол воссядет рузик?

— Нет, Григор, я думаю о другом. Звезда этого народа взошла стремительно, он многочислен, свободлюбив, защищает себя оружием и потому не нуждается в любви. Кем он станет для армян — могучим другом или врагом? Вот о чем я думаю. Двенадцать лет назад князь рузиков Владимир принял крещение и христианское имя Василий, он взял в жены сестру базилевса царевну Анну, армянку по материнской крови. Ваче сказал мне...

— Он здесь?

— Успокойся, вы скоро встретитесь.

— Я хочу видеть его сейчас, ты что-то скрываешь от меня. Ухтанес, веди меня к нему.

Командир рштунийской конницы лежал в походной палатке, на войлочном потнике. Заросшая густыми волосами грудь туго перевязана чистым холстом, на правом боку засохло пятно крови. У откинутого полога молодой воин без шлема дул на пальцы — наверное, обжегся, снимая нагар со свечи. Григор преклонил колени перед раненым, помолится. Услышав шепот, Ваче открыл глаза, мутные от боли.

— Я знал, брат Григор, ты придешь... Тот булатный клинок спас меня — я срубил копьё, но рузик ударил меня древком.

— Тебя ранил рузик?!

— Мы уже седлали коней, чтобы сопровождать базилевса Василия от Хаватчича к Вагаршакерту, с ним было шесть тысяч рузиков, все с копьями и красными щитами. Уже сложили шатры на повозки, но тут началось!.. Рузик нес охапку сена, но кто-то из иверов отнял у него сено для своего коня, на помощь рузику прибежали товарищи, ивер кликнул своих, абхазы и мы тоже схватились за оружие — из-за клочка сена бились насмерть тысячи воинов. Я видел, как князь Габриэл и его брат отбивались от пятерых, поскакал к ним, но воевода рузиков нацелил на меня копьё, я едва успел срубить наконецник.

— А князь Габриэл? — спросил Ухтанес.

— Оба князя остались там, и еще много наших. Не знаю, чем бы все кончилось, но базилевс пустил коня в самую сечу — все опустили оружие, боясь его поранить. Смелый государь.

Запекшаяся кровь повлажнела, расплылась, словно сквозь повязку пробивался родничок.

— Молчи, Ваче, тебе нужен покой. Я сейчас перевяжу тебя. Воин, принеси чистый холст и воды.

— Андраник...

Юный воин, не осмеливавшийся сесть, пока говорили старшие, подошел, поцеловал руку Ваче.

— Мой младший. Благослови его, Григор.

— Будь благословен, сынок. Береги отца. Эх, маленький Ваче, неужели ты и сейчас не сожалеешь, что стал воином? — Ухтанес покачал головой, как будто действительно разговаривал с маленьким послушником, а не военачальником.

— Нет, брат Ухтанес, не жалею. От такой раны не стыдно умереть. Только воин поймет, какой это был удар... через кольчугу... Ты пишешь историю, напиши в ней то, что я сейчас скажу: никакому народу не пожелаю иметь рузиков врагами.

— Святой отец, владыка хочет видеть тебя.

— Иду, Оник.

Вместе с юным послушником Григор вошел в архимандритскую келью, где игумен Ованес укорял грича Гюта, обучавшего послушника Оника.

— Вот, вардапет Григор, какие теперь гричи в нашей обители! Велел я брату Гюту переписать «Историю» епископа Ухтанеса, которую он с тобой прислал нам в дар, а этот нерадивый грич написал здесь о каком-то Санасаре. — Настоятель поднес близко к глазам рукопись. — Уж не тот ли это красильщик Санасар, который нам продал дрянной пурпур? Соскобли это место, чтоб и духу его не было! И боже упаси тебя прибавлять, где ты сам был, какие горести испытал, и без тебя есть кому писать историю, а ты переписывай, что у тебя перед глазами.

— Прости меня, грешного, владыка, я так и делаю. «Многие села обезлюдели» — ведь так и есть; «чтобы внести налоги, люди продают сыновей и дочерей» — и это правда.

— Берегись, брат Гют! Слишком много ты о жизни думаешь, а жизнь — она у мирян, у нас только мо-

литва. И еще укорю тебя: добрый грич сам варит чернила, а ты велишь послушнику. Велит он тебе, дитя мое? — Игумен послунывил палец, отер чернила со щеки Оника. — А ты учись прилежно и во всем слушайся наставника, брат Гют любит книгу. Теперь ступайте, дети мои.

Игумен тяжело обвис на подплечинах сиденья, закрыл глаза — разговор утомил его. Последнее время Ованес не выходил из кельи, он как-то сразу одряхлел и хотя ни на что не жаловался, понимая, что семьдесят лет — не тот возраст, когда можно сетовать на слабость, — но все-таки не мог сдержать горестного вздоха.

— О, немощь старческая, как ты несправедлива! Разум силен, а плоть дряхла, помыслы чисты, а свет в глазах меркнет. Вот, брат, ныне во сне узрел ангела, он мне сказал: «Встань, Ованес, и приготовься, ибо Вседержатель призывает тебя, чтобы ты оставил суетную жизнь и стал свободен от трудов и скорбей». Помолись за меня, Григор, своими руками обряди и предай земле рядом с наставником нашим Ананией. Помнишь обитель Шерим, где настоятелем был игумен Моисей со старцами Ованесом и Ямвлихом? Они трое — родные братья, родственники по душе и вере, и все скончались прошлый год. Как я желал бы, чтобы и мы удостоились такого единения, но увы... Саак был средним по возрасту из нас троих, а покинул юдоль земную первым, ушел вослед отцу нашему. Сильно разгорелась в нем злоба к сильным мира сего, часто он повторял, что цари не заслуживают ничего, кроме презрения, ибо все царства зиждутся на зле. Но разве простолюдины лучше, разве меньше в них алчбы и злобы? Виню себя, что не удержал Саака от гнева. Григор, разве я не видел несправедливость сильных, жестокосердие владык? Но я не роптал, что наше время искривило веру, — времена меняются, меняются и слова, но вера едина. Боже мой, сохрани братию сей обители невредимой, оборони от ереси и зла, и да кончится на нас, Твоих рабах, дерзость хулителей, да прекратится на нас мученичество святых!

— Слушал я тебя, Ованес, а видел, как отца нашего предали анафеме, как прокляли брата нашего Саака, и сейчас вижу, как стояли они, проклятые,

перед церковью, а войти в нее не могли, ибо католикос лишил их ношения вегара,— и страшно мне!

— Григор, Григор, брат мой возлюбленный! Мы с тобой тянули одну борозду, и вот падаю на гряде, кончаю свою жизнь... Ты избрал труд на века, я был тебе слабым помощником, а теперь и без малой помощи оставляю. Прости меня.

— Как же я буду без тебя, брат? Твоей волей я начал Книгу, столько лет ты был мне наставником, осталось написать последнюю главу и памятную запись, подожди, чтобы я смог вручить тебе мой труд.

— Книга твоя нужна живым, как и молитвы наши...— Жестокий кашель прервал слова игумена, задыхаясь, он сжал пальцы Григора.— Грешно тебе, вардапет... о брате скорбишь больше, чем о братии.

— Не вардапет я сейчас — дитя малое. Ты взял меня из колыбели и поставил на ноги, ты привел меня к наставнику Анании, ты всю жизнь был мне, слабому, опорой, а теперь оставляешь меня одного.

Горько плакал Григор, сердце его сокрушалось, ибо не всегда он был послушен Ованесу, хотя любил его всегда. Да и кто не любил его? Но, любимый братией и мирянами, сильными и убогими, он никогда не радовался; часто видел Григор, как, склонившись над книгой, Ованес забывал перелистать страницу, и на лице его было страдание, ибо страшился он за участь человека.

— Брат мой, брат мой! Тело твое мы омыли горькими слезами, помазали благовонным миром, положили во гроб, и вот лежишь в ангельском облачении, с медным крестом в руках, с лицом спокойным и кротким, осуществив себя перед Богом и людьми. Не останки твои мы с пением псалмов выносим из храма, а вручаем Господу полновесный плод иноческого подвига. Вот земля, которая отныне примет тебя, по правую руку от наставника нашего Анании. Прости нас, брат.

Перекрестив горсть земли, вардапет Григор бросил ее в могилу.

Свеча чадила, догорев до чаши глиняного подсвечника, но Григор не замечал, как она угасает. Воздвигнув все девяносто пять глав Книги Скорби, он указал путь человеку к познанию себя. Оставалось начертать последнюю строку, но перо тыкалось мимо горлышка чернильницы; наконец расщепленное острие почувствовало мягкость моточка шерсти, напитанного чернилами, и вывело букву за буквой: «**НЫНЕ Я МОЛЮ ВАС, ЧТО ВКУШАЕТЕ С ЭТОГО УБРАННОГО РАЗНООБРАЗНЫМИ ЯСТВАМИ СТОЛА, ПОМЯНУТЬ НАС В ВАШИХ ПРАВЕДНЫХ ПРОСЬБАХ И В ДОСТОЙНЫХ МОЛИТВАХ, С НЕПОРОЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ В БЛАГИХ МЫСЛЯХ. ДА БУДЕТЕ И ВЫ ВПИСАНЫ В ГОРНЮЮ КНИГУ ЖИЗНИ!**»

Такими же черными, яркими останутся чернила, пока не истлеет пергамент, но крепка выделанная кожа, что ей сто, даже тысяча лет, и хотелось вардапету увидеть того, кто склонится над этими строками когда-нибудь...

Свеча догорела. Григор положил перо на свинцовый кругляш, бережно собрал листы, поцеловал и поклонился им, как святым дарам.

— Господи, благодарю Тебя, что избрал и призвал меня написать эту Книгу. Все годы, что истекла она из моего сердца, как смола из кедра, я чувствовал на губах вкус крови и огня. Прими же, Боже, мою жертву вечернюю, благослови каждое слово моих молений и утверди эту Книгу как памятник вечный среди иных угодных Тебе служений. Прости, что я не сумел достойно восславить Тебя — это выше моих сил, но я написал достойное человека.

Скрипнула дверь. Вздохнув и не выпуская из рук книгу, Григор поднял голову — он увидел истерзанного Анасуна, глаза его прыгали, как у петуха, придавленного к жертвенному камню, по лицу стекала кровь.

— Лао, что они с тобой сделали?!

Каменотес гневно зарычал, зубы оскалились, как у волка. Руки, тоже в крови, все объяснили вардапету.

— Дай мне посох.

Анасун, крепко сжав его руку, быстро шел, а Гри-

гор спотыкался, не попевал за ним. Они обогнули арочный переход, соединявший матенадаран с притвором церкви Богородицы, и тут услышали крик Далар.

— Братья, опомнитесь! Что вы делаете?

Иноки нехотя расступились,— на каменных плитах лежала Далар, закрыв собой посиневшего сморщенного младенца — дитя, рожденное ею от каменотеса Анасуна. Проклятая отцом, отверженная всеми, пришла она крестить свое дитя...

Вардапет снял черный вегар, опустил на колени, неловко запеленал дитя в шерстяной клубок.

— Встань, мать.

Он смотрел на иноков, они не опускали глаз, смотрели твердо и гневно.

— Святой отец, это выкидыш сатанинский!

— Проклятье на нем!

— Не оскверняй себя, святой отец!

— Хорошо, братья, только не кричите.— Голос Григора дрожал.— Ты хочешь окрестить мальчика, Далар? А где же крестные отец и мать? Брат Торос, приготовь купель, а ты, Оник, ступай в ризницу, можешь мне облачиться.

Григор вошел в притвор, но брат Гевонд опередил его, встал перед воротами.

— Остерегись, вардапет! Это дитя похоти, от скота зачатое!

Слева и справа от Гевонда, плечом к плечу встали монахи, лицо послушника Оника побледнело от волнения, но и он, как все, стоял на пути немощного старца, первый раз видя его без вегара, коротко стриженные рыже-седые волосы, бледный лоб в глубоких морщинах.

— Хорошо ты учишь детей, брат Гевонд, но не тебе учить вардапетов. Призываешь меня к осторожности? Когда Ваган Мамиконян обнажил меч против персов, один из соратников хотел удержать его: «Осторожно, князь, осторожно!» — но полководец наш, осенив себя крестным знаменем, гневно ответил: «Пусть мне никто не говорит: осторожно! Ибо не мне надеяться на человека или возгордиться человеком, Боже упаси,— я уповаю только на крест Господа нашего Иисуса Христа!» Так же и я уповаю на Господа и милосердие Его. Дитя похоти. говоришь?



Нет, дитя любви, которая и тебе, и мне непостижима. От скота зачатое? Но Господь не спросит о рождении, он спросит, что человек сделал. Вижу, и ты, брат Торос, встал против меня. Ты в воскресенье венчал мужа и жену? Так вспомни, что говорил ты новобрачным: «Господи, защити их, как защитил Ты Ноя в ковчеге его. Защити, как защитил ты Иону в чреве кита...» А кто же бессловесных благословит и защитит? Уж не ты ли, брат Торос, чья душа оглохла, а сердце окаменело? Или ты, келарь Негос, мною крещенный в этой церкви, а ныне восставший против своего крестителя? Или ты, дитя мое Оник, станешь крестным отцом души ангельской?

Он дал дитя юному Онику, но тот в ужасе отшатнулся, ударился затылком о дубовую дверь.

— Дети мои, жаль мне вас,— не ведаете, что творите. Вы победили брата своего, неужели и совесть свою победите?

Григор молча вышел из притвора.

В последний раз оглядел келью, взял Книгу, перекрестил на двери дырку от сучка, как когда-то крестил ее Егише. «Келья сама всему научит»,— вспомнились слова старого грича. Но кончилось его учение, ибо и жизнь его уходила, как сам он сейчас уходил из Нарека, прижав к рясе Книгу Скорби.

Так они шли — впереди Григор, за ним Далар с младенцем и каменотес Анасун, пока не пришли к часовне на склоне холма. Не было здесь ни купели, ни алтаря, но перед высеченным в стене крестом горели свечи, поставленные богомольцами. Вардапет дал по свече Анасуну и Далар.

— Что просит младенец? — спросил Григор, и сам же ответил, как должен отвечать крестный: — Веру, надежду, любовь и крещение. Дети мои, встаньте на колени, молитесь, как умеете. О Боже, наше спасение и воскресение, не отринь младенца невинного, ибо и он от людей, и будь ему крестным отцом. Богородица пресвятая, пречистая, мать живущих, ты всегда помогаешь нам от купели до смертного часа, не оставь же и это дитя, будь ему крестной матерью. Да разгорится жизнь его, как свеча горящая, и да наречется дитя человеческое светлым именем Мо-

мик<sup>1</sup>. Прости меня, Боже, тяжкий грех беру на душу, крестя первенца раба божьего Анасуна, которого строгие рабы Твои приравняли к животным, но Тебе ли не знать, как трудно быть человеком! Ведь и Ты, словно обычный гибнущий, молился о спасении. Спаси же и нас, грешных.

Омочив пальцы в дождевой воде, натекашей в выщербину камня, вардапет коснулся зеленых, как у матери, глаз младенца, губ, сладко чмокающих грудь Далар, его рук, спины, груди.

— Да просветятся очи твои. Да услышат уши твои Божьи заповеди. Да хранятся уста твои и крепкие двери твоих губ. Да будут длани твои опорой добродетели во всех твоих делах. Да украсится сердце твое и душа обновится. Да будет спина твоя крепким щитом, коим оборонишься от стрел злобы. Да будет путь твой в жизнь вечную беспреткновенным и прямым. Мир тебе, спасенный Господом! Мир тебе, помазанник Божий!

Поцеловав «Нарек», словно это было Евангелие, Григор раскрыл звонкие листы пергамента и прочитал:

Да воссияет солнце Твоей славы,  
Господи, светозарный воитель тьмы,  
Дабы сзади и спереди, слева и справа  
Сиянием были мы озарены;  
Да будет свет утра, весны дуновенье  
Упованием в нашей трудной судьбе,  
Ибо всем даровал Ты жизнь и спасенье,  
Ты — благодетель всех, все возможно Тебе.

Вардапет перекрестился — и в тот же миг часовню озарило дивное сияние, словно к восьмигранному отверстию свода склонилось светило, белый голубь, хлопая крыльями, сел на плечо Григора, младенец потянулся к нему. Григор снял свой нательный крест, надел на Момика.

— Носи его, дитя, ибо быть человеком — крестная мука, но и радость, спасение наше.

И вынес младенца из часовни на слепящий свет великого синего неба. На берегу ручья женщины наполняли кувшины студеной водой. Мальчик хворостинной погонял сероухого осла, навьюченного двумя

---

<sup>1</sup> М о м и к — свеча (арм.).

корзинами с охристой глиной — наверное, будут класть тоныр. Навстречу пастух гонит овец, лохматая овчарка зевает от жары. Темнеет вспаханное поле, слышна песня пахаря, идущего за быками по борозде.

Васпуракан! На всем свете нет земли прекраснее, воды студенее и таких красных, зеленых, золотых камней, таких сладких абрикосов и душистых роз! Небесная синева слилась с бирюзой Бзнуийского моря. Лиловые склоны величавого Сипана закрыли весь северный берег, на юге полыхают снега Ардоса, на западе в пурпурные облака закутался Нимруд, на востоке высоко поднявшийся Вараг весь освещен синим пламенем неба. Великий хоровод армянских гор! Благословенная земля, принявшая в свое лоно зерна насущного хлеба. Вытерпев зимнюю стужу, свободно дышат деревья, торопится расти трава, цветет лоза, и видно море, поражающее переливами чистой зелени и глубочайшей синевы.

Вардапет высоко поднял крестника.

— Смотри, Момик! Это твоя родина!

Смотрит младенец на высокое небо, горы, на закатное зарево вдали, где на черном утесе, подымавшемся из пенных волн, вздыблена башнями неприступная Ванская крепость, где тысячей садов цветет благословенный Ван, сотворенный из солнца, глины, виноградной косточки и неутолимой любви царицы Шаммурамат к царевичу Аре Прекрасному, — потому так сладки ванские гроздья, потому так горько ванское море, где армянские рыбы плывут в глубине, где армянские кости на каменном дне...

— Прими сына, Далар, а ты, Анасун, возьми эту Книгу, — хотел я вручить ее Господу, дабы не предстать на суд с пустыми руками, но пусть написанное мной останется на земле.

И, взяв у Анасуна свой посох, Григор побрел по дороге.

## 10. Вознесение

Душа Нарекаци осиротела.

Великое безмолвие окутало ее, и скорбела она, ибо душа исторгается из тела в муках, как дитя из материнского чрева.

Человек рождается жить, а умирает, чтобы дать ответ за прожитое, предстать на суд, где взыщутся с него все грехи и долги, спросится его милосердие, взвесится его любовь. А иначе зачем жизнь?

И жаль стало душе себя, жаль братию, ведь среди них она еще, хотя и сняли мертвое тело с подплечин, как с креста, обмыли, с молитвами перенесли в храм Богородицы. Здесь она, душа, в келье, где пламя свечей не достигает ердыка, где в нише стоит стол, на нем кувшин с невыпитой водой, ножичек, чтобы очинять тростник, чистые листы пергамента, свинцовый кружочек — вести линии по линейке, пемза — зачищать кляксы и ошибки, и в каждой вещице незримая любовь того, кому они служили столько лет. Сквозняк листает «Нарек». Дивно украсил брат Гют заглавный лист: лазоревые соколы на крепких ветвях орешника, горные куропатки щиплют зелень; переплелась листва и трава, спелые гранаты и янтарный виноград; а вот и сам вардапет Григор — в лиловом облачении, парчовой епитрахили, стоит на зеленом лугу, держа в левой руке Книгу Скорби, в правой — Нарекскую обитель.

...Горят свечи, словно походные костры воинства, которому завтра в бой. Дым кадильниц — как гарь сожженных селений. Тесно в храме, полон монастырский двор, но все прибывает народ, будто в дни бедствий ополчение стекается под голубой армянский стяг с золотым орлом. Но поздно! Не преградили воины путь врагу, не остановили беспощадного противника крепкие стены, не устроили грозный клич и знамя, не обратили в бегство стрелы и клинки — смерть похитила Григора Нарекаци.

На монастырском дворе такая тишина, какая бывает лишь зимой, даже снег не шелохнется на ветвях, но на солнце земля оттаяла, эту землю полвека горстями носили из долины, и много она впитала пота трудившихся иноков, пока отдарила их плодами.

Видела душа плоды своих трудов: посаженную лозу и яблоню, следы в камне, оставленные коленями, книги написанные и переписанные, и первый труд свой видела — камень, обтесанный еще отроком Гри-

гором, вот он, в первом ряду северной стены, уголок сколот. Кто строит храм, тот душу свою строит. И сейчас, когда близко полыхало зарево адское, взвихрились ледяные смерчи, чайками кричали демоны, душа стояла на камне — трепеща, но уповая. И видела душа народ Васпуракана — обнажив головы, прощался он со своим вардапетом, и слезы замерзали на щеках.

День и ночь молились монахи у гроба, читая псалмы и наставления святых отцов, дабы не только возрадовалась душа, но укрепились сердца тех, кто недавно принял постриг. Один из них Оник — лобастый, кареглазый, с нежной курчавой бородкой, румянец еще не выцвел на щеках, мягкие ладони не затвердели от трудов. Тяжкую и тесную стезю избрал юноша, но не устанет, если всю жизнь будет трудиться, не возропщет, если сердце его возлюбит не только Господа, но и людей. Душа легчайшим дуновением коснулась чистого лба инока — вздрогнул он, слясь увидеть в синем ладанном сумраке, что незримо и так глубоко тронуло его сердце, но душа вознеслась осиянным светом в чистое небо последнего февральского дня<sup>1</sup>.

Гаснет недолгий зимний день, тяжелые фиолетовые тени избороздили холмы, укрыли клочья тающего снега, первые розовые фиалки. Видит душа Нарек и Ван, Васпуракан и всю Армению — такая она маленькая, родина, вся уместилась в душе, Бог словно обнял ее и держит на своих руках, как храм.

Видит душа Византию и Халифат. Видит и другую половину мира — юную Русь, принявшую крещение, древний Китай, очарованную Индию, великие пути земель и морей, воедино связавшие народы. Мир не уменьшался, он безбрежно ширился, простирался во все концы, а душа стремилась в высь, где даже небеса меняли свет от полудня к полуночи: над Вифлеемом жгуче горит звезда, над Киевом пылает солнце, над Чанъанью жемчужное сияние луны... Все зримо, все ведомо душе, и, видя землю, изумилась она не тучам грешников, но братству людей, ибо воистину нет ни армянина, ни русского, ни иудея,

---

<sup>1</sup> Григор Нарекаци умер 27 февраля 1003 г.

ни православного, ни мусульманина, на духовной стезе все — братья.

Дальний-дальний звук колокола послышался с земли — так мать зовет дитя, но мир ширился, и возносилась душа, истаивала, растворялась в кромешном мраке бездн и нестерпимом звездном свете...

Таков подвиг вардапета Григора из обители Нарек...

*1985 — 1986*

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## РАССКАЗЫ

- 4 Трaвa нa снeгy
- 11 Во имя матери, отца и сына
- 26 День рыбака
- 32 Земная жизнь

## ПОВЕСТИ

- 70 Тринадцатая страсть
- 156 Повесть о купце, пегом коне  
и говорящей птице
- 236 Нарек

**Вардван Варткесович  
Варжапетян**

## **ТРИНАДЦАТАЯ СТРАСТЬ**

**Повести и рассказы**

**Редактор О. Кугук  
Художник И. Захаров  
Художественный редактор А. Дианов  
Технический редактор Н. Ганнина  
Корректоры Г. Селецкая, Т. Люборец**

**ИБ № 4850**

**Сдано в набор 9.10.87. Подписано к печати 11.03.88. А10036. Формат 84x108 1/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 19,32. Усл. краск.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 19,15. Тираж 75 000 экз. Заказ 661. Цена 1 р. 60 к.**

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30**



**Варжапетян В. В.**

**В18** Тринадцатая страсть: Повести и рассказы.—  
М.: Современник, 1988.— 366 с.— (Новинки «Со-  
временника»).

Нравственная проблематика составляет основу творчества московского прозаика Вардвана Варжапетяна. Героев его произведений — будь то наши современники или персонажи исторические — роднит одно: все они страстно, подвижнически стремятся жить в соответствии с высокими нравственными идеалами.

Служение добру — главная тема рассказов о наших современниках и повестей, посвященных выдающимся деятелям нашего отечества: Афанасию Никитину, совершившему беспрецедентное «хождение за три моря» («Повесть о купце, пегом коне и говорящей птице»), врачу-гуманисту Федору Гаазу («Тринадцатая страсть») и великому армянскому поэту Григору Нарекаци («Нарек»).

**В**  $\frac{4702010200-121}{M106(03)-88}$  37-88

**ББК 84Р1**

**ISBN 5-270-00029-6**